

Г 62

С. ГОЛУБОВ

Р
172396

064

ГЕНЕРАЛ

БАГРАТИОН



ДЕТГИЗ





С. ГОЛУБОВ

ГЕНЕРАЛ
БАТРАТИОН

Рисунки Н. Кузьмина



Государственное Издательство Детской Литературы
ИЗД. РСФСР
Москва 1943 Ленинград

179396



ГЛАВА I

Солнце спускалось за горизонт, красное, как перегоревший костер. Лагерь был ярко освещен его косыми лучами. Под холмами, на которых расположились войска 4-го итальянского корпуса вице-короля Евгения, тихо струились воды широкого Немана. Река текла в уровень с берегами по гладкому раскату золотых полей, коричневых пашен и зеленых лугов. Но сейчас все это было розовое — и лагерь на холмах, и Неман, и его берега.

Лейтенант гвардейского легкоконного полка Массимо Батталья сидел на пеньке возле хижины, в которой помещались вице-король и генерал Жюно, герцог д'Абрантес, командир 8-го вестфальского корпуса, подходившего следом за итальянцами к Неману для переправы. Адъютантская шляпа молодого офицера съехала на ухо. Красивое черноглазое лицо выражало печальное недоумение. Он только что перечитал, вероятно в двадцатый раз, письмо старшего брата Сильвио, жившего в России. Письмо это им было получено еще в Милане, много месяцев назад. Но если бы не мешали темноватые отсветы красного вечера, Массимо, может быть, и еще читал бы и перечитывал странное, немножко даже страшное письмо брата. Зачем понадобилось лейтенанту брать его с собой в далекий северный поход? Чорт знает зачем... Он бережно уложил письмо за лацкан мундира и, вздохнув, прошептал:

— Пусть меня повесят, словно кошку, на солдатскую мишень, если я понимаю, что приключилось с беднягой

Сильвико! Или он сделался умнее, как Аристотель, а я — глуп, как пучок редисок... или...

Массимо Батталья глубоко задумался. Между тем подступала ночь. Вечерняя заря, встретившись с утренней, разлилась по прозрачному небу. Собственно, ночи не было, а был какой-то бледный сумрак, настолько слабый, что очертания предметов нисколько в нем не менялись, лишь самые предметы казались слегка колеблющимися. Этому способствовал отчасти и дым бесчисленных костров, носившийся над лагерем тонкой пеленой.

Множество понтонных повозок катилось к реке. Необычайно рослые лошади, впряженные тремя парами в каждую повозку, развозили инженерный груз по тем местам, где должны были перекинуться через Неман мосты. И мосты уже перекидывались. Казалось, будто они отрываются от реки, плывут над ней в тревожной подвижности. И это производило неприятное впечатление на людей, настороженно следивших за ходом грозной операции. Всю ночь шли в Неману войска — пешие и конные, артиллерия и обозы. Все это двигалось стройной массой, наполняя воздух глухим и разнообразным гулом, таким же пестрым и воинственно красивым, как и мундиры этих войск, их кони, знамена и оружие.

Солнце начало было всходить ярко, и величественная картина оживала, засверкав переливчатыми цветами радуги. Но это продолжалось недолго. Вскоре золотое поле, лежавшее по ту сторону реки и густо обрызганное синими вазильками, потонуло в тумане. Потом и на лагерь тоже налетел туман, едкий, как дым, от которого хочется кашлять. Сухая земля притягивала к себе ночные тучи, чтобы высосать из них влагу. И водяная пыль впитывалась в землю медленно и прочно. По мере того как это происходило, туман редел. Он поднимался все выше и выше, до тех пор, пока солнце снова не заиграло над лагерем. Однако легкие белые облака, похожие на клочки аккуратно расчесанной шерсти, еще висели под небом. «Как изменчива сегодня погода, — подумал Массимо Батталья. — Будто она примеряет наряд за нарядом, не зная, в каком из них следует встретить гостей». И стоило ему подумать это, как ослепительный блеск утра опять погас. Белые облака растянулись в паутину и заслонили солнце. Некоторое время его лучам удавалось пробиваться где-то сбоку, и они сыпались вниз, как червонцы из дырявого мешка. Но к полудню и это кончилось. Сплошная серая туча клубилась над лагерем. Неподвижный воздух был мутен и тяжел.

Над холмами и лесами глухо ревели военные марши. Вице-король Евгений и Жюно стояли возле своей хижины с подзорными трубками у глаз. Переправа началась. Понтонные мосты с легкостью огромных пробок прыгали под непрерывным потоком шагавших по ним войск. Тускло поблескивали над водой серебряные трубы гвардейской дивизии, медленно колыхались огненно-красные значки улан, туго натянутыми нитями чернели ровные ряды гренадерских шапок, грохотали зарядные ящики и лафеты пушек. Солдаты были приодеты по-праздничному, у них был отважный и бодрый вид.

— Взгляните, герцог, — с живостью обратился вице-король к Жюно, — как это прекрасно! И как похоже на воскресный парад перед Тюильрийским дворцом в Париже, в присутствии императора! А?

Суровое солдатское лицо Жюно сморщилось. Да, это было похоже на парад в Париже, но... чорт побери, чего-то все же не хватало. Чего? Ага! Жюно нахмурился и сказал:

— Солдаты не веселы, ваше высочество... И нет песен!

Действительно, каждый из инструментов, создававших военную гармонию этого дня, давал о себе знать: колеса орудий и фургонов стучали, копи ржали, начальники командовали, обозные кричали. Но один инструмент молчал — душа. Не было слышно буйных восклицаний восторга и радости. Двадцать пять тысяч итальянцев — гвардия и дивизия генерала Пино — переправлялись через Неман в удивительном порядке. Однако зоркий взгляд Жюно не поддавался очарованию, и герцог мрачно подтвердил наблюдение своего опытного уха:

— Заставить их петь сейчас так же трудно, как посадить сотню дьяволов на острие одной иглы...

**
**

К кучке штабных офицеров подошел блестящий любимец армии, вице-короля и самого императора храбрый и веселый полковник Гильемино. Он протянул вперед ладонь правой руки и щелкнул по ней пальцем левой.

— Когда я смотрю, господа, на то, что передо мной совершается, у меня такое чувство, как будто история заката в моем кулаке. Клянусь святым духом, вот она, история, здесь! Его высочество принц Евгений только что получил сведения: первый корпус Даву, второй Удино, третий Иса, король Мюрат с кавалерией Напсути и Моибрена, гвардии — Мортье, Лефевр, Бессьер, — наконец, император с главной квартирой — все без всяких затруднений переправились

утром двадцать четвертого ¹ через Неман у Ковны, а десятый корпус Макдональда под Тильзитом...

Офицеры с жадностью слушали новости.

— Удино опрокинул русский арьергард под Вилькомирем, король Жером выбил казаков Платова из Гродны. Нет сомнений, что император также вышвырнул из Вильны хвост армии генерала Барклая и занял город. Он будет ждать, пока подтянутся обозы и переправимся мы — правый фланг великой армии.

— Клянусь парусом со шляпки святого Петра, — воскликнул бравый капитан Дельфанте, — императору недолго придется ждать! Завтра утром мы все будем на русском берегу...

— Еще бы! — подхватил Гильемино. — Да и вообще эта охота на русского медведя кончится не позже чем через месяц дележом его шкуры. Пусть мне покажет шиш святой Альвросий Медиоланский, если будет не так.

Сказав это, он захохотал. За ним Дельфанте и другие. Посыпались шутки, удачные и неудачные, но все, как одна, грубовато-веселые.

— Батталья, — вытирая слезы душистым платочком, продолжал дурачиться полковник, — вы отличный офицер! Ха-ха-ха!.. Но почему, дружище, у вас сегодня такой вид, будто... ха-ха-ха... будто вы обожрались ячменем? ² А? Ха-ха-ха!..

Массимо поднял голову. Он никак не мог поладить с собой. Его положительно одолевали мрачные мысли, вызванные письмом брата. На душе у лейтенанта было смутно, и лицо его в самом деле поражало унылостью.

— Не надо смеяться, полковник! — резко ответил он Гильемино.

— Почему?

— Сегодня великий день!

**
‡

— Что это? Канонада?

Все насторожились. Глухие раскаты доносились совершенно отчетливо. Но это была не канонада, а гром, и удары его с каждой минутой делались все оглушительнее. С востока ползли две тучи — одна серая, другая черная. Из первой вырывались зигзаги бледных молний. Вторая обдавала небо красным огнем. Гроза в полном блеске вставала

¹ По новому стилю; разница со старым на двенадцать дней, 24/12 июня 1812 года.

² Грубая солдатская шутка. Объезжаясь ячменем лошадь дрожит от боли в животе и покрывается белой пеной.

над лагерем, гоня перед собой бурю и внезапно ступившийся мрак. Молнии все чаще распарывали этот мрак на куски. Все яростней грохотал гром. Вдруг белый свет ослепительной яркости упал на Неман и его холмистые берега. Гром грянул с такой бешеной силой, будто небо рухнуло на землю, чтобы раздавить ее. И тогда разрядились тучи: черная брызнула дождем, серая — градом.

Шум и гам разнеслись по лагерю и перекинулись на переправу. Лошади рвали коновязи и шарахались куда попало. Всадники старались повертывать их хвостами в непогоде. Но они жались, фыркали, трусливо закладывали уши и, не слушая поводов, мчались навстречу буре. Град бил жестоко. Сначала мелкий, как толченное стекло, он больно резал лица и руки, но скоро превратился в ливень крупных и тяжелых камней. Некоторое время они падали редко и как бы пробуя себя падачу, затем все чаще и гуще и наконец опрокинулись вниз ледяным ураганом неслыханной силы. Страшными порывами ветра разметало солдатские ружья из кобеля, шалаша и палатки. Потоки пенистой воды стремительно мчались по дорогам. Бурные озера волновались над полями.

Завернувшись в плащ, Массимо прижался к толстому стволу огромной сосны и так простоял всю ночь. Он видел, как под утро стали падать лошади — их ноги вязли в грязном болоте, образовавшемся на месте лагеря. Проклятия, крики гнева и боли раздавались со всех сторон. Холодный, как дыхание полюса, вихрь еще выл и стонал, когда на мутном востоке забрезжила бледная полоска зари. Солдаты промокли и окоченели. Измученные и голодные, словно корабельщики после крушения, они лихорадочно стучали зубами, пытаясь заводить разговоры. Но что это были за разговоры! Один проклинал град, надававший ему в спину таких тумачков, что хоть спиртом натирайся. Другому посадило на затылке волдырь. Третьему раскроило до крови висок. Кому-то погнуло на кивере герб, скривило шишак на каске. Итальянцы суеверны: самые беспокойные мысли приходили им на ум. Обозы застряли в болотистой топи — это грозило голодом. Тысячи лошадей подыхали в грязи и воде — как двигаться дальше? Небо дрожало в белых вспышках зарниц — страшное небо это как бы предостерегало пришельцев от опрометчивости. И все это именно тогда, когда они ступили на берег враждебной, далекой, непонятной земли... Жестокое предзнаменование! ¹

¹ 30/18 июня 1812 года итальянский корпус переправился через Неман.

ГЛАВА II

Куча кривых лачужек, приросших к навозу посреди неотглядных болот и сосновых рош. На несчаном бугре серое привидение зámка, пустого и заросшего высокой травой. Старый бедный деревянный кляштор¹, повисший над обрывом днепровского берега. Вот и весь город Мир, возле которого остановилась на ночлег Вторая армия князя Багратиона. Впрочем, в голубом полумраке лунной летней ночи город не казался таким убогим и жалким, как днем.

Главная квартира армии разместилась в пригородной корчме, обширной грязной хате с земляным полом. Длинные скамьи у стен, насквозь прокоптившийся липовый стол и кровать, кое-как прикрытая соломой, составляли скудное убранство просторной горницы. На кровати сидел, поджав ноги, молодой рыжеватый офицер в коротенькой походной шинели вместо халата. Около него в глиняной чашке горела сальная свеча. Из другой чашки он брал неочищенные картофелины и, медленно отправляя их в рот, задумчиво жевал. На лавках вдоль стен, запрокинув головы, спали адъютанты и ординарцы главнокомандующего. Их храпу вторил ветер, выпевавший и высвистывавший самые дикие мелодии по щелям и закоулкам корчмы. Эти звуки падали в ночную тишь, как камни в воду.

Кто мог бы полгода назад представить себе поручка лейб-гвардии Егерского полка Муратова, из старинной, богатой, всей России известной семьи, молодожена с самыми превосходными видами на будущее, в его теперешнем странном положении! Бессонная ночь на соломе в венючем клоповнике... полусырой картофель на ужин... Но это лишь начало. Что же будет потом? Муратов вытащил из-за обшлага шинели листок бумаги и прочитал вполголоса:

Младость

Предопасенья нам не сродны,
И дразновенен дум полет.
Размахи наших крыл свободны:
Кто молод — не глядит вперед...

Эти четыре строчки ему нравились. Но дальше стихотворение никак не вытанцовывалось. С досадой отбросив листок, он кулаками обеих рук протер усталые глаза, круглые

¹ Католическая церковь в Польше.

и желтые, как у большого степного кота. А все-таки хорошо! Наконец сбылось то, о чем давно мечтал он. Зарю каждого дня его повой жизни приветствуют и труба, и пушка, и гулкое ржанье коня. Фланкировки, атаки, скачки по чистому полю, живые дымки перестрелок, удачные схватки охотников — есть от чего дрожать сердцу в буйной радости! И какой далекой кажется опасность смерти! Чудное дело война — высокая доля чести, любви к отечеству и славных жертв! Чего нехватает воину для счастья? Стоит лишь захотеть — и любой подвиг свершен. Вот знаменитый генерал Муратов, спаситель родины, везет в Петербург плененного им Наполеона. Злодей мечется за решеткой железного ящика, в бессильной ярости щелкает зубами, выбрасывает из себя искры — ни дать ни взять тот фокусник, что кривлялся давеча в масленичном балагане на Сенной. Искры трещат — так бывает, когда волосы попадают в огонь. Зубы стучат глухой дробью, словно картофель сыплется наземь. Ах, казальство! Нет, не уйдешь! Муратов бросается к клетке, страшный запах ударяет ему в нос. Фу! Да ведь это солдаты палят свинью над костром. Дивно! Значит, будет ужин, вкусный и сытный. А волосы трещат, и картофель сыплется...

**
*

— Душа, очнись! Эй, разбойник!

Главнокомандующий тряс поручика за плечо. Муратов спрыгнул с кровати и вытянулся — красный, сконфуженно хлопая глазами. Так и есть: чашка с ужином на полу, а рыжей кудри, что так круго вилась надо лбом, точно не бывало. Ее спалил огонь свечи, на которую внезапный сон опрокинул дежурного адъютанта. Главнокомандующий медленно покачал головой.

— «Кто обнимается с Морфеем при свечи, тот берегись, чтоб не стореть спючи», — проговорил он. — Есть, брат, такие станцы старинные, про тебя, видать, писаны. А за снашь на дежурстве вдругорядь крепко взыщу. Получишь, душа, большущий шнапс!

Муратов покраснел еще гуще. Теперь, когда поручик стоял, можно было видеть, что он очень высок ростом — аршина под три — и, как будто стараясь убавить громадность своей фигуры, слегка горбится. Багратион, не торопясь, обошел горницу и остановился у стола, заваленного бумагами. То, что речь и движения его были неспешливы и как бы даже лениваты, ободрило Муратова. Значит, гнев прошел мимо. А что такое Багратионов гнев, знали все, — он

вспыхивал, как молния, и гремел с бешеной силой мгновенно налетевшей грозы. «Слава богу!» Несмотря на крайнюю пеловкость, которую испытывал Муратов от сознания своей вины, он с восхищенным смотрел на этого невысокого генерала, на его горделивую осанку и воинственное лицо. Два часа ночи... Когда же он спит? И спит ли? Багратион был в сюртуке со звездой и в папаче, с нагайкой, перекинутой через плечо, и саблей, подарком Суворова, у бедра. В этом костюме днем и ночью видел его Муратов с той минуты, как началась война и армия пошла в отступление. Раздается ли он когда-нибудь?

— Что нового, душа? — спросил Багратион.

— От военного министра весьма нужный конфиденциальный пакет, ваше сиятельство. Но пометы о срочности нет, печать без перышка¹.

— От министра? Рви пакет. Так! Подай сюда. Свечу ближе. А-а-а...

По мере того как Багратион читал, на его открытой физиономии последовательно отражались сперва удивление, потом удовольствие и наконец простодушная радость. Муратов жадно ловил эти смены выражений, словно влюбленный, исподтишка наблюдающий милую непосредственность дорогого существа. Известно, что главные квартиры всех армий на свете всегда бывают наполнены бездельниками и болтунами всяких чинов. Именно они плетут военные интриги и паутиной тайного противодействия опутывают начальство. Но ничего этого не было в главной квартире Второй армии. От дежурного генерала до конвойного казака — все здесь были беззаветно преданы своему главнокомандующему и считали за счастье исполнить любое его приказание. Так было в штабе. В войсковых же частях люди просто рвались по первому знаку Багратиона в воду и огонь. Едва ли сыскался бы в российской армии другой генерал, менее Багратиона дававший чувствовать подчиненным свою власть и столь же безотказно властвовавший над ними.

Внимательно прочитав бумаги, присланные от генерала Барклая-де-Толли, князь Петр Иванович несколько минут стоял неподвижно, в тихой задумчивости. Потом повернулся к Муратову и положил на его могучее плечо свою легкую руку.

— Любишь ли ты меня, душа?

Поручик вздрогнул. Любил ли он Багратиона? В обыч-

¹ На пакетах со спешной курьерской почтой сургучные печати накладывались поверх двух перекрещенных перьев.

ное время Муратов говорил плавно, чуточку нараспев, приятно «акая» и по-московски растягивая слова. Но при сильном волнении случалось с ним что-то такое, от чего он вдруг становился как бы заикой. И сейчас он тоже не сразу ответил на вопрос, простояв довольно долго с раскрытым ртом и выпученными глазами. А затем выпалил одним духом:

— К-как жизнь, ваше сиятельство!

Багратион улыбнулся.

— Жизнь? Ее и впрямь любить надобно. Ведь ты и женат-то год всего?

— Так точно, ваше сиятельство!

— На сестре Олферьева?

— Да-с!

— Счастлив ты, Павлице! А я что за ферт? И женат — и не женат... Сам не пойму. Жена в Вене с австрийскими министрами приятные куры строит. Я же здесь грудью стою против Бонапарта и полоумного его тестюшки¹. Как это, а?

Муратов с горячим и почтительным сочувствием слушал дружески-откровенную речь Багратиона.

— Тридцать лет службы военной... Из них двадцать три в походах... У таких, как я, знаешь ли, жены где?

Князь помолчал, задумавшись.

Наши жены — ружья заряжены, вот где наши жены! Ты сочинитель, Павлице. Так сложи, брат, песенку о солдатских наших женах и сестрах. Ну? Сестры, к примеру, где? Тужься живей, душа, тужься...

— Наши сестры — это сабли востры, ваше сиятельство... вот где наши сестры! Наши деды — громкие победы... Н-наши...

— Bravo! Славно, душа! Вижу, что выйдет из тебя со временем настоящий отечеству... Карамзин. Любезен ты мне, Павлице! Ты да еще свояк твой Олферьев — двое вы всех прочих милей. Оба — всегда веселы, поворотливы и к лишениям военным порядочно уже приобькли. Хоть усталь еще и берет вас, но заместо крови алый кипяток в жилах, и потому всегда готовы лететь в бой. Хорошо! По-суворовски!.. Возьми же от меня, братец, на память писульку эту, что военный министр прислал. Возьми... Писулька забавна, да и не пуста. А главное, все в ней не лживо. Правда — лучший монумент человеку. Чудо! Из мелочи нечто вдруг

¹ Тесть Наполеона — австрийский император Франц I.

большое сгрудилось! Убили на-днях сих Баркласы казаки итальянского военного курьера. И с прочими важнейшими бумагами взяли на нем и эту, писанную обо мне наемным слугой моим, итальянцем же, к брату, в Милан. Не лживо письмо и для меня приятным счесться может. Вот министр, думая недолго, и шлет мне, дабы любезностью своей кпизю Петру глаза залепить. Хитер министр! Ан и князь-то Петр не с ослиным ухом...

Багратион весело засмеялся.

— Бери, душа, памятку. Ты да Олферьев сведомы. Для прочих — нет ничего!

Один из офицеров, лежавших у стены на скамейке, громко зевнул, повернулся набок и, разглядев главнокомандующего, с шумом вскочил на ноги.

— Желаю здравия, ваше сиятельство!

— Олферьев! Душа! Еще ли не обоснался?

Входная дверь осторожно скрипнула, пропустив на порог горницы маленькую, живую и на редкость изящную фигуру молодого франтоватого генерала в прекрасных темных локонках. Он любезно поклонился. Это было короткое, быстрое, еле приметное движение. Но учтивости, которая в нем заключалась, хватило бы, вероятно, на весь старый версальский двор. Простодушная улыбка потухла на лице Багратиона, словно ушла внутрь. От этого лицо его потускнело, и новое, неприятное выражение возникло в нем.

— А вот и господин начальник штаба, — сказал Петр Иванович странно-чужим голосом. — Доброе утро, граф!

**
*

Сдав Олферьеву дежурство, Муратов похвастался подарком. Две головы низко склонились над письмом Батталья — одна огромная, как ворох ржаной соломы, и такого же цвета, другая белокурая с волнистыми зачесами на тонких висках.

— Когда дым бивачных огней окутал Европу, словно черные туманы средневековья, — проговорил Олферьев, — итальянский язык как раз у места для славы нашего вождя. Я в подлиннике читаю Тассо, стало быть послание грамотея этого сейчас разберу. Ты же, Поль, возьми копию с переводом. Итак: «Господину Массимо Батталья, второму лейтенанту легкоконного Великого полка итальянской королевской гвардии, в городе Милане...»

Головы склонились еще ниже.

ГЛАВА III

Письмо Э.-С. Батталья

«Мой дорогой брат! Ровно двенадцать лет назад я в последний раз обнял тебя и тетушку Бобину. Это было на выезде из Милана, у Верчельских ворот, возле хижины из серых булыжных камней, в которой помещалась старая кузница нашего покойного отца. Клянусь святой троицей, я ничего не забыл. И сегодня, оглядываясь в прошлое, я снова вижу, как по бледным и смуглым щекам моего маленького брата Массимо быстро катятся крупные слезы.

Я оставил родину и покинул близких для того, чтобы спасти их от жестокой нужды, а может быть, и от голодной смерти. Другого способа не было. Накануне отъезда я вывернул наизнанку свои карманы. Из них выпало лишь несколько ничтожных сольдо и центезимов. В доме — кусочек рождественской колбасы и банка с салом, перетопленным из свечей. В винограднике Сак-Витторио — четвертая доля пертика¹ на всю нашу семью. Что же оставалось делать? Я уехал в Россию.

Двенадцать лет — очень, очень много... Кузница у Верчельских ворот давно развалилась. Тетушка Бобина уже не торгует на рынке весенними стрижками. С тех пор как ее младший племянник сделался адъютантом итальянского вице-короля, это занятие больше не по ней. Вот и все, что я знаю о вас обоих, Массимо. Но обо мне у тебя нет даже и таких сведений. Ты хочешь иметь их. Слушай же, дорогой мой.

Два брата — две судьбы. В кузнице отца мы вместе учились быть стойками, привыкая к бедности и воздержанию. Я остановился на этом. А ты пошел дальше и теперь сам учишь своих храбрых солдат презирать страдания, лишения и смерть. У тебя нет другого божества, кроме повелителя Европы², другого разума, кроме его силы, и другой страсти, кроме общего с ним стремления к славе. Я обращаюсь к тебе, заслуженному и блестящему воину, с братским «ты» и без всяких пышных титулов. Нет ли в этом ошибки? Не почувствуешь ли ты себя оскорбленным, узнав, что твой старший брат попрежнему всего лишь лакей? Не покоробит ли тебя от его фамильярности, которая перестала быть уместной?

Да, любезный Массимо! Я действительно все тот же и

¹ Мелкая единица измерения земли в Италии.

² Имеется в виду Наполеон I.

совершенно не желаю быть другим. Опыт раскрыл передо мной несомненные преимущества скромных жизненных путей. И я отношусь с теплым уважением к людям, достойно по ним идущим. С тысяча семьсот девяносто девятого года я верный слуга моего русского господина. И не нахожу в этом ничего, кроме личного права на гордость и честь. В объяснение я мог бы привести множество фактов: военные доблести моего господина известны целому свету; он добр, благороден, неутомим в трудах и бесстрашен в опасностях; недостатки его гораздо привлекательнее достоинств, которыми обычно кичатся люди; наконец, он правнук карталинского царя Иссея, следовательно знатен, как король Обеих Сицилий или, по крайней мере, как тосканский герцог. Все это безусловная истина. Однако и ее нехватает для моего камердинерского самолюбия. Поэтому я расскажу тебе, Масино, о том, что случилось вчера. Едва ли есть рассказчик, менее умелый, чем я. Не беда! Я постараюсь заменить искусство точностью изложения и думаю, что мне удастся бросить острый луч света на характер и душу моего героя. Тогда в ореоле его величия ты легко различишь глубину, из которой вырастает радостный долг моей преданности, тот самый долг, который воспрещает старому слуге Энею-Сильвио Батталья желать для себя иной, менее скромной судьбы...

...Уже около трех суток мой господин гостит в поместье своих родственников и друзей. Это поместье называется «Симы» и расположено неподалеку от города Владимира. Представь себе огромный белый дом с высокой крышей и широкой колоннадой двух террас, обращенных в сад, полный розанов. Посреди яркой зелени под ослепительным летним солнцем сверкают мраморные статуи древних богов. За садом искрится овальный пруд. Его берег — начало необъятного парка из столетних дубов и лип. Мне кажется, что для обмера этого парка в итальянских туазах не достанет всех чисел арифметики. В Симах множество хозяйственных ферм и большой конский завод. Я видел здесь очень важного берейтора-англичанина, гигантских ньюфаундлендских псов, земледельческие машины и даже какое-то сложное устройство для орошения полей, обсеянных клевером.

Этим богатством владеет почтенный пожилой вельможа, князь Голицын, весельчак с улыбающимся чисто русским добродушным лицом¹. Его супруга — тетка моего господина.

¹ Князь Борис Андреевич Голицын (1760—1822).

Как и племянник, она тоже царского рода¹. Никогда не приходилось мне видеть ничего роскошнее той обстановки, в которой мы теперь живем. К дому ведет двойная лестница. За вестибюлем, буфетной и столовой открывается длинная анфилада комнат с настежь открытыми дверями — залы, гостиные и боскетные. Хрустальные люстры свешиваются с позолоченных потолков, нежно розовеют фарфоровые вазы, сияют фигурные зеркала и задумчиво смотрят со стен превосходные старинные портреты. Все это собрано здесь, чтобы сделать жизнь просторной, удобной и красивой. Но дворец выстроен и обставлен много лет назад. Паркет кое-где уже потрескался. Налет времени, похожий на серую дымчатую пыль, густо покрывает некоторые предметы. Хрусталь серебряных кубков в шкафах темнеет, как топаз. Бархат, бронза и мрамор тоже изменили свои первоначальные свежие цвета. И пахнет здесь как-то странно — смесью тягучего и скучного с уютным и ласковым.

Мы приехали в Симы третьего дня. А вчера, с раннего утра, кареты, коляски, фаэтоны, брички и другие экипажи начали подкатывать к дому почти непрерывной вереницей. Кому незнакомо в России прославленное громкими военными подвигами имя моего господина? И вот соседние дворяне, знатные и безвестные, богатые и бедные, молодые и старые, мужчины и женщины, устремились сюда, движимые общим порывом патриотического воодушевления. Напудренные лакеи в башмаках и ливрейных фраках, несмотря на свою ловкость, еле успевали высаживать гостей. И к вечеру Симы превратились в маленький шумный городок.

Тотчас по приезде я довольно близко познакомился со здешним мажордомом (в России этих людей называют дворецкими). Карелин — subtilный старичок в длинном коричневом сюртуке. Он плешив, усердно нюхает табак из лакированной черной табакерки с ландшафтиком на крышке и чрезвычайно разговорчив. В обычное время он не обременен заботами, так как в Симах все идет по издавна заведенному прочному порядку, будто само собой. Основная обязанность Карелина, в конце концов, заключается только в том, чтобы по утрам варить для княгини кофе. И он выполняет эту обязанность с артистическим искусством. Но вчера, принимая гостей, бедный старикашка сбился с ног. Впрочем, не меньше хлопотал и сам князь-хозяин.

Среди этой торжественной суеты я один был совершенно свободен и идоволь налюбовался как своим госпо-

¹ Княгиня Анна Александровна Голицына (1763—1842), рожденная восточная княгиня Грузинская.

дином, так и его тетушкой. Мой господин невысок ростом, по сложен с точным соблюдением всех пропорций подлинного изящества: широкие плечи, тонкая, словно у девушки, и такая же стройная талия, смелая легкая поступь — все это очень красиво. Прибавь сюда мужественную смуглую физиономию, быстрый и горячий взгляд черных глаз, орлиный нос, крутые кудри цвета воронова крыла, беспорядочно венчающие гордую голову. Соединив все это вместе, ты можешь считать, что видел князя Петра Ивановича Багратиона. Он весел в обществе, неистощим в речах, любит не злую, но меткую шутку и придерживается той благородной простоты прямого обращения, которая свойственна только военным людям. Таков он был и вчера — равнодушный к поклонению и отзывчивый на всякое искреннее слово, тогда как кругом него гремел хор комплиментов и восторженных похвал.

Совсем не похожа на него княгиня Голицына. Это высокая женщина со строгим горбоносим лицом. В ее жестах, холодном выражении глаз и манере говорить нетрудно заметить упрямую волю, жесткий характер и резкий ум. Точно дерево среди зимы, она растеряла листья молодости, но сохранила в неприкосновенности твердый ствол и крепкие сучья. Иней лет уже посеребрил ее голову. И гости, входя в боскетную, где она сидела на зеленом штофном диване, приближались к ее угрюмому величию, как к святыне.

Вечером ужинали в большом переднем зале. Восковые свечи ярко горели в трех люстрах. Длинный стол сверкал драгоценной посудой, саксонским фарфором, граненым хрусталем, вазами и букетами роз. Осетры, стерляди, сливочная телятина, индейки, откормленные грецкими орехами, — чего не было на этом столе! Оранжевые фрукты, груши, яблоки, груды конфет, прохладительные без счету... И шампанское — как вода! Я наблюдал за тем, что делалось в зале, из буфетной. Изредка туда забегал и старенький Карелин, потный, усталый, но довольный. Отправляя в нос понюшку за понюшкой, он непрерывно говорил, — многие в его возрасте бывают болтливы, — и в короткие минуты своего отдыха успел сообщить мне нечто... Ах, Массимо! Авторская дерзость меня оставляет. Я чувствую, что не смогу хорошо передать рассказ Карелина. А надо, чтобы он дошел до тебя совершенно таким же, каким я его услышал. Постарайся представить себе маленького человечка с круглым лицом цвета хорошо запеченной ветчины и голой, как кегельный шар, головой. Его голубые глаза полиняли от старости и слезятся. Праздничный фрак и узкие бархатные

панталоны удивительно свежи и корректны. Огромные углы воротничков и галстук белы, как русский снег. Приятный басок проникает в душу. Попробуй представить себе эту милую фигурку, и пусть не я, а дворецкий говорит теперь сам за себя...»

ГЛАВА IV

Рассказ Карелина

— По науке теоретической и практической, почтеннейший господин Баталия, тридцать лет — большой для жизни человеческой срок-с. И потому в семьсот восемьдесят первом году были мы против теперешнего много моложе. Книжкине Анне Александровне всего лишь под двадцать подходило. А господин ваш едва ли даже шестнадцать считал. Да и я еще полным глядел лихачом-с. У-уф! Ап-чххи! Чхи! Чхи! Благодарствуйте! Состоя в нежном отроческом возрасте, жил князь Петр Иванович с батюшкой своим на Кавказе, поблизости города Кизляра. Можно сказать, жили они света на краю, где прачки, белье моючи, мыло на небо кладут-с. А далекое такое пребывание по той нужде имели, что батюшка князя Петра при великой породе своей самый прямой был голик: отставной полковник, и, окромя малого садика под Кизляром, не было у него ничего-с. Бросался его сиятельство па рюмки, будто магнит на железо, и — обеднял. Так-то, мешая дело с бездельем, чтобы, избави бог, с ума не сойти, и обитали они в своем садике.

Подоспело, однакоже, время князька молодого в военную службу везти. А куда-с? Бог весть. Само дело не ползет, не лезет. Принялись перебирать столичных доброхотов. И княгинюшку нашу вспомнили. Благодушные се тогдашнее всем было известно. У-уф! Ап-чххи! Чхи! Чхи! Благодарствуйте! Взясась она без отказа за хлопоты. И на тот конец, чтобы жребий племянников лучшим манером устроить, выписала его в Санкт-Петербург. Приехал князь Петр — черен, худ, мал... Недоросток галчиный с виду, и только. А всего главнее, так одет, что и показать его людям возможности нет. Не то на нем куртка длиннополая была, не то кавказский бешмет и поверх балахон пресмешной. Все то из грубейшего верблюжьего суконца. На голове шапка ухатая. Тут и весь был его мундир-с. Мечтается мне господин ваш таким часто и поднесь. Ей-ей!

В те поры царствовала в России Екатерина Секунда¹, го-

¹ Вторая (лат.).

сударыня ума величайшего и сердца несохватного. Военными же всеми делами заправлял без отчета знатный чудодей светлейший князь Потемкин. Через высокую эту планету ватеяла кнвгивюшка возвести племянника своего на первый ступень натурального счастья. И клюнуло. Да маленько во времени разошлись. Покамест Петру Иванычу у лучшего столичного портного кафтан, камзол, штанишки правили, кланяться и французским кое-каким словам учили, вдруг, как гром с небеси, от Потемкина к нам фурыер: немедля представить светлейшему недоросля из дворян Багратиона для паискорейшего в службу определения. А в чем представить? Как есть не в чем-с... Ретивый фурыер у крыльца ждет. Кони, нетерпеливо фыркая, копытами о землю бьют-с. Страшная поднялась тут у нас суматоха, шуму полны горницы, а дела нет-с. И как знать, чем бы катавасия завершилась, кабы не я. Мир сей, господин Баталия, лабиринф и загадка. Все в нем к чему-нибудь да пригождается. Так и я пригодился. Тогда еще мода была на англезы, и барин наш, князь Борис Андренч, — бывалый в свете и не последний щеголь, — с грацией дивной оттопывал англезы эти на балных паркетах в разных дворцах. Для вечерних куртагов водилось у него многое множество разноцветных шелковых кафтанов, один другого богаче, а иные и с алмазными пуговицами. Наскучит кафтан — с плеч долой, и мне новый подарок-с. Оттого и я ходил франтом: расчесан на три пукли, в пудре, в брыжжах, камзолы ярчайшие, а о кафтанах и речь молчи, — словом сказать, Бова-королевич, а не слуга. В тот день, как прикинулась у нас суматоха, князя Бориса Андренча по прыткости его тогдашней дома не нашлось. И подвернулся на глаза княгинюшке я — в светлоголубом кафтане и претонком этаким кружевном жабо. Глянула она на меня раз-другой, да и пальчик к губам. Сперва задумалась, потом всохотнула. «Стой, — говорит, — Никишка, сымай с себя весь костюм». Я было застыдился. А княгинюшка на меня — грозой. Я скорей с себя все прочь, от парика до туфель, замер в бельишке худом и жду, что будет-с. «Князь Петр, — говорит, — живо облекайся!» Ну, князь Петр просить себя не заставил. Вмиг преобразился из длинной черкески в куцый кафтан и выступает фертом, будто ввек ничего, кроме шелковых французских нарядов, нешивал. И так вышло, что сложением и ростом оказались мы в одну мерку по всей точности. Помчал князь Петр Иваныч во дворец. Принял его там светлейший с немалой ассистенцией, и понравился ему князек. Правду сказать, был он смолоду и диковат и бедклассен, но ведь не один тот бывает учен, кто многим нау-

кам учился, а и тот, кто с примечанием живет-е. Понравил-ся... Через чае назад прибыл, да уж не недорослем, а сержантом Киевского мушкатерского полка-с. Радостен вернул-ся, казалось ему, что на третье небо попал и неизреченные слышит там глаголы. А тут у нас и бишоф, и вино, и пунш! Так-то довелось мне, почтеннейший, при первом господина вашего карьерном шаге не самовидцем простым быть, но и главным в деле участником. Мир сей загадка-с! О том и в священном писании мудро изображено: не уявился, что будем...



Продолжение письма Э.-С. Батталья

«Два дня я не брался за перо. Два дня — и много и мало. Много — потому, что эти дни могли бы нарушить собою в моем сердце неприкосновенность впечатлений, которые я хочу довести до тебя во всей их первоначальной свежести. Мило — так как я думаю, что и долгими годами жизни свежесть этих впечатлений все же не может заслониться. Я продолжаю.

Представь себе, Массимо, громадную галерею и на ней многочисленное общество, толпящееся после ужина вокруг мого господина. Три каменных лестницы, мшистых, как бархат. Ведут прямо через сад в длинные аллеи столетнего парка. Перед входом в парк слабо поблескивает пруд, голубеют и синиии мечаца статуи и обелиски. Где-то за садом ведется крестьянский танец (здесь это зовется хороводом), звенят веселые деревенские песни, играет пастушеский рожок. Вечер удивительно тепел и тих. Пламя свечей, горящих на террасе в больших бронзовых шандалах, несмотря на открытые окна, неподвижно. Клянусь небесными силами, я и в Италии не видывал такого прелестного летнего вечера, как вчерашний!

Но при всем том было в нем нечто страшное. И под тягостным впечатлением этого страшного общества вдруг приумолкло. Никто не похвалил красоты вечера. Никто не спустился из галереи в сад. А князь-хозяин шопотом приказал Карелину немедленно остановить крестьянские песни и пляски на заднем дворе. Словно замороженные, все глядели на темносинее чистое небо. Там, где обычно сверкают семь звезд Большой Медведицы, в его бездонной глубине висело чудовищное помело невидимой ведьмы. Багровая комета пылала гигантским загнутым книзу хвостом. И великолепное безобразне этого зрелища наводило па души какой-то мучительно сладкий трепет. Уже не первую ночь миллио-

на глаз смотрели на небо и не могли привыкнуть к его новому виду. Хотелось доискаться смысла в этом необыкновенном явлении. Но смысл не отыскивался. И отсюда возник ужас.

— Комета... Комета... — пронеслось на галлерее. — Чем грозит нам она, о боже!¹

Господин мой также казался взволнованным. Его руки были сложены крест-накрест поверх бриллиантовых орденских знаков и широкой голубой ленты; голова задумчиво склонена на грудь.

— Не феномен этот страшен, — вдруг вымолвил он, — а то, чего вся Россия ждет... Други!.. Отечество паше в опасности. Не нынче-завтра бросится на нас Наполеон. Война неминуема, свет не видал подобных войн...

Голова его гордо вскинулась, и ордена звякнули. Привычным движением он вырвал из ножен шпагу до половины клинка и с лязгом всадил обратно. На галлерее царила такая тишина, что у меня вагудело под черепом.

Около моего господина стоял старый генерал в камлотовом мундире малинового цвета, страшного покроя первых годов века. В России очень много отставных генералов. И я не раз встречал их. Чаще всего это захоластные помещики, почти никуда не выезжающие из своих уединенных каменных усадеб. Крикливые жепы и разбитые клавикорды — обычные спутники их угрюмой старости. Ветеран выступил из толпы, неуклюже постукивая о пол чем-то вроде деревянной клюки, и заговорил нескладно и робко. Но в голосе его дрожало чувство, а маленькие серые глазки сверкали под насупленными седыми бровями.

— Ваше сиятельство, — начал он, — слушаю вас, а слышу Суворова. Будто не вас, его вижу. По образу и подобию великого россиянина созданы вы, новый герой наш...

Он сделал несколько шагов вперед, продолжая громко стучать своей палкой.

— Суворов — отец русской славы, вы — сын ее. Где Багратион, там победа. Нет у нас другого, как вы! Нет!

Генерал с грохотом ринулся вперед. И тут обнаружилось, что действительной причиной производимого им шума была не палка, а деревянная нога. Он хотел упасть на колени, — нога мешала. Странная картина, жалкая и величественная вместе.

— Ваше сиятельство!.. Спасите... Спаси Россию, князь! От крика, подхваченного множеством людей, вдрогнула

¹ Комета не сходила с неба до поздней осени 1811 года.



галерея. На мгновение мне почудилось, что ее легкие ступы рушатся.

— Спаси Россию!

Мой господин побледнел. Когда на его смуглое лицо находит эта внезапная бледность, оно становится бело-коричневым, и тогда на него жутко смотреть. Я знаю, что в эти мгновения он задыхается от боли, его грудь не выдерживает могучих толчков взволнованного сердца. Он повернулся, чтобы уйти во внутренние комнаты. Но остановился на пороге гостиной, ярко освещенной кепкетами и карселевыми лампами. Эта гостиная была яхонтового цвета — стены, мебель и пушистый ковер. Здесь бледность моего господина сделалась чрезмерной. Я хотел броситься к нему. Однако он поднял руку, и все замерло.

— Други мои! Клянусь счастьем родины, памятью и славным именем предков! Всем, что есть для меня в этом мире святого...

Он прижал руку к груди.

— Клянусь умереть за Россию!

...Мне до сих пор не удалось узнать, откуда появился у русских прекрасный обычай подбрасывать кверху любимых военных вождей. Может быть, его начало в глубокой древности, когда римские легионы вздымали на щитах предводителей, достойных власти над миром. Может быть... Но обычай этот как будто выдуман для русских. Что-то лучезарное, как истинная слава, видится мне в дружной искренности, с которой они чествуют посредством него своих героев.

Десятки рук подхватили моего господина и с радостной пылкостью подбросили кверху. Князю всегда по душе любая солдатская встряска. А эта была любя в особенности: лицо его порозовело, значит сердце забилося легче и вольней. Долго печалиться он не привык и, взлетая под потолок, уже смеялся весело и беззаботно. Это продолжалось довольно долго.

Очутившись наконец на ногах, князь зашагал к двери. Портьера отпахнулась. За ней, в этом укромном местечке, тихонько прятался Карелин. Старик переживал счастливые мгновения. Щедедушное тельце его вздрагивало от рыданий. Мой господин взял дворецкого за плечи и вывел на середину комнаты.

— Любезный Никита, — сказал он, — здравствуй, душа!

И крепко обнял Карелина. При здешних отношениях между дворянами и их крепостными слугами подобное движение барского сердца представляет собой нечто бессмысли-

мо странное, необыкновенное, как чудо. Оно противоречит всем привычкам и взглядам общества. Немудрено поэтому, что публика, стоявшая кругом, оцепенела. Но князя не смутил се столбняк. Он поцеловал Карелина в щеку и громко — так громко, что слова его были услышаны решительно всеми, — проговорил:

— Без тебя не был бы я тем, что есть. Спасибо же тебе, душа, тысячу разов спасибо!

...Поздно вечером я помогал моему господину раздеваться перед сном. Он был задумчив и молчалив. От недавней веселости не оставалось в нем и следа. Этому унылому настроению соответствовал мерный стук английских часов, стоящих в спальне князя на подзеркальнике между окнами. Минутная стрелка на них завершала свой круг. Они четко пробили один раз, и за ними множество других часов, стоящих и висящих в разных комнатах огромного дома, принялись отбивать и отщелкивать ночной термин. Эта трескучая музыка вывела князя из задумчивости. Он пересел из кресла на постель и медленно проговорил:

— Если родине моей, Сильвио, предстоит гибель... пусть первой жертвой буду я!

К таким словам, из чьих бы уст они ни вышли, невозможно отнестись равнодушно. Но их произнес могучий воин великой страны. Они вырвались у грозного полководца, который не погнушался поцелуем теплой благодарности почтить старого раба. Бог знает, что со мной сделалось... Не помню и того, как это сделалось. Только я, свободный итальянец, схватил маленькую руку этого удивительного человека и крепко-крепко поцеловал ее. Кажется, я шептал в этот момент что-то очень банальное, вроде:

— Скорее небо упадет на землю и река По потечет вверх, чем я...

Но не то важно, что я шептал и шептал ли вообще что-нибудь, а то, что я поцеловал его руку и от этого почувствовал себя не хуже, а лучше, чем был до того...

...Вот случай, дорогой Массимо, который, как мне кажется, лучше всяких рассуждений может тебе объяснить, почему я не считаю унижительной свою лакейскую должность и не стремлюсь ни к какому другому, более высокому положению в жизни. Если же ты все-таки не поймешь, не я виновен. Никогда в жизни я не писал так много; впрочем, дело заслуживает этого. Не оскорбляйся моей искренностью, Мас-

симо. Где скрывается истина, никому неизвестно. Да и к чему она людям, у которых есть убеждение? Итак, я обращаюсь не столько к королевскому лейтенанту, сколько к маленькому кузнечному ученику, которого оставил двенадцать лет назад в Милане, у Верчельских ворот. Обращаюсь к нему и прошу не отвергать дружеского и братского объятия. Нежно обнимаю также тетюшку Бобину. Я очень желал бы знать, продолжает ли она попрежнему молиться обо мне ежедневно утром, вечером, после завтрака и после обеда святому Бонифацию Калабрийскому. Извините, мои милые, за каракули и сохраните в памяти и родственном расположении вашего

Энея-Сильвио Батталья.

Село Сямы Владимирской губернии.

18 июня 1811 года».

Муратов и Олферьев несколько мгновений молча смотрели друг на друга. Потом обнялись — также без слов, радостные и светлые. Муратов бережно уложил на груди подарок Багратиона.

— Покамест сердце бьется, хранить буду здесь, Алеша!

ГЛАВА V

Городничий был из отставных кавалерийских майоров и в спокойные времена любил заливать за воротник и начинять нос табаком. Сейчас он, бледный, стоял перед Багратионом. Нижняя челюсть его очень приметно тряслась.

— Ваше сиятельство, — повторял он отчаянным голосом, — ваше сиятельство! Христом-богом... Как же это? Давай квартиры, строй печи для сухарей, давай дрова, давай подводы — все на свете-с... Ваше сиятельство! Вы городишко наш изволили видеть... Откуда же? Куда ж мне? В реку броситься...

Багратион поднял руку и с такой неожиданной силой опустил ее вниз перед красеньким носом старика, что лицо городничего явственно ощутило дуновение свежего ветра.

— Знать ничего не хочу! Чтоб было! Не то — повешу!

Майор побагровел. Челюсть его перестала дрожать.

— Меня повесить? — рявкнул он. — За что-с? Аль не служил я кровью своему государю? Али сын мой, Смоленского полка, что в седьмом вашем корпусе, подпорщик Зимпский не льстит надеждой за родину жизнь сложить под вашей командой? Меня повесить! Как-с?

Городничий сорвал с себя зеленый сюртук и, распахнув рубашку, плачущим от обиды голосом прокричал:

— Вот они, раны-с...

Багратион хотел отвернуться.

— Нет, уж извольте взглянуть, ваше сиятельство!

Плечо старика было много лет назад разворочено осколком фугаса и до сих пор имело уродливый и жалкий вид. Через грудь шел багровый рубец от глубокого сабельного удара. Князь Петр Иванович подошел к ветерану и обнял его.

— Прости, душа! Я думал, что ты из крапивного семени¹, а не наш брат. Прости же великодушно. А теперь без крика и шума скажу: не выполнишь — расстреляю!

Несколько секунд городничий молча смотрел на него, так, как был — с голым плечом и обнаженной грудью, потом аккуратно застегнул сюртук и, вытянувшись, отчеканил:

— Будет исполнено!

* *
*

— Садись теперь, Алеша, и пиши, что говорить стану... Или обожди малость. Ей-ей, не подъячий я, чтобы сочинять что ни день письма царю. Я воин. В том мое дело, чтобы командовать. Не дают! А если бы отказался министр?² Завтра был бы я в Витебске. Отыскал бы там Витгенштейна с первым его корпусом. А потом — распашным маршем двинулся бы, в приказе отдав: «Наступай! Поражай!» Вот моя система: кто раньше встал, тот и палку взял. Ой, сколь много важности в быстроте! Под расстрел готов, коли господина Наполеона в пух не расчешу! Но что делать! Не открыт государем мне общий операционный план. Министр знает, да от меня в секрете держит...

Багратион шагал по горнице. Вдруг, пораженный внезапной догадкой, он остановился перед Олферьевым. Пронзительный взгляд его огненных глаз упирался в молодого офицера. Но Олферьев чувствовал, что князь не видит его.

— А что, коли и министр тоже ничего не знает, кроме того, что государю не угодно больших сражений давать? Скрытен от нас государь! И легко может Барклай, как и я, ничего не знать. Тогда так сужу: либо не имеет министр вождедеспного рассудка, либо лисица. Знает и молчит, — гнусно. Не зная, молчит, — опять же гнусно, ибо в одном со

¹ Из гражданских чиновников.

² Последний министр М. В. Барклай-де-Толли был вместе с тем и главнокомандующим Первой армии. Его приказания были обязательны для Багратиона.

мною положении быть стыдится. Приказчик он, бурмистр государев, а не министр. Но при всем том министром зовется и на шее моей сидит...

Багратион крепко ударил себя по шее. Раздражавшие его мысли неслись, как тучи по небу, — тяжелые, темные, готовые излиться яростными потоками гневных слов. Да разве один Барклай сидел у него на шее? А тот — красавец в локонах, с узкими, слегка поджатыми губами, начальник штаба Второй армии, господин генерал-адъютант граф де-Сен-При? Отец его был француз, мать — австриячка. Родился он в Константинополе. Учился в Гейдельбергском университете. С семнадцати лет в русской службе. Под Аустерлицем потерял лошадь и за то получил Георгия. При Гутштадте ранен в ногу картечью. Отлично! Но кто же все-таки он, этот граф? Что он для России? Почему он начальник штаба одной из российских армий и генерал-адъютант императора? Царь шлет ему письма. О чем? От Сен-При не знаешь. Иной раз будто вытолкнет его что-то вперед с каким-нибудь неожиданным новым планом. Ясно: не его это планы, а государевы. Но зачем же государь шлет проекты Сен-При, а от главнокомандующего таит их? И выходит, что главнокомандующий должен повиноваться начальнику своего штаба, мальчишке, проходимцу. А как этот французишка на ухо легок! Не шпион ли? «Мы проданы, — думал князь Петр, — ведут нас на гибель. Нет мочи дышать от горя и досады». Он присел к столу против Олферьева.

— Хотел писать царю, — не буду. А чтоб душу отвести, черкнем, душа Алеша, тезке твоему, Алексею Петровичу Ермолову. Начинай без экивоков: «Мочи нет, любезный тезка, дышать от горя и досады. Стыдно носить мундир! Бежит министр, а мне велит всю Россию защищать. Мерзко мне фокусничество это. Ей-ей, скину мундир!..»

Багратион взглянул на своего адъютанта. В ясных серых глазах Олферьева дрожали слезы. Нежное, как у девушки лицо его было искажено судорогой отчаяния и горя. Князю Петру стало жаль его. Он протянул руку через стол и ухватил офицера за ухо. Потом, пригнув к себе, прошептал:

— Не горюй, душа! Сперва Россию из ямы вытащу. А уж там и мундир сниму. Одна-то голова не бедна. Да еще и сниму ли? Ермолову ведь пишем. Он тонок, «патер Грубер»¹, покажет письмо министру, — то и надо!..

¹ Патер Грубер — известный иезуит. Шуточное прозвище генерала А. П. Ермолова среди близких ему людей.

Вьюки, чемоданы, седла валялись по скамейкам и на полу. Столы, табуреты и стулья были расставлены так беспорядочно, словно их уронили наземь с большой высоты. Денщики толпились в дверях, ожидая приказаний. Человек пятнадцать офицеров — кто в сюртуке, кто в шпензере¹, а кто и просто в архалуке — расхаживали по горнице с трубками в зубах. Некоторые что-то писали, лежа на чемоданах. Говор и смех висели в воздухе. Писаря сустились. С авампостов то и дело приезжали гусары с допесениями.

Государев флигель-адъютант вошел в дежурную комнату главного штаба Второй армии около полудня. При виде золотого аксельбанта и вензелей на эполетах приезжего полковника шумная офицерская ватага сконфузилась и замерла в почтительном молчании. У флигель-адъютанта была немецкая картонная физиономия, измятая и усталая, с мягкими впалыми щеками и тем приветливо-постным выражением, которое часто бывает свойственно придворным людям, неискренним, пустым, уклончивым и равнодушным. В походке и манерах он заметно подражал императору — сутулился и вытягивал вперед шею, словно ожидая услышать или собравшись сообщить нечто важное. Флигель-адъютант скакал сюда по местам лесистым и болотистым. Кругляки, которыми мостились дороги в Белоруссии, в течение целых суток непрерывно плясали под колесами его брички. Скачка походила на пытку. И сейчас узкая грудь флигель-адъютанта ныла от долгой тряски и бесчисленных толчков. Он огляделся и уже раскрыл рот, чтобы осведомиться, где главнокомандующий, когда из соседней горницы быстро вышел граф Сен-При с радостно протянутыми вперед руками.

— Бог мой! Как вы добрались до нас, полковник? Что вы привезли нам?

— *Es ist schauerlich!*² — ответил приезжий. — Дороги стали столь трудны и опасны, что государь, отправляя меня, не дал мне письменных повелений.

— Каким же путем вы ехали?

— Через Дриссу, Ворисов и Минск. Навстречу мне из Минска мчалось множество экипажей. Непрерывной вереницей тянулись обозы. А под самым Минском я столкнулся с губернатором и чиновниками, которые бежали из города. Они уверяли меня, что неприятель через полчаса будет в

¹ Мушкетер без фляг, надевался под сюртук.

² Печто чудовищное! (нем.)

Минске. Но я проскакал по улицам благополучно. Впрочем, через час там действительно были французы.

Громкий вздох пронесся по горнице. Как? Минск взят французами? А ведь Вторая армия спешила именно к Минску, чтобы заслонить собой средние области России от наступавшего Даву. И вдруг — Минск взят! Значит, Даву предупредил Вторую армию... Стало быть, расчет главнокомандующего рухнул... Сен-При взял флигель-адъютанта под руку и повел из общей комнаты в соседнюю, пустую. Здесь он аккуратно притворил дверь и тщательно пример ее тяжелой скамьей.

— Мне хорошо известно, дорогой полковник, как вы осторожны. И я поражен откровенностью, с которой вы сообщили сейчас *orbis et urbi*¹ о постигшей нас неудаче.

Флигель-адъютант внутренне вздрогнул. В самом деле, привычка к сдержанности ему изменила. Проклятая дорожная тряска! Надо исправить ошибку. Но как? Ни на секунду не теряя достоинства и в полной мере сохраняя репутацию ближайшего к государю человека. Его пресная физиономия строго сморщилась.

— Зачем скрывать правду? — проговорил он. — Пусть Вторая армия знает, к чему ведут наивная самонадеянность и неосновательная хвастливость ее вождя. Что, собственно, случилось? Наполеон распустил ложные слухи, будто его главные силы сосредоточены в Варшаве и что австрийская армия двинется на нас из Галиции. По этой причине мы разделили наши войска на части. Между тем Наполеон начал войну совершенно не так, как мы ожидали. С основной массой своих корпусов он перешел Неман у Ковны и направил Даву на Минск против князя Багратиона. Теперь ясно, что он желает помешать соединению генералов Багратиона и Барклая. С этой точки зрения потеря Минска равна катастрофе. Не скрою от вас, дорогой граф, что действия вашего главнокомандующего внушают его величеству серьезные опасения. Вам поручено присматриваться к князю Багратиону и изучать его. Скажите...

Сен-При провел рукой по своему бледному тонкому лицу. И на лицо легла грустная тень. Прекрасные глаза его, потемнев, тоже сделались грустными.

— Наш главнокомандующий, — начал он, — неподражаем в своих мгновенных вдохновениях. Он храбр в битвах, хладнокровен в опасностях, необычайно распорядителен, тверд в ведении дела. Но...

¹ Всеми свету (лат.).

— Но?

— Видите ли... Князь Багратион провел бурную и рас-
сеянную молодость. Ему некогда было учиться. Он овладел
военным искусством на опыте. А так как опыг часто проти-
воречит книжным доводам кабинетной науки, князь свособ-
разпо отличается от множества других военачальников.
В этом отчасти причина его магического влияния на умы
таких образованных генералов, как, например, Раевский.
Они идут за ним совершенно слепо. *Je le leur disais bien.
Mais ils n'ont pas voulu suivre mes conseils, et bien les
voilà punis!*¹

— Вы правы. Князь упустил Минск. Государь очень
опасается, что подобные промахи будут повторяться. Его
величество находит, что недостаток военного образования
и общей учености обезоруживает князя перед лицом вели-
колепной стратегии Бонапарта.

— Бонапарта — да! Но, к нашему счастью, с Наполео-
ном нет ни Массены, ни Мармона, ни Лавна, ни Журдана,
ни Сульта, ни Ожеро. Один из этих блистательных полко-
водцев командует Домом инвалидов в Париже. На челе
другого уже горит Иудина печать измены. А прочие испол-
няют обязанности дядек при тупоумных братьях гения.
В Россию пришли Мюрат, Ней, Даву... Это первоклассные
таланты. Однако кто из них учение Багратиона? Я хочу вас
просить, дорогой полковник, вручить государю мое письмо.
И положил в нем как эти соображения, так и многие другие,
в сущность которых его величество несомненно посвятит
вам. Я счастлив доверием государя, но удручен тягостью
моей двойственной роли здесь, при князе Багратионе. Я так
ненавижу Наполеона, что с невольной горячностью присо-
единяюсь к самым решительным порывам князя. И все же
никак не могу завоевать его сочувствие. Он видит во мне
прежде всего наблюдающее око, это его раздражает. Я для
него — человек, лишенный родины, и он не хочет понять,
что уже около двадцати лет назад я заменил потерянную
родину долгом присяги и чести...

Голос Сен-При прерывался от волнения.

— Патриотизм князя узок. Для таких патриотов, как
оп, ни вы, ни я — не соотечественники, потому что мы не
русские...

— Это нелепо, — равнодушно отозвался флигель-адью-
тант, — ведь русский император — наш государь. Разве Рос-

¹ Я их предупреждал. Но они не пожелали следовать моим сове-
там и теперь наказаны! (франц.)

сия теряет что-нибудь от того, что мы служим ей? Наоборот, она должна быть благодарна...

— Гм! Видите ли... Вы снисходите до того, чтобы служить России. А князь Багратион не считает нас достойными служить ей. Нелепо ли это? Чрезвычайно! Тем более, что и сам князь не русский. Православный? Да. Но на войне дело идет вовсе не о происхождении святого духа... Я очень хочу чувствовать себя русским. Скажу без похвальбы: мне удастся это. И что же? Князь постоянно возвращает меня на какое-то неопределенное и крайне неудобное место. Боюсь, что я никогда не сумею победить его предрешение...

— Вероятно, ваше сиятельство намереваетесь просить государя о переводе в Первую армию?

— Нет. Генерал Барклай еще менее радовал бы меня как начальник. Кстати, он так же мало посвящен в планы государя, как и мой главнокомандующий?

— Он посвящен больше. Но, конечно, тоже не полностью. Идея отступления Первой армии в укрепленный Дрисский лагерь принадлежит исключительно его величеству, и генерал Барклай всего лишь точный исполнитель...

— Тьфу, пропасть! — раздался за дверью громкий голос Багратиона. — Да куда же делся граф? Что? С государевым флигель-адъютантом? А ты не во сне видел, душа?

Сен-При и приезжий полковник вскочили с мест. Граф испуганно поджал губы и бросился отодвигать скамейку от двери. Полковник одернул сюртук и поправил аксельбант.

ГЛАВА VI

Командир 7-го корпуса генерал-лейтенант Раевский был слегка глуховат и поэтому ужасно не любил так называемых военных советов. Кроме того, столько раз случалось ему в них участвовать, принимать вместе с другими участниками общие решения и потом видеть, как все совершается иначе, что время, затраченное на эти словопрения, он привык считать просто потерянным. Особенно не нравились ему военные советы в присутствии царских посланцев — таков именно был сегодняшний. Здесь дело положительно отступало на задний план, зато сложилась развлекательная игра человеческого самолюбия и карьерных замыслов. И Раевский заранее знал, как сгруппируются интересы, и какие образуются лагери, и из каких соображений каждый участник совета будет говорить то или иное. К главнокомандующему примкнул донской атаман Платов — по слепому доверию, и он, Раевский, — по убеждению в превосходстве

смелом и самостоятельной военной мысли над робкой и малодушной. Государев посланец будет молчать, наблюдая. Но то, зачем он прислан, выскажет как бы от себя Сен-При. А к нему — по дружбе и общим привычкам придворности — присоединится начальник сводной гренадерской дивизии граф Воронцов. Шеф ахтырских гусар Васильчиков беспомощно повиснет в воздухе. Всего труднее будет Багратиону — из-за его горячности. Всего тяжелее — ему, Раевскому, от глухоты и досадливых чувств.

Николай Николаевич сидел возле князя, подперев кулаком большую курчавую голову. В лице и во всей невысокой и стройной фигуре, в движениях и даже в неподвижности его можно было легко заметить нечто такое, от чего благородство и ум этого человека казались несомненными. Вот он повернулся к Багратиону, взглянул на Воронцова, опустил голову и задумался — просто и открыто, с достоинством, без малейшей позы, точно взял и подчеркнул какую-то свою мысль. Но вместе с тем заметны были в Раевском и усталость, и холодность, и даже, пожалуй, равнодушие. Такие люди очень часто возбуждают великие ожидания, но оправдывают их далеко не всегда.

— Вашему сиятельству предлагается план решительный, но вместе и осторожный, — вкрадчиво говорил Сен-При, — он прямо вытекает из положения, в коем мы находимся. Будучи отрезаны от Первой армии, мы, однако, без особых затруднений можем еще сосредоточить все наши части в Несвиже. Пользуясь природными условиями местности, а также старинными замковыми постройками князей Радзивилов, нам легко будет там закрепиться. И выждать неприятеля не на открытой позиции, но в укрепленном лагере, наподобие Дрисского, куда Первая армия идет...

Багратион слушал с недовольным, почти сердитым видом.

— Не годится, — твердо произнес он.

Потом, вспомнив, что предложение Сен-При, по всей вероятности, есть один из планов императора, что привез его флигель-адъютант, что главнокомандующий по обыкновению отстранен от своей естественной роли довольно оскорбительным приемом, он проговорил еще тверже:

— Нет, не годится! Несвиж на дальнейшем пути армии нашей и впрямь лежать может. Но сидеть там и ждать, покамест неприятель пожалует, когда ничто не мешает ему мимо пройти, дурно задумано. Это все натуральный ход ошибок, одна по другой с первого дня войны начатых. Да и до войны еще в том промах был, что растыкали нас по



границе, как шашки на доске. И стояли мы так, разиня рот. Знаю, в чем цель была: тонкой линией кордонов перехватить все три возможных для наступления Бонапартова пути хотели — и от Тильзита на Петербург, и от Ковны на Москву, и от Гродны на Москву же. А того в разум не взяли, что перехватить тонкой линией кордонов операционные направления еще никак не означает, что они уже и перерезаны. Нет! Это означает другое: взяли и подставили свои силы частями под удар. И притом вообразили, что пойдет Наполеон обязательно на Первую армию. Нашей же назначили действовать ему во фланг, а генералу Торماسову с Третьей армией — во фланг тем войскам, кои пойдут на Вторую. Ах, умно! Но каналья Бонапарт двинулся сразу и против Первой армии и против Второй. Тогда — с перепугу, что ли? — некий придворный чумичка и методик, из тех, о коих Суворов «гадкие проектёры» говаривал, приказал нам бежать...

Выговорив эти дерзкие слова, Багратион гордо вскинул голову и оглядел смущенные лица сидевших кругом генералов.

— Методик приказал и — побежали. Куда? Никто не знал толком. Эх, жаль! Слезы кипят! Июня шестнадцатого начал я отступление на Минск и расчет имел к двадцать пятому там быть. Хорошо! Очень! Однако восемнадцатого — в Зельве — вы, полковник, доставили мне именное его величества повеление следовать через Новогрудок и Вилейку на Свенцяны. Тут только я, главнокомандующий армией, известился о том, что за благо приказано против главного направления войск Бонапартовых Первой и Второй армиям соединиться и сосредоточиться. Где? Оказывается, пивó¹ для общих операций в Свенцьянах выбрано. Славно! Добрался я до Немана. И уже совсем было переправился, да счастье несчастье помогло — мост испортился. Задержка, — богу благодарение! Узнаю двадцать третьего, что государь и министр в Свенцьянах, а пивó — между небом и землей. Тем часом перерезал Даву дорогу на Витебск, остались мне леса и пути непроходимые. Что делать? Снова решил я двигаться к Минску. А дни потеряны. Кто вернет их? Никто. Узнаю, что грозные силы французские мчатся к Минску. И опередить их теперь уж никак невозможно мне, — сорван марш мой короткий, и опоздал я безвозвратно. Разбить французов у Минска и прорваться напрямик к Первой армии? Думал. Но людей множество и обозы потерять не хотел. Вот

¹ Центу обширной, многосторонней тактической операции.

и нашелся и тогда — повернуть на Мир и Кайданов, чтобы и от Даву уйти и честное соединение с Первой армией, как то свыше повелено, из предмета не выпустить. Приказываю Матвею Иванычу¹ снова на левый берег Немана у Николаева перескочить и движение мое прикрывать обманным видом. Расчет у меня: узнав про ложную переправу мою у Николаева, попробуют французы отрезать меня от Первой армии и для того сломают направление свое на Минск, а я тем временем к Минску подоспею и прорвусь... Уф!..

Багратион быстро вытер платком бледное и потное лицо.

— Финал: приезжает ноне господин государев флигель-адъютант и сообщает, что Минск французами занят. А нам до него еще два больших перехода, разве двадцать седьмого достигнем. Вернется полковник в императорскую квартиру и доложит государю, что Багратион глуп, неуч и Минск проморгал. Полагать должно, что и господин начальник штаба моего о том же в партикулярном письме его величеству отпишет. Так глуп Багратион — окружен, как медведя с рогатинами окружают. Французы и в Вилейке и в Воложине, и король Жером из Новогрудка грозитя бить по тылам. У Даву шестьдесят тысяч, у Жерома столь же, а у Багратиона сорок. Сгиб ротозей Багратион, как швед под Полтавой! И в таких-то обстоятельствах предлагает ему господин начальник штаба армии генерал-адъютант граф де-Сен-При шествовать к Несвижу и там спокойно ожидать врага. Дельно ли? Избави бог!

Он помолчал, тяжело дыша.

— Что ни день — оплох, что ни час — спотычка. Повинен в том Багратион. А окромя него, кто? Кто ему повелевал итти то так, то этак, из-за чего и упустил он Минск? Кто странно так дело ведет, что пробивается Багратион изо всех сил к Первой армии, а она все уходит от него да уходит, и похоже, что и впредь ему все пробиваться, а ей уходить? Наполеон лишь Неман перешел, писал я уже государю. И предлагал его величеству крепко ударить со Второй армией и казаками Бонапарту в тыл, с тем, однако, чтобы и Первая армия его в лоб атаквала. Соизволения высочайшего на то не последовало, и назначено мне соединиться с министром в Дриссе. С тех пор повинуюсь министру, как капрал! Писал я опять государю... С прискорбием сокрушаясь, писал, что, не имея к себе доверия его величества, не знаю плана операционных действий. Не открыт он мне. А может быть, и скрыт. От того трудно мне с пользой рас-

¹ Атаман Донского казачьего войска М. И. Платов.

цоряжаться армией. Государь удостоил меня собственноручным рескриптом. Лестно! Боже, как лестно! Однако за всем тем остался я в неведении насчет операционного плана нашего. И уж думать вынужденным нахожусь: да есть ли он у нас? Государя люблю, как душу. Но, видно, он не любит нас. Не любит! И войско ропщет, и все недовольны. Не могу равнодушным быть! Еле дух перевозжу от горя, клянусь вам, господа!

Генерал Раевский поднял голову. На холодном и серьезном лице его выражалось отвращение к происходящему.

— Его сиятельство прав совершенно, — устало проговорил он, — многое непоправимо упущено, согласования в действиях нет, положение Второй армии тяжелое, безвыходное почти... Прислав флигель-адъютанта своего, его императорское величество не соизволил сообщить нам никаких повелений. И от генерала Барклай-де-Толли также приказаний не поступает. Миссии графа Эммануила Францевича, — он посмотрел на Сен-При, — апробовано, как полагаю, быть не может из-за неудобств и прямых опасностей, с коими приведение его в действие сопряжено. При таком положении почитаю для спасения армии нашей нужным, от всех прежних начертаний вовсе отклонясь, отступить на Мозырь, где и соединиться, но не с Первой армией, а с Третьей — генерала Торماسова.

Сидевший возле Сен-При молодой генерал, высокий и худой, с лицом, необыкновенным по своей змеиной красоте, улыбнулся с предостерегающей вежливостью. Это был граф Воронцов. Он родился и вырос в Англии, где отец его долгое время был русским посланником, и потому в говоре его явственно слышалось английское произношение.

— Однако, — сказал он, обращаясь к Раевскому и улыбаясь при каждой новой фразе все вежливее и любезнее, — однако ваше превосходительство уходите так далеко, как может уйти лишь тот, кто не знает, куда он идет. Сегодня его сиятельство, главнокомандующий, не получил повелений государя. Но что же из того? Ведь общий смысл воли его величества нам известен. Государь желает, чтобы Вторая армия непременно соединилась с Первой, — раз. Он не желает, чтобы мы, находясь в самом начале войны, предпринимали не предусмотренные им, рискованные и опасные для сбережения сил наших марши, — два. Наконец, он возлагает надежды на способ сопротивления французскому наступлению посредством укрепленных лагерей, образец коих изготовлен для Первой армии в Дриссе, — это три. Согласитесь, ваше превосходительство, что предложение ваше никак:

не соответствует ни одному из трех желаний государя. Что же касается мнения графа де-Сен-Приеста об отступлении к Несвижу с тем, чтобы укрепиться там в лагере, оно несомнительно отвечает, по крайней мере, двум желаниям его величества...

Генерал в длиннополом однобортном мундире без пуговиц, с грубой скуластой физиономией и ухватками переодетого дикаря вдруг довольно громко икнул. Это часто случалось с ним на военных советах, когда пуще разума одолевала его охота отлить пулю против сильнейшего. Но что спросить с темного станичника, который в степи родился, ковылю молился? Старый донец знал верное средство против гнева и мести.

— Простите, господа, великодушно, — начал он и еще раз икнул, перекрестив рот, — может, и заблудился атаман Платов по скудости умной. Сижу, слушаю, — все перебрал, что за сорок лет службы видать приходилось, а этакое колдовращения не вспомню. Христом-богом свидетельствуюсь, так! На сем аллегорию кончив, уже и того прямой скажу: от единого князя Петра Ивановича вразумления жду и приказа, где кровь за отчество пролить.

Воронцов и Сен-При оживленно перешептывались. Курносый синеглазый генерал-майор в гусарском шпензере восхищенно жал руку Платова.

— Да что ж, Ларивон Васильич, — бормотал атаман, почесывая ямку на широком подбородке, — что с нас взять-то?

Раевский спросил гусара, сам не зная зачем, без всякого любопытства, почти с тоской в голосе:

— Почему вашим собственным мнением не поможете вы нам, господин Васильчиков?

Шеф ахтырских гусар давно уже чувствовал себя в затруднении. Никаких своих соображений у него не было, а Сен-При, Багратион, Раевский, Воронцов и Платов — каждый в отдельности и все вместе — говорили так дельно, что в конце концов он был согласен со всеми. Как и что мог он сказать от себя? На свежих щеках его выбился вишневым румянец досады. Он сделал над собой усилие и ответил с натуральной барственной гордостью, способной прикрыть любое из самых неприятных самоощущений:

— Я младший в чине. Меня не спросили. А по мне говорить последним трудней, нежели первому умереть.

Раевский был человек без предрассудков и сентиментальности. «Коли этого молодца не ухлопают по чрезвычайной его храбрости, — подумал он, — то но придворной ловкости

пустейшего ума быть ему главным в России чиновником...»¹

Грациозно-снисходительная улыбка, бродившая до сих пор на губах государева флигель-адъютанта, вдруг исчезла. Он встал, и все поднялись, готовясь услышать нечто, как бы от самого императора исходившее.

— Отправляя меня сюда, государь соизволил сказать: «Передайте князю Петру Ивановичу, что Бонапарт, верный системе своей, двинется, конечно, к Москве, чтобы утратить Россию. Но ничто на свете не заставит меня положить оружие, покамест неприятель будет в пределах наших оставаться. Скорее я отращу себе бороду и уеду в Сибирь, нежели заключу мир».

Флигель-адъютант наклонил голову, как пастор в патетическом месте проповеди.

Таковы подлинные слова его величества, из коих усмотреть возможно, сколь великие расчеты возлагает монарх наш на доблесть и мудрую предусмотрительность господ главнокомандующего и генералов Второй армии.

Полковник подошел к Багратиону, откланиваясь. Он спешил с отъездом. Бричка и конвой уже ждали его.

— О каких же намерениях вашего сиятельства прикажете доложить его величеству?

Главнокомандующий вытянулся, как будто отдавая рапорт самому императору:

— Доложите, полковник, о предложении господина начальника штаба моего и о том, что с ним никак не согласен я!

**
*

Придворный гость отбыл, и генералы разошлись с этого странного совета, который словно для того лишь и создан был, чтобы суток через двое многим в императорской главной квартире чихалось и не здравствовалось.

Платов и Раевский сидели у Багратиона. Князь Петр рассуждал с величайшей горячностью:

— Пора, други, духу русскому приосаниться! Понять надо: не обыкновенная это война, а национальная. А с методиками нашими пропадешь. Уж и я чуть не пропал. Да не пропал же! И впредь не случится! При «них» козырять не хотел. Пусть думают, что дела наши швах! Ха! А дела то отличны!

¹ И. В. Васильчиков был впоследствии (при Николае I) председателем Государственного совета, то есть занимал высшую должность в империи.

— Ваше сиятельство, преувеличиваете, — сказал Раевский, чтобы несколько охолодить главнокомандующего, — дела не отчаянны, но и не хороши...

— Нет, Николай Николаич, душа, хороши очень! И сейчас я тебе докажу. Глянь на карту. Одна армия — за большой рекой. Другая направляется кратчайшим путем на соединение с первой, — это мы. Но, узнав невозможность, в обход идет. Однако и тут — стоп! Волчья яма! Так! Что бы, спрошу я вас, господа, надо делать сейчас Бонапарту?

Платов молчал.

— Уничтожить нашу армию, — неохотно проговорил Раевский, — к коей Первая никак на помощь притти не может...

— Слово золотое! Так! А Бонапарт что делает? Знай себе гонится за министром. Почему Даву рвался к Минску? Чтобы отрезать меня от министра. Король Жером ему помог. Дивно! Ну и что же? Ничего. Живы, здоровы, богу слава! Цель главная Бонапартова маневра до сей поры не мы, а министр. Тем и дела наши чудны. Хочет Бонапарт Двину перейти и угрозой сразу Петербургу и Москве стать. Куда ж теперь Даву двинется?

— Вашему сиятельству то лучше известно, — сказал Платов.

— Полагаю, что либо во фланг нам, — задумчиво отозвался Раевский, — либо... на Могилев. Скорей последнее. Нас из виду не выпуская, будет грозить Смоленску. А нам за Днепр и ходу не останется...

— Ай, душа, — радостно закричал Багратион, — верно! Бросится Даву на Могилев! Вся армия французская на северо-восток сдвинется, — оно и началось уже. Сто тысяч против Петербурга и против Москвы столько же. Министру из Дрисского лагеря либо на Петербург отступать, либо с Бонапартом лоб в лоб биться. Мы же...

Он остановился. Глаза и щеки его пылали.

— Мы же... В Могилев! Даву встречать! Аль чего не расчел? Ну-тка!

От удивления Раевский крикнул. «Как остра и извилиста мысль его! — в сотый раз подумал он о Багратионе. — Когда служили мы оба прапорщиками у Потемкина, кто бы предугадать мог!» И он приложил к тугому уху руку пригоршней, внимательно слушая.

— Армия наша горсти меньше... С чем начинать было дело? Выйдет хорошо, скажут: министр! Дурно выйдет, чорт ли велел Багратиону соваться? Шнапс! Но не у Могилева! Там я готов! И за войска спокосн.

— Каким же путем поведете вы, князь, армию свою к Могилеву? — с удивлением спросил Раевский. — На всех дорогах французы...

— А-а, душа! Глянь еще на карту: Несвиж, Слуцк, Бобруйск... Крючковато? Зато без драки дойдем. Долетим! Вот план мой. И как выведу армию из беды, скину мундир. С ума сойти боюсь, коли министр отступать не кончит.

**

Наконец главнокомандующий и атаман говорили с глазу на глаз.

— Спроси меня, Матвей Иваныч, скажу прямо: не хочу я Сен-Приеста иметь при себе, не хочу! Воля государя была дать мне его в дядьки. А я не хочу! Все-то он шепчет — то с флигель-адъютантом государевым, то с графом Михайлой Воронцовым. Шопот — дело сплетников и... шпионов. За всем тем переписку ведет с государем. О чем? Поди дознайся. Я редко пишу. А он — что ни день, и все по-французски... Мне долго смешно было, а потом и к сердцу дошло. Как быть, душа?

Атаман прикрутил короткий ус. На морщинистом лице его мелькнула такая хитрекая улыбка, что нельзя было не подумать: «Ну и тертый калач!»

— А послать бы его, ваше сиятельство, для обозрения армии неприятельской. Я провожатых дам. Покажут они ему армию Наполеонову в таком расстоянии, что он взглянет разок да уж никогда больше и не увидит. Великодушно доставим французскому сему графу на том успокоиться. Ась, ваше сиятельство?

Багратион вздрогнул и побледнел.

— У-ух, казацкая в тебе душа, старик! Нет, на такое неспособен я. Да и зачем станем мы его в бессмертие через славную смерть водворять? Уж пусть лучше меня терзает... Только — начеку быть надо и смотреть в оба! Приказывать тебе станет — ты без меня ни с места!

ГЛАВА VII

Двадцать восьмого июня донцы Платова и легкая конница Васильчикова восемь часов дрались под Миром с кавалерийским авангардом маршала Даву под начальством польских генералов Бужицкого, Турне и Радзиминского. Шесть уланских полков неприятеля были частью порублены, частью подняты на дротики, частью, не оглядываясь, умчались с широкого песчаного поля, на котором происходил бой.

Платов гнался за ними двадцать верст. Казаки притащили в лагерь дюжину пленных офицеров да сотни три солдат. Живую добычу пересчитывали и разбирали под высоким курганом, на котором донской атаман разбил свою палатку, посреди неоглядной равнины, занятой шестнадцатью казачьими полками.

Славный день кончился. Вечер настал ясный и теплый. Солнце садилось. Розовая пыль неподвижно висела в тихом воздухе. У шалашей дымились огоньки.

Кавалерийские кони, причесанные и гладкие, казачья, брыкливые и растрепанные, вереницами тянулись с водопоя. По биваку было разлито спокойствие, печальное и торжественное вместе. Небо горело багровым светом. День кончился, но не спешил уйти совсем, словно хороший товарищ с места дружеской разлуки — сделает шаг в сторону и оглянется. Грянул выстрел заревой пушки. Барабаны скороговоркой затрещали: доброй ночи! Трубы голосисто пропели: доброго сна! Выехали конные разъезды. Уланские флюгеры вились над высокими киверами, как галки. Голубые казачьи куртки, бараньи шапки и длинные черные дротики, взятые наперевес, казались летучими тенями. Все, куда мог достать глаз, тонуло в знойно-туманном пурпуре последних отблесков солнца. Пар призрачно алел над рекой. Что за день! Что за вечер!

Муратов бросил повод на крутую шю Кирасира, отличного верхового коня, названного так по огромной своей стати. Другая лошадь, пожалуй, и не вынесла бы великана-всадника. Поручик смотрел кругом и улыбался, сам не зная почему. Но улыбка была радостная и бесконечно счастливая. На выезде из лагеря его нагнал прапорщик 5-го егерского полка, тоже верхом. Офицер этот был чрезвычайно молод, совсем еще мальчик, с лицом, странно привлекательным и неприятным одновременно. Загримировав ребенка под старика, можно получить именно такое лицо.

— Муратов, — крикнул он, шпоря свою низкорослую кобылу, — едемте вместе! Вы в главную квартиру? Я тоже.

— Едем, пожалуй. Что скажете вы, Раевский, о нынешнем деле?

Подпрыгивавший о бок с Кирасиром прапорщик как-то по-стариковски пожал плечами и на одно мгновение сделался удивительно похож на генерала Раевского, но только не вообще, а в минуты овладевавшего генералом порой холодного и равнодушного раздумья.

— Что сказать? Во-первых, много значит, что наши литовские уланы одеты почти так же, как и польские. Тот

же синий с малиновым мундир, разнища лишь в цвете шапок и флюгеров. Все время шла путаница, и мы от нее постоянно выигрывали...

Муратов живо повернулся в седле.

— Какие пустяки! Разве в этом дело?

— Во-вторых, славно работали казаки. Гнались напуском, не заботясь о том, кто опередил и кто отстал. Готов об заклад биться, Муратов, что вы сочиняете поэму о наших донцах. И Матвей Иванович летает в ней из строфы в строфу на лазоревых крылышках славы.

Прапорщик засмеялся.

— Стой! Кто едет?

Изю ржи торчали пики. Ни людей, ни лошадей видно не было. Так всегда выглядят казачьи пикеты.

— Адьютант главнокомандующего. Отъезда нет.

— Правильно, ваше благородие, — промолвил казак, поднимаясь в рост.

Он был подпоясан широким патронташем из красного сафьяна. Два пистолета висели на патронташе. За спиной болталась винтовка. Он поднес руку с нагайкой к шапке, не то для того, чтобы приветствовать офицера, не то, чтобы полнее взглянуться в него.

— Видать, брат, не скучно? — с радостной улыбкой спросил его Муратов.

Казак тоже улыбнулся.

— На бикетах стоим, газетов не читаем, скучать время нет. Извольте просажать, ваше благородие!

**

Луна скользила челноком по легкой зыби облачного неба. Она то пряталась за развесистыми купами берез, рядами тянувшихся вдоль дороги, то вдруг обливала белым светом ее ровное полотно. рисую на нем причудливые узоры древесных теней. Широкое поле по обеим сторонам дороги, за березами, было покрыто туманом. Где-то далеко-далеко трепетно мерцала зарница.

В переловом казачьем секрете велся тихий разговор. Молодой станичник, еще не заслуживший усов, стало быть, из тех, что даже заглазно, по ребячьей памяти именуют родителей «мамушка» да «тятенька», шептал товарищу:

— Уж и такая тоска, такая... Уж и так берет...

Кто-то сильно ткнул его в спину.

— Ох, лихо те задави!

Он вскочил было на ноги, но сплюнул с негодовавшим. Это конь почесал горбатое переносье о казачье плечо.

- - Так крепко берет, дядя Кузя... Ино случается, жить невмочь!

Дядя Кузя был старинный донец, знаменитый в своей округе искусством наезднических проделок. Почти не оставалось по станицам казаков, которые и монету поднимали бы с земли на скаку и, подвернувшись под брюхо лошади, стреляли оттуда из винтовки с такой изумительной ловкостью, как он. А между тем уже давным-давно считалось уряднику Кузьме Ворожейкину под пятьдесят. И наружность его тоже была примечательна. Усы висели почти до пояса, а брови чуть ли не до половины щек. Из этой волосяной заросли огромным крючком высовывался ястребиный нос и, как звезды в туманную ночь, поблескивали маленькие глазки. Зубы дяди Кузи были белы и остры, как у щуки. Он медленно вырубил огонь на трубку. Слетел с трубки дымок, и кони отфыркнулись в темноте. Зубы Ворожейкина сверкнули, и туго прикушенный ими костяной черенок скрипнул.

— То-то, брат, — вско проговорил он, — а с чего то-скуешь? Свое! Вот и грызет... Про хранцев толкуют: больно, слышь, супротив нашего богато живут, сволочи... Ну и что ж? А русские-то бедны, пускай, и глупы, ради муки царской, да свое. Хранцы мудры, зато рафленных кур, будто турки, на страстной неделе жрут. Ты это сообрази. Свое! Понял?

— Как не понять... А отшибить ее можно, дядя Кузя?

— Тоску избыть? Коли и впрямь мочи нет, — нехотя отвечал урядник, — на то имеется средство.

— А как?

— Вот пристал, прости господи! Как, как... Землицы щепоть со степи донской есть у те-е?

— Есть. В ладонке зашита.

— Разведи в воде, выпей, тоска прочь и скатится как ни в чем не бывало.

— Вишь ты!.. Вышью! А хранец тоже, поди, по своей земле томится?

— В см этого нет. Куда ему? Животина... Где хорошо, там ему и отечество. Слыхал, как лопочут они?

— Слыхал.

— Это что же? Люди? Так себе... Падаль! Чем их больше на дротик поднять, тем душе легче.

В этот момент дальний конский топот глухо отозвался в ушах Ворожейкина. Он живо припал к земле.

— Эге! Двое... На рысях хода...

Станичник побелел, как песок на дороге. «Это кто же,



дядя Кузя?» хотел он спросить. Но Ворожейкин глянул так сурово, что у молодца зашелся язык. Всадники наезжали все ближе. Теперь не только был ясно слышен топот их коней, но видны уже и кони и сами всадники. Один казался фигурой поменьше, зато другой...

Ворожейкин и станичник ползли к дороге, неслышно волоча под локтями тяжелые дротики. «Хранцы!» молнией пронеслось в обеих казачьих головах.

**

— На Западе расчет всей жизни — в чертеже и в логарифмах, — говорил Раевский, — там — бессонница и труд ума, строгие допросы природы в застенках лабораторий. А у нас... Ради бога, Муратов, не примите моих слов по своему адресу! У нас — припадки вздорных вдохновений, тесная дружба с природой, детские сны на зеленых лужайках фантазии. Смысл войны нашей с Наполеоном в том именно и состоит, что столкнулись два мира — взрыв риторы во время химического опыта. Мать моя — внучка Ломоносова. Любопытно, что восневал бы теперь в своих одах мой прославленный предок. А может быть, подобно современным старым дуралейм, и он занимался бы глупейшим исчислением грехов Наполеона? Право, чем больше люди думают об этих вещах, тем меньше проку в том, что они говорят о них.

Муратову крепко не нравилась холодная насмешливость прапорщичьих рассуждений. Было в ней что-то больно задевавшее его простодушную горячность. И от этого с львиной силой вспыхивал в нем гнев. Незаметно офицеры перешли на французский язык: Раевский — потому, что находил этот язык более удобным для точного выражения сложных мыслей, Муратов — по привычке изъясняться на нем в минуты душевных волнений, раздражения, досады и ссор.

— Странная идея! — с сердцем сказал он. — Попробуйте сами не думать. Но не советуйте этого, по крайней мере, другим!

— Думать полезно только для того, чтобы не погрязнуть в мусоре жизни, а в остальных отношениях это так же бесплодно, как сдувать пыль с письменного стола: ведь она непременно покроет его опять своим серым слоем. Однако есть люди, для которых ни о чем не думать то же, что размышлять. Они мало выигрывают от этого, зато и другие ничего не теряют.

От этих дерзко-умных слов Раевского, как от холодной воды, внезапно остыли в Муратове гнев и досада. «Нет, не

под силу мне спорить с этим мальчишкой! — подумал он. — Эх, кабы померяться нам сердцем и душой!»

— Бог весть, что станется с вами дальше, Раевский, — тихо проговорил он, — но мне жаль вас. Наслаждение жизнью вам недоступно, ваша душа мертва. Скучно, очень скучно будет существовать вам.

Желтоватое лицо Раевского сморщилось, точно от боли. Муратову стало неловко и тягостно. И чтобы покончить этот неприятный разговор, он сказал:

— *Il me semble que je meurs de soif!*¹

Раевский ничего не ответил. Бросив поводья, он плелся позади. Вдруг кобыла его рванулась в сторону, и он чуть не вылетел из седла.

— Ах, — отчаянно крикнул Муратов, — боже мой!..

Пика Ворожейкина вошла в его спину между лопатками. Острый наконечник ее торчал из груди, по которой темнокрасной струей стекала слабо дымившаяся кровь. Муратов страшно захрипел и повалился с Кирасира. Раевский подхватил его одной рукой, придерживая другой тяжело качавшуюся пику. «Вытащить?» Он попытался. Но ни силы, ни решительности у него не достало. Жестокое оружие было всажено так туго, что не подалось ни на дюйм. Громадное тело Муратова затрепетало, и сам он побелел от боли.

— Не надо!..

Его голос был беззвучен, как падение пепла.

— И-не надо...

ГЛАВА VIII

«Ее высокоблагородию Анне Дмитриевне Муратовой, в городе Санкт-Петербурге, у Пяти Углов, в доме генеральши Леццано.

Netty, милая сестра моя! Не знаю, как начать... Ищу и не нахожу слов. Отечество наше воюет. Ты русская. Укрепи сердце мужеством. Жертвы неизбежны, без них нет ни чести, ни славы, ни спасения. Сегодня в ночь к нам привезли тяжело раненного Поля... Память дружбы не боится испытаний. Ужасные подробности совершившегося не умрут раньше меня. Они поистине ужасны, но вместе с тем и бесценны. Слезы облегчают душу. Плачь, бедная Netty, слушая печальный рассказ мой.

. Офицер, который привез Поля с места, где он был ранен, не решился выдернуть из его могучей груди

¹ Мне кажется, что я умираю от жажды! (франц.)

пику, — это страшное орудие горестной ошибки. Лекарки находят, что этим он спас Поля от немедленной гибели: пока рана закрыта, раненый живет. Поэтому и пика не вынута до сих пор. Фамилия офицера — Раевский, он сын командира 7-го корпуса.

. Сердце Поля, певучее, как соловей. не умолкает. Сколько раз принимался он говорить о тебе, Netty! Ему не под силу говорить громко, следовательно, он шептал. Но разве люди не кричат шепотом?

. Начальник штаба нашей армии граф де-Сен-При пытался выведать у Поля имя ранившего его казака. Но откуда Полю знать это имя?

— Скажите, по крайней мере, мой бедный друг, — спрашивал граф, — как выглядит ранивший вас злодей?

На бледном, истомленном страданиями лице Поля мелькнула улыбка, добрая и светлая.

— Я не помню его лица, — простонал он. — Было темно... Не помню, граф!

Однако, когда я через минуту наклонился над ним, он шепнул мне чуть слышно:

— Я узнал бы беднягу из тысячи!

Netty! Je ne l'ai jamais vu aussi beau que dans ce moment!¹ Часто ли встречается на свете такое полное и чистое всепрощение?

Тебе известно, как любит Поля наш главнокомандующий. Он заходит к нему через каждые два часа. Невозможно видеть без слез отеческую ласку, с которой князь обращается к вернейшему из своих адъютантов, как он нежно целует и крестит его. Несколько раз у постели Поля появлялся также и славный атаман донцов, Платов, герой боя под Миром. Ехидный мужик! Сейчас, когда я пишу тебе, он опять кружится около Поля, как ивовый лист на воде. Ты спросишь: зачем? Я понял это в ту святую минуту, когда чудесное благородство Поля заслонило собой сразившую его темную руку. Чем больше печалится граф Сен-При от невозможности открыть и примерно наказать злодея казака, тем довольнее атаман. Он достаточно хитер, чтобы скрывать свои настоящие чувства. Но мне кажется, я разгадал их. Платов — ревностный патриот своего войска и стоит горой за каждого донца. Людям, не остриженным в кружок,

¹ Я никогда не видел его таким прекрасным, как в эту минуту! (франц.)

заслужить его уважение трудно, а любовь нельзя. Единственное исключение — князь Багратион, которого старый атаман боготворит

Уже вечер. Полю не хуже. Но впереди — ночь, полная мрака и неизвестности. Сейчас отправляется почта, и я запечатываю это письмо, Netty.

*Твой брат и друг
А. Олферьев.*

29 июня 1812 года.
В г. Несвиж, на марше.

**
*

— Итак, мы в восьми верстах от Слуцка, а французы уже в Несвиже...

Багратион недолго подумал о чем-то и продолжал говорить:

— Что ж? Так и быть должно. Однако и нам свои меры взять необходимо. Господа генералы Платов и Васильчиков! После славной победы вашей под Миром полную на вас имею надежду. Французы на хвосте у нас к Бобруйску ползут. Арьергарда долг — крепче прикрывать армию. Смотрите, други: коль скоро от Романова отойдете, весь обоз армии сгинет. Нельзя скоро отходить! Через ночь войска в Уречье будут. А вам и завтра и послезавтра весь день у Романова надлежит держаться. И лишь третьего июля близ вечера дозволяю отойти на Слуцк. Хоть вся сила адава ринет на вас, ни шагу!

Атаман расправил плечи.

— Быть бою! Эх, люблю я бой! За то от государя и чины, и звезды, и жалованьишко... И Россия за то славит нас... Хорош бой! Тут жарко, там опасно... А где безопасно? На печи лишь...

Васильчиков с восхищением посмотрел на Платова. В горницу вошел Сен-При.

— Только что скончался Муратов, — грустно проговорил он. — Как пику вынули, всего полчаса дышал. Но и пику оставить в нем было уже невозможно. Я распорядился похоронами: два взвода — в наряд, «под вечную память» — три залпа... Бедный Муратов! Но сегодня, князь, я наконец дознался...

Багратион медленно поднялся из-за столика с бумагами и перекрестился. То же сделали Платов и Васильчиков. Мягкое и тихое выражение проступило сквозь резкие черты лица главнокомандующего.

— Упокой, господи, душу раба твоего Павла! — прошептал он несколько нараспев, по-церковному. — В месте покояне, отиюду же отбеже печаль и въздыхание... Эх, душа Павлище! Улетел-таки от нас! Витаешь...

Он закрыл рукой глаза. Рот его скривился в непослушной гримасе. Все стояли молча, опустив головы. Так прошло несколько минут. Князь Петр Иванович спросил, все еще не снимая с глаз руки:

— О чем, бишь, граф, начали вы?

— Сегодня дознался я наконец об имени злодея, что убил Муратова, — повторил Сен-При и быстро справился по бумажке: — Иловайского 12-го полка урядник Кузьма Ворожейкин... В розыске ни от кого ни малейшего содействия не имел. Но долгом почел дело завершить, дабы не осталась справедливость поруганной. И в намерении своем, хвала богу, успел. Надеюсь, любезный атаман, что теперь вы, со своей стороны, вступитесь...

Платов был невысок ростом и сухощав. Однако при последних словах начальника штаба армии он сделался вовсе маленьким. Физиономия его потемнела, голова спряталась в плечи, и живой, игристый блеск улетучился из глаз. Атаман чувствовал себя скверно.

— Ворожейкин? — бессознательно оттягивая время, переспросил он. — Ворожейкин, Кузьма? Всех урядников войска своего знаю. Не задаром и сам казак и с войском сорок лет. А Ворожейкина Кузьмы видом не видал, слыхом не слыхивал про такого... Промашечки тут нет ли, сиятельный граф? Бывают, Мануил Францыч, в донесениях описочки али другое что... Наплетет какой-нибудь мерии-брехун по злобе то ли с дурости...

Сен-При отрицательно качнул головой и выпрямился, красивый и гордый, как петушок.

— Все точно, Матвей Иваныч! Принимайтесь за кнут!

Багратион оторвал руку от глаз. Они еще были мокры. Но на выразительном лице его уже не оставалось никаких следов недавнего мира и тишины.

— За кнут?

Он произнес это так, как будто сам щелкнул кнутом.

— Кого вы собрались сесть, граф?

Багратион грозно ударил кулаком по столу. Чернильница подпрыгнула. Песок для присыпки серой струйкой вылился из песочницы на бумаги.

— Да в уме ли вы, сударь? Как? При нынешних обстоятельствах сесть казака? За что? За ошибку, от прямой и честной верности происшедшую? И я бы ошибиться так мог!

Меня секите! Любил я Муратова... Сами видели, как, жалеючи его, в слабость впал. Но твердо говорю: не казак виноват! Где видано, чтобы на аванпостах казацких французскую козерию¹ разводить?

Князь живо повернулся к Платову.

— Каков он, урядник тот, Ворожейкин?

Атаман уже давно пришел в себя. Глаза его опять играли веселым огоньком, и он заметно хорохорился, лукаво поглядывая на Сен-При.

— Надежда казак, ваше сиятельство, — отрапортовал он с нарочитой точностью, вытянувшись, как на смотре, — первый по кругу на Дону старик усть-медведицкий...

Багратион махнул рукой.

— Остер крючок, граф Эммануил Францыч, — резко проговорил он, — да изогнулся... Перемудрили, сударь! Приключись беда не с Муратовым, взял бы я урядника-молодца к себе в конной. А вы что зитеяли? Эх-ма! Ежедневно изволите то тем, то иным способом в удивление меня приводить. И уж вашему сиятельству со всей прямою скажу: начал я от беспрестанных тех удивлений скучать...

Сен-При пожал плечами. Мелкие и частые зубы его оскалились в натянутой и неестественной улыбке.

Он поклонился и пошел к двери ровной походкой человека, озабоченного главным образом тем, чтобы спина его выглядела как можно равнодушной. Дверь за начальником штаба закрылась. Васильчиков почесал румяную щеку в тяжелой растерянности. По обыкновению он решительно не знал, кто в этом деле прав. Своего мнения у него не было, но какое-то темное, смутное чувство влекло его на сторону Багратиона. Атаман негодуяюще сплюнул и с солдатской ловкостью растер плевков ногой.

— Обиделся граф... А на что? Нешто казака своего выдать могу я? Сохрани бог! Совесть русская от многих веков и поколений, как мир, обширна. Окиян! И одни тонут, а другие плывут с честью и славой. От самой той почп, как свершилось, знал я про Ворожейкина. Да хотел казака сберечь, господа! Потому и след путал, темнил, как умел, по простоте. Вашему же сиятельству благодарность душевная за суд скорый, правый и милостивый. Вдругорядь иной фонтер-понтер призадумается. Что за стыд! Только и слышно: сам пан-тре, тре-тре-тре... Ох, уж мне фонтеры-понтеры эти, лягушка их залягай!..

¹ От французского *causerie* — болтовня.

Через полчаса Платов и Васильчиков отъезжали от белого домика, в котором стоял главнокомандующий. Под ахтырским пшфом плясала, делая красивые лансады, пугливая быстрая лошадь на высоких тонких ногах. По-казачьи согнувшись и размахивая нагайкой, атаман гвоздем сидел в седле на своем маленьком степном скакуне.

— Знаете что, Матвей Иванович? — сказал Васильчиков. — Князю Петру Ивановичу неудобно, мне же вполне пристойно сделать. Отдайте казака Ворожейкина в мой конвой.

— Сделайте ваше одолжение! — воскликнул Платов. — Ларивон Васильевич! Почтеннейший! Бери! Да почему не услужить, коли то возможно и законом не воспрещено? Прошу! Храброму российскому генералу, каков вы являетесь, отказать никак не могу... Бери разбойника Ворожейкина!

ГЛАВА IX

Прикрывая отступление Второй армии, Платов и Васильчиков разбили 2 июля у местечка Романова передовой кавалерийский отряд маршала Даву под начальством генерала Шепендовского. Это было второе крупное арьергардное дело армии Багратиона, не менее блестящее, чем первое — под Миром, но еще более значительное по результатам. Теперь армия могла без опасений двигаться па Бобруйск и оттуда к Могилеву, а до боя под Романовым каждый шаг ее сопровождался риском быть настигнутой и окруженной. Багратион вздохнул свободно.

Он знал, что Наполеон до сих пор еще не выбрался из Вильны, продолжая руководить из этого города действиями маршалов, в частности Даву и своего брата вестфальского короля Жерома. Наполеон, повидимому, желал, чтобы Даву наступал на Вторую армию от Вильны, а Жером преследовал ее с тыла. Его целью было уединить Багратиона и взять его в тиски. Князь Петр Иванович отлично понимал смысл операций Даву и Жерома, но его беспокоили не столько они, — ловкий маневр с выходом к Могилеву должен был вырвать его из тисков, — сколько полная неясность в положении Первой армии генерала Барклая. В самый день боя под Романовым Барклай вывел свои войска из укрепленного лагеря при Дриссе, где они, запертые в ловушке, могли ожидать лишь обхода и уничтожения. Барклай правильно сделал, что отступил, но при этом он как бы забыл о суще-

ствования Второй армии — путь его отступления лежал через Полоцк к Витебску. Преследуемая войсками короля наполеонского Мюрата и маршала Нея, Первая армия все дальше и дальше уходила от Второй. Это движение Барклая, спасительное для него, ставило Багратиона лицом к лицу с новыми затруднениями.

Даву и Жером действовали плохо. Даву долго задерживался в Ошмянах, Жером — в Гродне. Потом передовые войска их были дважды разбиты арьергардом Багратиона. Вышло так, что вместо уничтожения Второй армии французам удалось лишь опередить ее в Минске и толкнуть на дальний путь через Несвиж к Бобруйску. Не этого, конечно, требовал Наполеон от Даву и Жерома! Багратион имел основание смеяться над своими преследователями и гордиться ловкостью, с которой обошел их. Но с Барклаем у него ничего не получалось. Барклай уходил, и соединение армий становилось крайне сомнительным, так как догнать министра и одновременно отбиваться от французов Багратион больше не мог. Таково было положение дел, когда 5 июля Вторая армия пришла в Бобруйск.

Если бы не Барклай с его отступлением к Витебску, — этот марш казался Багратиону простым бегством, — положение Второй армии в Бобруйске было бы довольно выгодным. Сама крепость никаких удобств для защиты не представляла. Восемь плохо одетых бастионов с выходящей на реку Березину круглой оборонительной башней, казенные склады, бедный деревянный форштадт — все это было трудно защищать, да и не стоило. Зато река Березина являлась превосходной естественной преградой напору короля Жерома. Могилев уже не мог теперь выскользнуть из рук Багратиона. Правда, в восьмидесяти пяти верстах от него показались французы. Но если бы даже авангард Даву занял Могилев раньше, чем Багратион подошел к нему¹, то и в этом случае биться с французами один-на-один и перейти Днепр с боем у города было не так опасно, как искать дальние переправы и очутиться в конце концов между Даву и Жеромом. Багратион принял решение: пробиваться во что бы то ни стало и, прикрывая собой Смоленск, выходить на соединение с Первой армией. Спешить, спешить... Сорок пять тысяч человек — мало, очень мало...

— Як кит наплакав, — говорили солдаты-украинцы.

— Ничего! С сорока пятью тысячами можно смело итти

¹ Именно так и случилось: 8 июля генерал Бордесуль, командовавший авангардом Даву, захватил Могилев.

на пятьдесят. Только бы развязать себе руки и ноги. Спешить!

Так рассуждал Багратион, сидя вечером в гостиной господского дома на фольварке Саиежино, в трех верстах по большой дороге от Старого Быхова. Он только что привел сюда свою армию из Бобруйска форсированным маршем по самому короткому тракту, чтобы заслонить французам путь на Оршу и Смоленск. Господский дом на фольварке был удобен. Олферьев велел растопить камин — в гостиной стало тепло и светло. Ах, как отраден огонек камина под оседлой домашней кровлей! Дверь распахнулась, и в гостиную быстрыми шагами вошел Платов. У него было сердитое лицо, от волнения тугие желваки бегали на скулах под коричневой кожей.

— С новостью, ваше сиятельство! — громко заговорил он еще с порога, взмахивая обеими руками и ударяя ими по длинным полам синего казачьего мундира. — Прямо скажу: министр у нас, конечно, головастый человек, а поди ж, то и дело приводит войско Донское в оторчение и меня самого в размышление...

Платов выхватил из-за пазухи лист бумаги.

— Не угодно ли прикажец министра, сейчас мною полученный, вашему сиятельству прочесть?

Это было предписание генерала Барклая, которым донскому атаману повелевалось незамедлительно выйти из-под команды Багратиона и направиться со всеми казачьими полками к Витебску для включения в состав Первой армии. Платов сел на шелковое канапе, широко расставив ноги в мягких сапогах. Князь Петр Иванович крепко закусил зубами побелевшую нижнюю губу, держа Барклаево повеление в вытянутой руке на отлете. Он не кричал и не бранился, а просто молчал. Платов знал грозный смысл этого молчания. За ним должна была следовать страшная буря. Атаману стало не по себе, и он тихо сказал:

— Давно я служу, много видал, ведомо мне очень, какво за себя и за других пробиваться... Жизнь — бедровое дело. А так и не научился!..

Он распахнул мундир и вытащил из-под сорочки засаленную ладонку на тонкой золотой цепочке.

— Вот — корешочки. Из сада моего новочеркасского, с Дона взятые...

В остром взгляде главнокомандующего сверкнуло изумление. «Не спятил ли атаман?» Внезапное соображение это отодвинуло гнев в сторону.

— На кой ляд корешки твои к этому делу?

— Заговорить надо было бы, — горестно воскликнул атаман, — уж чего верней? И на ум министру пакость такая не взбрела бы...

Багратион вздохнул, и с протяжным вздохом этим из груди его вылетел тягостно наполнявший ее гнев. Сердце его забилось свободнее. И он громко и весело захохотал.

— Эку гиль, душа, порешь! Заговорить... Ха-ха-ха! Колдун донской! Ха-ха-ха! Уморил, душа! Вовсе в прах уложил! Ха-ха-ха!

Он так заразительно смеялся, что и Платов, не выдержав, зафыркал.

— А коли не колдовать, то что ж нам взаправду с министром делать, а? Ты это скажи! Ах, он!.. Сам без оглядки бежит от Вильны... Меня с сорока пятью тысячами всероссийским спасителем произвел... И того ему мало! Теперь тебя отбирает. Ах, он!..

Багратион уже не сидел перед камином. Он бежал по гостиной так быстро, что фалды сюртука развевались у его колен, как флаги.

— Первое: не, бывать тому! Эй, Олферьев!

Адъютант вбежал.

— Садись, Алеша! Пиши, что говорить буду... «Атаману войска Донского, господину генералу-от-кавалерии Платову. Поелику... Ввиду...» К чорту, Алеша, и «поелику» и «ввиду»! Черкай их, пиши просто: «Предписываю вашему высокопревосходительству задержаться с войском Донским при вверенной мне армии впредь до особого моего повеления». Все! Накось, выкуси, министр! Так! Слушай меня, атаман! Царь ни тебя, ни меня не любит. Слава наша не им подарена, с бою взята. Такова наша слава, что не сладить с ней царю. Ты меня знаешь: сказал — свято. Берусь я соделать тебя Российской империи графом, ежели духом не упадешь, в пьянство не вдашься и с министром в стачку не влезешь. Верь! Будете графами — сам ты и сын твой Иван, а дочь Марфуша — графинюшкой. Только близ меня стой! Вместе и французам наложим и министру поддадим... И тогда благодарностью царской я тебя с головы до ног вымажу.

Платов кинулся к князю, чтобы обнять его. Из черных глазок атамана катились слезы, пылкие слова без связи и последовательности срывались с губ.

— Не надо! Сперва дело сделаем, тогда и спасибо скажешь! Теперь — второе. Алеша! Пиши повеленье Раевскому: «Дабы предупредить находящиеся за Оршей французские войска выходом нашим на Смоленскую дорогу и занятием города Могилева, а также и для воспрепятствования движе-

нию их на Смоленск, чем ограждение центральных российских областей прямо достигается, повелеваю вам, господин генерал-лейтенант Раевский, со вверенным вам корпусом седьмым немедленно предпринять диверсию по следующему плану. Имеете завтрашний день выступить к селу Дашковке, что от Могилева в двадцати верстах, а оттоль с частью корпуса вашего для усиленной рекогносцировки до самого города Могилева. Буде же окажется, что город французами занят, забрать «язык» и мне донести, в каком количестве французы тамо засели. Я сам с армией неотступно за вами спешу, и, при надобности, сикурс¹ полный вам обеспечен. С сим вместе и атаману войска Донского мною повелено отступать на Старый Быхов для сближения с вами. На случай неудачи наступления нашего у Нового Быхова мост наводится...» Но не предвижу я неудачи, а один лишь несомнительный успех. Пусть авангард давустов уже в Могилеве. Но что в нем? Тысячонок шесть.. Много? Не выбьем, что ль? С богом! Прощай, душа атаман! Олферьев! На конь, друг, скачи сам к Раевскому с повелением! Живо!

ГЛАВА X

Генерал Раевский выступил из Дашковки с двумя егерскими полками и двумя батальонами пехоты ясным и тихим утром, под теплым, крупным и частым дождиком. Маленький отряд шел скорым шагом по прямой и ровной дороге. Еще при Екатерине II, лет тридцать тому назад, здешние дороги были обсажены березами. Теперь эти высокие старые развесистые деревья придавали им вид бесконечно длинных роскошных аллей.

Отряд был уже недалеко от Салтаиовки, когда его нагнал на запаренной лошади молодой белокурый адъютант в конногвардейском мундире, с радостно взволнованным лицом. В серых глазах его дрожал тревожный блеск. По всему было видно, что он полон того особенного, очень сложного настроения, которым поднимается дух человека на чудесную высоту и которое переживается только раз в жизни — перед первым боем. Адъютант подскочил к Раевскому.

— С чем присланы, Олферьев?

— Повеление главнокомандующего, ваше превосходительство. Полагая, что в Могилеве лишь авангард маршала Даву, — не более шести тысяч пехоты, — князь почитает необходимым, чтобы ваше превосходительство собрали весь

¹ Помощь.

седьмой корпус и уже не рекогносцировку предприняли, а прямую атаку Могилева...

Бесхвостый английский жеребец Раевского неожиданно взмычал. Генерал ударил его рукояткой хлыста по лбу и тотчас же погладил по переносью, давая повод. Эти движения были естественно просты и деловиты — Раевский был опытным наездником. Но в Олферьеве они вызвали взрыв почтительного восхищения генералом. «Сейчас он узнал, что будет бой, большой бой... Где же беспокойство? Ни одна черта в лице не дрогнула... Он занят конем, словно ничего не изменилось от того, что я сообщил ему!»

— Хорошо, если князь не ошибается, — сказал Раевский, — и если в Могилеве действительно не больше войск и нет еще самого Даву... Попробую! Вы будете возвращаться через Дашковку, Олферьев?

Голос корнета зазвенел:

— Ваше превосходительство! Князь Петр Иванович не станет гневаться... Дозвольте мне не возвращаться! Дозвольте остаться при вас, ваше превосходительство!

— Что за пустяки? Зачем без нужды подвергаться опасности? Еще успеете, корнет! Итак: отправляйтесь назад через Дашковку. Загляните в двенадцатую дивизию к генералу Колюбакину, в двадцать шестую к генералу Паскевичу, в Ахтырский полк к генералу Васильчикову и в артиллерию. Передайте приказание мое тотчас ко мне следовать. Книжку доложите: все сделаю, что в силах будет. Но расчет его сдвиг ли верст. Во французских дивизиях по двадцати восьми батальонов состоит против наших двенадцати. Во всем моем корпусе двадцать четыре батальона, не сильнее пятисот человек каждый. Если напоремся на Даву, плохо окажется. Впрочем... отправляйтесь!

— Ваше превосходительство!

— Корнет, марш!

Олферьев приложил руку к шляпе, повернул лошадь и востром помчался в обратный путь. Кто знает! Доведись ему скакать не под сотнями человеческих глаз, а одному-единеньку по пустынной дороге, может быть он и расплакался бы сейчас совершенно по-детски...

**
*

В бинокль было видно, как колонны французских войск стройно двигались по улицам Салтановки и кругом деревни — направо, налево, позади. Дождь прекратился. Солнце выплыло из-за туч и залило ярким блеском эту прекрасную картину. Генерал Раевский не отнимал бинокля от глаз.

Около него стояли командиры только что подошедших войск — Васильчиков и еще один, молодой сухощавый генерал с правильными, но мелкими чертами живого лица. Это был начальник 26-й пехотной дивизии генерал-майор Паскевич.

— Спасибо, Иван Федорыч, что поспешили дивизию привести, — сказал ему Раевский.

— Не шли — летели, невзирая, что солдаты в шинелях, с ранцами, ружья на плечах, — хвастливо проговорил Паскевич, — знали, что от быстроты жизнь зависеть будет...

Раевский отвел бинокль от глаз и сбоку посмотрел на Паскевича, как старый умный человек смотрит иной раз на пустого, невдумчивого юношу.

— Полноте! Разве вы еще думать не забыли о жизни?

Васильчиков засмеялся. Паскевич раскрыл было рот, чтобы ответить, но ничего не ответил, только приложил руку к шляпе и вытянулся.

— Итак, — продолжал Раевский, — берите, Иван Федорыч, вашу дивизию, а вы, Ларивон Васильич, ваших гусар и двигайтесь лесом, в обход правого фланга французов — он в версте от дороги. Когда обогнете фланг и выйдете на ровное место, я с двенадцатой дивизией ударю в середину — через мост. Прошу к войскам, господа генералы!

**
*

Сосновый бор, по которому двигался Паскевич, был так част, что только рассыпанная пехота могла сквозь него пробраться, да и то лишь по тропинкам, гуськом, человека по три в ряд. Васильчиков с гусарами давно отстал — для кавалерии лес оказался непроходимым, и ахтырцы вернулись назад. Но оставленный Васильчиковым конвой с обычной казачьей ловкостью все дальше и дальше пропикал в глубину бора. Вероятно, обходное движение было уже на половине, когда перед Паскевичем выросло несколько человек дощцов на взъерошенных конях, с перекинутыми поперек седел телами двух убитых товарищей. Урядник, усы и брови которого были так длинные, что развевались на скаку, доложил:

— Хранцы навстречь велят, ваше превосходительство... без ошибки!

И в подтверждение — о, как был теперь осторожен Кузьма Ворожейкин! — он махнул рукой в ту сторону, где свисали с седел трупы сраженных станичников. Паскевич, нервничая, выщипывал из правого бакена волосок за волоском.

— Много?

— Близ тысячи, а сколь за ними, не можем того знать. Егеря ихни...

Маленькие бесцветные глазки генерала сверкнули. «Ясно: мы их обходим справа, а они нас слева. Ну что ж?»

— Есть, старик, дорога из лесу?

— Полная дорога, ваше превосходительство. Как лесу к опушке поредеть, тут та дорога и вчинается...

«Ясно, — наспех соображал Паскевич: — егерская бригада примет вправо от дороги, два полка второй — влево. Артиллерия пойдет по самой дороге. Это первая боевая линия. Прочих — в резерв. А на случай нужды они же вторая линия».

Кое-как перестраиваясь, — лес уже начинал редеть, но еще не позволял никаких точных движений, — дивизия постепенно подходила к тому месту, откуда открывалась дорога. Однако полки так и не успели разместиться по указаниям генерала. Три ружейных залпа, метких и по близости дистанции совершенно губительных, обрушились на них один за другим. Цепи французских стрелков отчетливо виднелись впереди. Что было за ними? Та ли тысяча, о которой доносил казачий урядник, или много, а может быть, и очень много тысяч? Паскевич нервничал все сильнее, и от этого уже довольно заметно поредел его бакен. Егеря первой линии отвечали французам — лес наполнился грохотом залпов и едким пороховым дымом. С поляны, на которую выскакал генерал, французские стрелки казались соседями. Паскевич обернулся и закричал:

— Эй, Травин, подайте мне сюда два орудия!

Командовавший артиллерийской ротой поручик, — к нему-то и относилось приказание, — имел гордую осанку и вид забияки. Но локти его мундира были протерты, панталоны старательно залатаны на коленях, нитяный темляк на шпаге, шнур и этишкеты¹ на кивере потрепаны и грязноваты. Офицер этот несомненно был очень беден. Но вместе с тем можно было заметить, что мундир его шит не из солдатского, а из хорошего тонкого сукна и сидел на нем складно и ловко. Вероятно, мундир и его хозяин помнили лучшие времена.

Старые шестифунтовые пушки с дельфинами² в виде каких-то птичьих голов, гремя, мчались к бугру, с которого распоряжался Паскевич.

¹ Кистя.

² Накладные украшения на дуле орудия.

— Ставьте на карточный выстрел... Егеря, в прикрытие к орудию! Открывайте огонь! Сейчас я прикажу полкам выходить сюда. Начинайте же!

Орудия грянули, и бугор заволокло сизым дымом.

— Славно! — крикнул Паскевич.

Но того, что открылось перед ним, когда дым рассеялся, он не ожидал увидеть. Одна из пушек лежала на боку. Возле нее валялась гнедая лошадь поручика Травина с развороченным брюхом. Сам поручик, смертельно бледный, с лицом, обрызганным лошадиной кровью, вытаскивал из-под коня зашибленную ногу. Ему помогал такой же бледный канонир.

Паскевич задохнулся от бешенства. На губах его мгновенно вздулись пузыри белой пены. Он так пустил своего жеребца, что тот перескочил через разорвавшуюся пушку и едва не раздавил Травина.

— Нет, не вы, а я глуп, что приказал вам стрелять! Что? Вы не виноваты? Шпагу вашу сюда, поручик! Вы арест-лапы! Я вас стною на палочном пикете¹. Где канонир? Как звать? Угодников... Э-запорю! Адьютант, запишете: сто палок мерзавцу...

Между тем французские стрелки так близко подошли к бугру, на котором стоял разгневанный генерал, что пули их непрерывно свистели кругом и орудийная прислуга падала. По редкой французской цепи можно было бить только картечью. Паскевич пришел в себя. Бешенство так же быстро остыло в нем, как и вскипело. Да виноват ли действительно этот офицер в том, что екатерининская пушка лопнула?

— Травин, — закричал он, — возьмите из батареи еще четыре орудия и ведите их сюда!

Поручик живо отстегнул из-под зарядного ящика пристяжную лошадь, вскочил на нее и умчался к батарее.

— Четыре орудия с правого фланга, за мной!

Громыхая, пушки выскакали на бугор.

— Стой! Картечный огонь!

Выстрелы заахали. Цепь приблизилась. Снова польхал ружейный огонь. А позади уже трещали барабаны, и два пехотных полка первой линии колоннами к атаке, склонив ружья на руку, мерным шагом подвигались вперед, прямо на французов. Паскевич улыбнулся, показывая острые зубы.

— Славно! Поручик Травин, ко мне! Спасибо! Адьютант, возвратите поручику шпагу!

¹ Место, где подвергали солдат телесным наказаниям. Значительная часть офицерства считала дежурство на палочных пикетах позором для себя.



Травин принял шпагу с поклоном.

— Позвольте напомнить, ваше превосходительство, о канонире Угодникове...

— Что? Какой Угодников? О чем вы?

Травин с поклоном вернул свою шпагу адъютанту.

— Коли так, остаюсь под арестом. Но на палочном пикете не буду.

— Не лезьте на рожон, — шепнул ему адъютант, — разумеется, я вычеркну эти сто палок Угодникову. Что за фанаберия?

— Примите шпагу, господин офицер, — гордо проговорил Травин, — я не возьму ее, покамест... генерал окончательно не опамятуется!

**
*

Между тем перекаты ружейной пальбы все еще наполняли лес. Казалось, будто множество дровосеков разбрелись по нему и с приткой ловкостью работали топорами. Однако огонь заметно передвигался к опушке. К этому времени Паскевич уже выводил свои войска из леса к мельнице. Но кругом этого встриного сооружения сверкали штыками такие густые колонны французских полков, что генерал зажмурил глаза. «Как же говорили, что в Могилеве всего шесть тысяч? Да их тут, против меня, не менее!» Всего лишь около пятидесяти сажений отделяли Паскевича от французов. Место, на которое он вышел из леса, было неудобно для свертывания войск в колонну, поэтому он начал строить их в линию и выслал вперед стрелков. Егеря тотчас превосходно работали. Каждый фланкер выскивал кучку или кустик, подползал, приловчался и ни одного выстрела не выпускал даром. Паскевич с гордостью смотрел на своих солдат. «А ружья! Как сбережены! Как несут далеко и верно!» Однако он уже видел, что отбить французов от мельницы ему не под силу. «Сделаю все. А там...» Он схватил за рукав адъютанта.

— Скажите к генералу Раевскому, доложите, что против меня не две, а двадцать тысяч, и требуйте хотя батальона три в сикурс... Живо!

Он обернул коня.

— Травин!

— Что прикажете, ваше превосходительство?

— Э-э... Почему вы без шпаги?

— Канонир Угодников, ваше превосходительство...

Паскевич в ярости сорвал с руки перчатку и швырнул ее наземь.

— Чорт вас возьми, поручик, и с канониром вашим... Ну-ка, прикажите ему навести на ту кучку, что верхом у левой поставы... Там генерал... Не Компан ли? Живо!

Травин кинулся к орудью. Высокий солдат в шевронах и с огромными бакенами — это был Угодников — засуетился. Через минуту ядро с рёвом понеслось к мельнице. Кучка всадников прыснула в стороны. Трое лежали на земле, и ядро кружилось между ними.

— Славно, — крикнул Паскевич, — славно! Сбить теперь еще вон тех — и крест егорьевский канониру Угодникову. Поручик Травин! В карман меланхолию! Жарь картузами! Господа полковые командиры, к атаке!..

ГЛАВА XI

Равский не верил своим глуховатым ушам.

— Сколько? — переспросил он.

— Шестьдесят тысяч, — ответил пленный французский майор.

— Как? Разве не авангард лишь генерала Бордесуля?

— Шестьдесят тысяч, генерал. Весь корпус маршала Даву.

— Отправить господина майора в главную квартиру, — приказал Николай Николаевич, — и передать главнокомандующему от меня вот эту записку...

Он набросал на клочке бумаги несколько слов. С этой минуты он понял, что Могилева не возьмет, так как десять тысяч человек ничего не смогут сделать с шестьюдесятью тысячами. Получив его записку и опросив пленного майора, в том же должен будет убедиться и Багратион. Но бой полыхал, и сдержать его размах было не легче, чем добиться успеха. Строго говоря, французская позиция на горе у Салтановки была неприступна. Окружавший деревню лес не позволял подступить к ней иначе, как по большой дороге. Вдоль этой дороги была устроена сильная французская батарея. Перед самой деревней — овраг с мостом и плотиной. Оба перехода были сломаны и завалены кольём. Уже несколько раз полки 12-й дивизии ходили в атаку через овражные топи. И... возвращались назад. Несмотря на то что картечный и ружейный огонь косил солдат, они не помышляли об отступлении. Однако и порыв к атаке уже иссяк в них. Они твердо стояли на месте. Подбитые пушки немедленно заменялись новыми, раненые и убитые люди — здоровыми. Ядра рвали землю, обдавая грязью целые шеренги, и, снова взлетев, неслись через головы. Каких только

скачков и прыжков они ни выделявали тут! Кони щетинились, храпели и пюхали воздух. Казалось, будто они спрашивали друг друга: «А не знаешь ли, земляк, что за дьявольщина здесь затевается?» Зато всадники сидели избочась и в ус не дули. У кого повалило коня, тот спокойно снимал седло, саквы и отходил назад. За коня казна платила, за седло нет.

Генералы Раевский и Васильчиков уже часа два стояли под огнем, на берегу оврага, против плотины.

— Орудийные выстрелы слева... Вы слышите, Николай Николаич?

Раевский приложил пригоршню к левому уху.

— Да... Это Паскевич выходит на простор и развертывается. Теперь нам опять надо поднимать своих.

— Едва ли пойдут, — со вздохом отозвался Васильчиков.

— Что?

Ядро взбило у ног Раевского землю. Он равнодушно поглядел на него, как на совершенно посторонний предмет, и продолжал говорить:

— Обратите внимание на французских стрелков. Какая ловкость! Перестреливаясь, они в постоянном движении. Они ни на минуту не подставляют себя как цель. Впрочем, для наших это не годится. Так вы говорите, что не пойдут?

Он оглянулся, отыскивая кого-то глазами. Кого? Позади толпились адъютанты и среди них оба сына генерала. Александр упрямивал подпрапорщика Смоленского пехотного полка, огромного верзилу с детским лицом, который высоко поднимал над головой старое белое знамя своего полка:

— Слушайте, вы ранены... Вам трудно... Дайте мне знамя, я понесу его!

— Оставьте меня, — грубо отвечал подпрапорщик, — я сам умею умирать!

И он тут же подтвердил свое гордое слово — ахнул и опрокинулся навзничь. Пуля ударила его в переносье. Александр Раевский подхватил знамя и поднял его так же высоко, как держал убитый.

— Знаешь имя подпрапорщика? — спросил он ближайшего солдата-смоленца.

— Зимицкий, ваше благородие! Хорош был, царство ему небесное! Молоденек еще, а весь в отца. Я с батькой ихним под Дербент хаживал...

Но солдат не досказал своей повести — брякнулся на землю.

— Дети, — крикнул Николай Николаевич, — ко мне!

Александр передал кому-то знамя и бросился на зов. Рядом с ним бежал младший брат его Николай, бледный и решительный. Барабаны били поход. Офицеры ровняли ряды. Васильчиков вскочил на коня и отъехал к своим гусарам. Странное спокойствие охватило войска перед атакой. Николай Николаевич знал, что это такое. Иногда это имеет значение грозной тишины, воцаряющейся обычно в природе перед порывом сокрушительной бури, иногда, наоборот, это начало того тяжкого оцепенения, из которого уже не может вырваться упавший человеческий дух. Что оно означало сейчас? Николай Николаевич махнул платком. Команды полковых командиров повторились в батальонах, перекинулись в роты:

— Справа... к атаке... марш!

Но войска стояли неподвижно. Ага! Неужели Васильчиков прав? Раевский взял сыновей за руки и пошел с ними к плотине.

— Штаб, за мной!

Он уже отошел от первой линии настолько, что со всех пунктов расположения русских войск была отчетливо видна эта картина бестрепетного мужества. Он шагал к плотине и, изредка обертываясь, повторял:

— Ребята! Вот я, ваш генерал, и сыновья мои со мной! Вперед же! Вперед!

Волна восторга и ужаса прокатилась по полкам. Все, что стояло вдоль оврага, вплоть до самого леса, вздрогнуло и рванулось за Раевскими. А они уже были на плотине, между трупами, колесами разбитых пушек и остатками полуразбросанного завала. Они были впереди, и потому войска не стреляли. Тысячи людей бежали с прижатыми штыками. Адский огонь встретил эту необыкновенную атаку. Все валялось и все несло вперед...

Но лобовая атака и на этот раз была отбита. Войска отошли с плотины, облепленной кровавой кашей тел. Лишь по сторонам еще кипели схватки.

— Справа по три марш! —скомандовал своим гусарам Васильчиков, и они помчались за ним.

Скакать через густой кустарник было невозможно. Между пнем и лесом тянулась широкая просека, покрытая недокорчеванными пнями. Гусары шли по этой просеке развернутым строем. Огненный дождь поливал их. Ядра крутились под ногами генеральского коня. Васильчиков несся галопом, не обнажая сабли, и, оглядываясь, кричал:

— Легче! Легче! Равняйтесь, гусары!

Это было прекраснее любого петербургского парада. Но через четверть часа ахтырцы той же просекой скакали назад...

Белое знамя Смоленского полка плясало, прыгая из рук в руки. Унтер-офицер Сватиков, старый и больной солдат, начавший службу при Потемкине, не спускал со знамени глаз. От быстрого бега в груди Сватикова занимался дух. В боку резало и кололо, словно острым щепнем был наполнен бок; ноги и руки тряслись от непосильного напряжения; в голове рвались какие-то фугасы. Однако он следил за знаменем. Вот оно рухнуло вниз, жалостно затрепетав полотнищем. Толпа французских солдат навалилась на него, а на нее — толпа русских. Рыжий ефрейтор, сияя конопатым, как подсолнух, лицом, вынес его из свалки. Еще минута — и линейный французский солдат уже бегом уволокивает его к своим. За ним гонятся смоленцы, и среди них Сватиков. И снова вокруг знамени яростная драка. Черное древко сломано. Что-то выталкивает Сватикова из людской гущи. Задыхаясь, он хватает полотнище. Страшный удар в челюсть валит его с ног. Кровь заливает рот и глотку. Солono, горячо... Он выплевывает красную жижу, в ней сверкает белое. Зубы? Сватиков обертывает знаменем голову и бежит в лес...

Было около четырех часов дня. К Раевскому прискакал адъютант Паскевича и доложил, что 26-я дивизия отступает, неся неприятеля на штыках.

— Скажите генералу, — приказал адъютанту Раевский, — что мои атаки тоже отбиты. И сам я жду повеления об отходе. Скажите: Могилев потерян, но завоеван день...

Адъютант не понял и, боясь ослышаться, растерянно заморгал глазами.

— Да, — подтвердил Раевский, — целый день завоеван. Так и скажите...

Багратион сидел со штабом на дороге под березами, когда, отведя 7-й корпус в Дашковку, вернулся из-под Салтановки Раевский. Главнокомандующий и Николай Николаевич обнялись. Толпа генералов и офицеров окружила их тесным кольцом.

— Первое линейное дело кампании года тысяча восьмисот двенадцатого, — говорил Багратион. — В лоб ведь бились, душа Николай Николаич! И показали себя французам. Уж как чесались у меня руки! Но сдержался... Слава герою!

— В день нынешний, — сказал Раевский, — все были герои!

Однако можно было заметить, что он грустен и, повидимому, огорчен неудачей. Багратион взял его за руку.

— Мы ошиблись... В Могилеве сам Даву. Того мало — в сикуре к нему идет маршал Мортье. Силы превосходные. Пропал Могилев... Но я не уныл. Отнюдь!

Он отвел Раевского в сторону.

— Не скрою, душа, и по честности скажу, что пыл мой к генеральному сражению ныне спал. Против рожна нельзя прати. Армия — вещь святая и риску подлежать не может...

Раевский слушал с удивлением. Куда же девалось то, в чем обвиняли Багратиона недоброжелатели, — его безрассудная и самопадеющая напористость?

— Не узнаешь старика? Дурно знаешь. Век живи — век учишься. И Суворов в Италии учился. А наука горька... Дело под Салтановкой на сто лет прогрелось. Им наша армия спасена. Надо еще схитрить малость, чтобы лысый чорт Даву из дураков не вылез. И хитрость такую измыслил я. Ты герой. Хочу твою апробацию иметь. Сужу я теперь так...

Он подпер подбородок рукой и, подумав, продолжал с той чеканной вразумительностью, которая так часто поражала Раевского:

— Пробриться у Могилева нам не под силу. Дошло до меня, что министр уже под Витебском. Чтобы соединиться, идти нам надобно через Пропойск, Чериков и Кричево. Как пройти? Ежели весь завтрашний день господин Даву просидит в Могилеве, пройдем. В ночь, мимо, на Мстиславль и Смоленску... Как заставить Даву сидеть в Могилеве? Просто. Надобно, чтобы ждал он генерального нападения наших сил. Еле уцелев нынче, снова на позицию не выползет...

Багратион повертел рукой сперва в воздухе, потом у своей головы.

— Вольшие люди и ошибки большие делают. Маршал сейчас так соображает: дрался с авангардом Багратионовым, завтра сам Багратион в атаку кинется. Ага! Выслал разведку, нет ли чего. Есть! Корпус твой как в Дашковке стоял, так там и остался. А попозже граф Воронцов Михаила с гренадерской дивизией к тебе подошел. Разведка доносит: идут, собираются... Мало? Багратион с армией выступает, становится на почлег биваком у Салтановки. Передовые посты до Могилева выдвигаются, Разведка опять доносит... Держись, Давушка! Он и будет держаться... Ха-ха-ха!

Раевский улыбнулся.

— Может и удача быть... Детей так обманывают...

— Не детей лишь! Сложные машины, душа, всегда вид простоты имеют. Да что там? Я еще атамана с двенадцатью архангельскими его полками в Могилеву отправлю. Пускай мечется под самыми окопами. Фу, какая пбднимется в городе суматошка! И покамест атаман, ночью Днепр перейдя, с противной стороны фальшивую атаку на Могилев будет делать, мы мимо проследуем. Ведь мосты-то у Нового Быхова уже наведены, путь-то открыт..

Досада и грусть давно соскочили с Раевского, скатились, как камни, и ушли в землю, на которой он стоял. Действительно, задуманный Багратионом маневр был так искусно слажен во всех частностях, что обещал несомненный успех.

— Очень хорошо, князь, — сказал Николай Николаевич, — недаром завоевал я нынче день. И недаром учились вы в Италии у Суворова. Всего же главное, что и теперь учитесь. Очень хорошо. Давеча из Салтановки прислал я к вам пленного майора французского. Втеснить ему в голову надобно, что мы завтра Могилев брать будем, и с секретом таким отпустить восвояси. От него может Даву в заблуждении своем окончательно утвердиться...

Багратион не дослушал.

— Эй, — кричал он, — эй, Алеша! Подай нам сюда калитку французскую, что нынче Паскевичу в плен сдалась...

**

. Весь день 13 июля армия Багратиона простояла на месте. Русский главнокомандующий рассчитывал этой странностью своих действий окончательно запутать и сбить противника с толку. Так и случилось. Казаки Платова с утра до вечера гарцовали перед городом, а Даву скакал по укреплениям, с минуты на минуту ожидая штурма. День прошел для обеих сторон в этих полумирных занятиях.

Однако в русской армии все было готово к выступлению. Солдаты не лежали и даже не сидели в тесных кружках, как обыкновенно бывает на биваках. Они стояли вольно, с ружьями у ног, с носогрейками в зубах, с ранцами и сухарными сумками за плечами. Лица их были не веселы, но и не печальны — такие сосредоточенные и тихие лица всегда бывают у русских людей, когда они собираются в путь. Сумерки перешли в глухую темную ночь.

— Наутро, как мухи проснутся, то-то, братцы, сдвуются, что уж нет нас в лагере! — слышалось кое-где сдержанно шутивное слово.

— То-то вопить станут: что же теперича делать, кого кусать-то?

Перед рассветом грянул сигнал:

— Вставай!

Жуя сухари вечерней раздачи, пехота строилась не спеша. Зато кавалеристы опрометью бежали к лошадям, поправляли седла, подтягивали подпруги, застегивали мундштуки, снимали торбы, привешивали по местам, сзади седел, санные вьюки.

— Эх, конь-то выступчатый; больно хорош! — раздавались то там, то здесь обычные солдатские восклицания.

Армия двинулась в поход. Так как она стояла на чистых и твердых выгонах, а погода вчера была сухая, от места стоянки не осталось никаких следов. Утром войска переправилась у Нового Быхова через Днепр и вышли на Мстиславльскую дорогу, которая вела прямо к Смоленску. Солнце медленно поднималось кверху в розовом тумане и вдруг ослепительно засияло, опрокинув на землю сразу весь свой запас света и тепла. Уже наступало время жатвы, но на полях было мало народу. Крестьяне толпами встречали войска у деревенских околиц. Бабы с младенцами на руках сердобольно глядели, как шли мимо них покрытые пылью и потом солдаты. Помещики тянулись за армией в дормежах, колясках и брзчках. Белоруссия оставалась позади, и по всему было видно, что близка уже смоленская земля.

Багратион ехал со свитой по обочине дороги, заставляя коня прыгать через рытвины и кусты. Лицо у него было спокойное, но задумчивое. Вдруг он окликнул Олферьева. Корнет подскакал. Петр Иванович взял его руку, вытянутую у виска, и опустил вниз.

— В голову мне, душа, пришло... Бедь и Наполеон ошибается, да тут же ошибку исправляет. А Даву в эти дни так обманулся, что ошибки своей ему теперь вовек не поправить.

ГЛАВА XII

Предместье, в котором остановился на квартире главнокомандующий Второй армией, утопало в душистой зелени муравчатых левад и роц из развесистых ветел. Надевая к выезду из дома свой любимый мундир гвардейского Егерского полка, Багратион смотрел в окно и наслаждался. Толстые стены годуиовских укреплений древнего русского города, ажурные колокольни соборов, белые домики, рассыпанные между загородами фруктовых садов, — все это сверкало под жаркими лучами солнца, играло в блеске ясного летнего утра. Князь Петр Иванович на миг зажмурил глаза, прислушиваясь к тому, что делалось в сердце. Чуждый город

Смоленск! Вот Россия, за которую сладко жизнь отдать, кровь источить по капле, хоть сейчас сложить голову на последний покой! Нет, уж отсюда Багратион не уйдет без боя! Настал великий день. Все решилось. Наполеон обойден. Хитрый план его рухнул. Обе русские армии под Смоленском. Где же, как не здесь, на старинном пороге родины, встретить огнем и мечом французских разбойников?

Багратион торопливо затянул на себе шарф и надел шляпу. Он был уже совсем готов ехать. И вдруг перестал спешить. Лицо его омрачилось. Он медленно сложил руки на груди и несколько минут стоял неподвижно.

— Ваше сиятельство, — осторожно проговорил наконец Олферьев, — кабы не опоздать нам?

Губернаторский дом имел всего один этаж, но был довольно обширен. Боковые флигели его выступали вперед, прикрывая с двух сторон площадку перед подъездом. На эту площадку выскочила из ближайшей улицы коляска Багратиона. За ней неслась пестрая кавальгада свиты — несколько генералов, множество штабных офицеров, адъютанты и конвой. Дробно звенели конские копыта, развевались белые и черные султаны, затайливо вились по ветру серебряные шнуры аксельбантов. Зачем такая пышность? Нельзя сказать, чтобы князь Петр Иванович хотел ее, но он и не противился ей. Она была ему сегодня нужна.

Происходила необыкновенная вещь. Старший в русской армии генерал, на груди которого шелестела лазурная лента святого Андрея¹, первый являлся с визитом к младшему себя. Действительно, Барклай-де-Толли был по службе младше не только Багратиона, но и Платова и еще двенадцати генерал-лейтенантов, состоявших у него теперь под командой. Но Багратион ехал первым. Как поймет это армия? Правда, Барклай был военным министром и в этом качестве мог приказывать Багратиону. Но ведь никуда же не денешь и того, что пять лет назад он, рядовым генерал-майором, вытягивался перед князем Петром Ивановичем и почтительно принимал его повеления. Следовало ли князю Петру считать обязательными для себя теперешние приказы прежнего своего подчиненного? Положение обоих главнокомандующих было запутанное и фальшивое. Если

¹ Орден Андрея Первозванного был высшим в Русской империи орденом.

Барклай не понимал этого, пышность Баграташова визита должна была ему разъяснить и напомнить кое-что. Князь Истр выскочил из коляски, взбежал на подъезд и сделал быстрое движение рукой, приглашавшее главных лиц свиты не отставать.

Между тем из дверей зала уже выходил на внутреннюю лестницу высокий, худой, плешивый генерал со строгой и умной физиономией и немигавшими серыми глазами. Он был в мундире, ленте, орденах, держал в руках шляпу и слегка прихрамывал, от чего плюмаж на шляпе колыхался. Хитрый адъютант, заранее предусмотревший все подробности встречи, только что всунул этот торжественный головной убор в руки министра. Он же придержал министра за фалду мундира, когда заметил его намерение спуститься вниз по лестнице. Все это было крайне неприятно Барклаю. Неодовольствие и принужденность его движений бросались в глаза. Но возникали они не от отсутствия достоинства, — под скромной и невзрачной внешностью явственно чулось в Барклае нечто очень твердое и как бы сродное привычке повелевать, — а от того, что правая рука и нога его были перебиты в сражениях. После Прейсиш-Эйлау ему трудно было и на лошадь садиться без посторонней помощи.

— Любезный мой князь, — сказал он с тем жестким выговором русских слов, который легко обличал в нем нерусское происхождение, — а я уже совсем, как видите изволите, визитировать вас собрался...

Главнокомандующие поздоровались. Багратион зорко глянул в немигающие глаза Барклая, но не прочитал в них ровню ничего. Да и все длинное, бледное, покрытое морщинами лицо министра было непроницаемо. Он передал кому-то из ординарцев ставшую с этой минуты ненужной шляпу и вложил раненую руку в перевязь из черной тафты. Комедия? Может быть. Но игра была учтивая. Багратиону оставалось довольствоваться этим, и он постарался сделать вид, будто действительно доволен.



Что-то, — но только не недостаток твердости, — мешало Барклаю с первых же слов объявить, что для общего начальствования над обеими армиями избран императором именно он. Что-то мешало также и Багратиону спокойно выждать, пока решение императора сделается формально известным. Его самодлюбие жестоко возмущалось этой недосказанностью. Но то, что скрывалось за ней, было еще

лучше. Больше и горько подчиняться человеку, которого по совести не можешь ставить выше себя. Князь Петр Иванович смотрел на лысый череп Барклая, на его бесцветные волосы, аккуратно зачесанные от висков на маковку, и ему казалось, что даже в этой некрасивой серости министерской головы заключен оскорбительный намек на его, Багратиона, унижение. «И такой квакер¹ будет мною командовать!» с тяжелым отращением думал он.

Правда, было во всем этом и нечто утешительное для князя Петра. Туча грозной ответственности, висевшая над ним с самого начала войны, наконец рассеивалась. При новом положении вещей он освобождался от мучительнейших опасений, которые должны были теперь с двойной силой угнетать Барклая. Возникла возможность решительно требовать того, что Багратион признавал пользой и необходимою: генерального сражения за Смоленск. Поэтому-то желанное наступление на французов он и начал прямо с атаки Барклая.

— Я не в претензии на вас, Михайло Богданч, — говорил он, — вы министр, я ваш субалтерн². Но retirовать³ далее трудно и пагубно. Люди духу лишаются. Субординация приходит в расстройку. Что за прекрасная была у нас армия! И вот — все истощилось. Девятнадцать дней по пескам, по жаре, на форсированных маршах. Лошади пристали. Кругом враг. Куда идем? Зачем? Согласен: до сей поры весьма были мудры ваши маневры. Очень! Но пришел день вождеденный, мы соединились, вкупе стоим, и Смоленск за нами. Ныне другой маневр надобен, не столь, быть может, и мудрый... попроще...

— Какой же? — тихо спросил Барклая.

— Искать противника и бить его, не допуская к Смоленску! Я не в претензии... повелевайте! Однакоже изнувать без конца армию позволить не могу. Поручите еще кому, а меня увольте! Уж лучше я зипун надену... в сюртуке пойду и — баста! Таков сказ мой по чести и истине!

Барклая внимательно слушал эту горячую речь. Но лицо его продолжало оставаться неподвижным. И от непроницаемости своей казалось почти мертвым. В душе он относился к Багратиону несочувственно, как и ко всем людям, которых считал по степени образования ниже себя, а по способностям выше. Он мало доверял своей собствен-

¹ Квакеры — религиозная секта в Америке. Сухой формализм, воздержанность и скромность нравственного поведения — отличительные качества квакеров.

² Подчиненный.

ной талантивости и, с болезненной скрытностью пряча от окружающих это недоверие, признавал таланты конкурентов неохотно и с трудом. Скромный и сдержанный, он никому не прощал откровенной самонадеянности. Естественно, что порывистая и шумливая натура Багратиона была ему всегда несколько неприятна. Внешне это проявлялось в форме вежливой отчужденности. Пальцы здоровой руки Барклая отчетливо отбивали марш по зеленому сукну стола, за которым он сидел лицом к лицу со своим гостем. Голова была опущена.

— Я вас спас, Михайло Богданыч, — с назойливой резкостью звучал в его ушах голос Багратиона, — тем спас, что пробивался к вам, когда вы от меня уходили. И впредь, коли понадобится, спасать буду. Но с тем, однако, чтобы и вы не бездействовали. Иного хода в делах не понимаю и понимать не хочу. Видно, не учен и, а может, и глуп перед вами. На войска же русские жаль мне смотреть... У себя дома, в России, хуже пруссаков и австрийцев стали... Оттого и говорю...

В крайнем раздражении он повторил угрозу:

... Уж лучше зипун надеть и — баста!..

Барклая пожал плечами. По свойствам своего ума он умел при всяком стечении и повороте обстоятельств угадывать результат дела просто, без особого напряжения мысли, но верно и точно. Он никогда не воспламенялся во время споров, не развивал доказательств, а говорил только: «Из этого вышло то-то, а из этого должно получиться то-то». И не любил лишних слов. Но разговор с Багратионом требовал именно доказательств и ненужных слов. Что делать?

— Не постигну, любезный князь, в чем, собственно, обвинять меня изволите, — медленно заговорил он. — Маневры мои были не мудрей и не ученей ваших и столь же прямой необходимостью вызваны. Признать готов, что операция ваша у Могилева, когда тринадцатого июля мимо обманутого маршала Даву проследовали вы с армией и перешли через Днепр, а он лишь четырнадцатого о том узнал и шестнадцатого только на Оршу двинулся, с вашего военного такту был прием. И что без дальнейших препятствий достигли вы семнадцатого Мстиславля, также к полководческому знанию вашему, полностью относится. Но будьте справедливы; любезный князь, войдите и в мое положение. Еще двенадцатого Бонапарт наступал от Бешенковичей на Витебск, полагая, что я путь к вам хочу проложить через Оршу. И впрямь собирался и тогда идти на Оршу, чтобы хоть с этой стороны

сблизиться с вами и закрыть перед Бонапартом Смоленск. О намерении своем я и вам сообщал...

Он незаметно взглянул на Багратиона. Глаза князя Петра пылали, рот его был раскрыт для самых решительных возражений. Поэтому Барклай, не останавливаясь, продолжал говорить:

— Не забудьте и того, что тринадцатого Бонапарт знал уже об отступлении генерала Раевского из-под Салтановки. Оттого действия его против меня с правого фланга совершенно были развязаны. Тогда дал я авангарду его бой. Тринадцатого и четырнадцатого войска мои дрались с Мюратом у Островны и задержали наступление его на сутки. Однако бой этот показал мне ясно, что двигаться Первой армии надо со всей поспешностью не на Оршу, а на Смоленск, то есть тлубже и дальше...

Багратион извительно засмеялся:

— Зачем же, коли так, звали вы меня, ваше высокопревосходительство, для соединения в Оршу? Разве такие фокусы-покусы почтятся возможными могут?

— Это не фокус-покус, ваше сиятельство, — все медленнее процеживая слова, тихо сказал Барклай, — отшодит. Чтобы отвлечь от вас Даву, я готов был бой и у Витебска принять. Моя ли вина, что позиции тамонние до крайности негодны? Кроме того, пятнадцатого получилось от вас известие о... неудаче генерала Раевского под Могилевом. Прямо скажу: понял я это, как если бы кто освободил меня от необходимости драться у Витебска на дурной позиции. Уж не надобно драться мне было, ибо шли вы благополучно к Смоленску. Потому, обсудив на военном совете, я и двинулся тремя колоннами через Поречье и Рудню на Смоленск. Подобно как вы Даву обманули, так я Бонапарта. После боя у Островны он никак сомневаться не мог, что под Витебском генеральное сражение предстоит, и уже к шестнадцатому войска стягивать стал. Но я исчез с внезапностью. Что было делать Бонапарту? Он корпуса свои для отдыха остановил — принца Евгения в Сураже и Велиже, Чапеев в Поречье, Нея в Лиозие, Мюрата в Рудне, Груши в Бабиновичах и Даву в Дубровне. Но ведь, князь мой любезнейший, все это не для моей лишь, а и для общей нашей пользы совершилось, не так ли?

Багратион быстро провел рукой по высокому гребню крутых своих кудрей. Действительно, многое из того, что казалось ему до сих пор необъяснимым и удручающе страшным в маневрах Первой армии, вдруг приобрело теперь простой и ясный смысл. Многое... но не все!

— Позвольте, Михайло Богданым! А почему же не поехали вы на соединение со мной в Горки? И вам и мне семнадцатого было бы то и ближе и удобнее прочего. Почему прямо на Смоленск двинулись, хотя можно было бы, в Горках совокуясь, общей силой загородить французам путь на Смоленск?

Новое подозрение родилось, и живая тень гнева опять забежала на бледное лицо князя Петра.

— А может быть, в план вашего высокопревосходительства защита Смоленска и вовсе не входит? Вопрос этот основным и главнейшим из всех почитаю я...

Он спрашивал с такой жадной стремительностью и так настойчиво, что Барклай понял: сказать ему сейчас прямо все, что он думал о защите Смоленска, немыслимо.

Вопрос столь важен, — холодно проговорил он, — что решить его способно одно лишь чистое благоразумие, без страсти и волнения. Потому...

Нет! громко крикнул Багратион, нет! На сей раз оставим благоразумие в удел робким душам. Будем чувствовать по-русски! Прямо спросил вас, прямо и ответствуйте!

**

Главнокомандующие совещались долго. Из кабинета, где они заперлись, громкий голос Багратиона то и дело вырывался в соседний зал, и тогда собравшиеся в нем генералы обеих армий радостно переглядывались. Наконец-то! Старая слава князя Петра Ивановича зажигала в их сердцах новые надежды на успех. Его пылкая настойчивость привлекала все симпатии. Голоса Барклая не было слышно. Да никто и не ожидал его услышать — всем было известно, как малообщителен и нескрасноречив министр. Почти всякий из тех, кто находился сейчас в зале, был недоволен Барклаем. И прежде недовольство это лежало на дне душ, а теперь всколыхнулось. Даже имя главнокомандующего избегали называть по неприязни к тому, кто носил его. Толковали о неудачах, а подразумевался Барклай.

— Говорят... Говорят, будто немцы и голландцы взбунтовались, что англичане и испанцы где-то высадили десант... Говорят, что сам Бонапарт поскакал во Францию... Мало ли что говорят! Но я ничему не верю, — сказал генерал Раевский начальнику артиллерии Первой армии молодому графу Кутайсову, — того не осталось во мне, чем верят люди...

Черные глаза графа блеснули чистым огнем. Красивая голова его живо повернулась к собеседнику.

— Вы правы, ваше превосходительство! Удел наш поистине жалок становится. У нас, в Первой армии, лишь один человек осведомленным о действительном ходе событий счестся может..

— Ермолов?

— Да: Но не по званию начальника главного штаба, а потому, что с государем в переимке, и по тонкой проницательности ума своего.

— Любую хитрейшую бестию кругом пальца обведет, — улыбнулся Раевский. — Молодец ваш Алексей Петрович! Да вот и сам он!

Из боковых дверей в зал быстро вышел широкоплечий генерал, могучего, почти геркулесовского телосложения и поклонился. Глубокий взгляд его серых глаз мгновенно обжег присутствующих. Волосы, дыбом стоявшие на голове, еще придавали росту его величавой фигуре. Он вступил в зал и как будто наполнил его без остатка своими размерами и своей силой. Вместо шпаны Ермолов держал подмышкой кивер, что казалось странным при генеральских эполе-тах, а в руках сложенной пополам лист синей бумаги.

— Поздравляю, господа, с новостью наиважнейшей!

Каждый из генералов в одно и то же время почувал на себе его умный и приветливо-острый взгляд. Все разом двинулись к Ермолову и окружили его. Простое и непритязательное благородство удивительным образом сочеталось в этом человеке с заискивающей манерой обращения, мужественный тон речи — с приятно-вкрадчивым голосом. Даже самые старые генералы относились к нему, самому молодому, дружески и с уважением, а товарищи по чину и младшие любили без памяти. Ермолов уже обнялся с графом Сен-При. Крепко прижал к груди твердую ладонь атамана Платова. И облобызался с Николаем Николаевичем Раевским.

— Господин главнокомандующий только что подписал приказ по армии...

— Приказ? Какой? Не томите, Алексей Петрович!

— Извольте, господа. — сказал Ермолов и развернул лист синей бумаги: — «Приказ по Первой Западной армии 21 июля 1812-го года, № 68. Солдаты! Я с признательностью вижу единодушное желание ваше ударить на врага нашего. Я сам с истерическим стремлюсь к тому...»

— Bravo, — крикнул граф Кутайсов, — ура! Конец ретираде! На степях смоленских кровью смоем ее позор!..

Его возглас потонул в буре восторженных восклицаний.

Под напором радостного гула дрогнул старый зал губерна-горского дома. Генералы поздравляли друг друга, как с праздником, целовались, как на Пасхе. И всем было понятно: не будь сейчас Багратиона за дверьми Барклаева кабинета, не было бы и этого решительного долгожданного при-каза.

— Все прощаю Михайле Богданычу, — с сияющими гла-вами и лицом повторял Кутайсов, — все! А Багратиону — слава!

— Слава! — раздалось в углу.

— Слава! Слава! — пронеслось по залу.

К Кутайсову подошел полковник среднего роста, полный, румяный, как хорошо пропеченная булка. Все существо его дышало здоровьем и энергией. Несколько секунд он с молчаливым любопытством наблюдал радость молодого генера-ла. Падменно-раскованно у него перебегала из края в край по его ныншним розовым губам. Можно было подумать, что он удивляется детскому простодушию графа, но снисходи-тельности сожалеет его, а от избытка гордости не может скрыть сожаления. Полковник держал себя странно, вовсе не так, как полагалось бы по носимому им скромному чину. Это был Толь, генерал-квартирмейстер Первой армии, люби-мец Барклая и главная пружина его предначертаний.

— А не кажется ли вашему сиятельству, — все еще про-должая улыбаться, наконец спросил он, — что, судя по при-казу нынешнему, главнокомандующий твердо решил город Смоленск без боя оставить?

И Толь с удовольствием заглянул Кутайсову прямо в рот безмолвно раскрывшийся от изумления.

Ермолов стоял возле Раевского. Как и всегда в минуты задумчивости, нахмуренное лицо его было прекрасно. Но вот усмешка скользнула по глазам и неприятно исказила его физиономию выражением искусственной веселости. Он на-клонился к Раевскому и прошептал:

— А ведь, пожалуй пропал Смоленск, Николай Нико-лаич. Коли взялся квакер на бумаге угождать князю Петру Иванычу, значит на деле пропал Смоленск!

Двери кабинета распахнулись, и оба главнокомандующие вышли в зал. У Барклая был спокойный, деловито-буднич-ный вид, у Багратиона — довольный, даже радостный. Князь Петр на виду у всех пожимал руку Михаила Богдановича.

— А теперь, любезный князь, — сказал Барклая, — про-шу пожаловать со мной вместе в лагерь Первой армии...

С раннего утра 22 июля солнце ярко пылало на безоблачном небе и смоленские улицы кипели многолюдьем. В окнах и на балконах пестрели нарядные костюмы горожан, поэтому дома походили на огромные горшки с цветами. Два живых потока с разных сторон вливались в город, наполняя его музыкой, грохотом барабанов и свистом флейт. По случаю царского дня¹ войска шли в отчищенной до блеска парадной амуниции. Главкомандующие с пышными свитами ехали навстречу друг другу на красивых стройных конях. Но под холодной рукой сумрачного, бледного и спокойного Барклая конь медленно и строго перебирал тонкими ногами, а под Багратионом играл и плясал, выделявая фокусные манежные вольты. Жители Смоленска жадно смотрели на главнокомандующих, на маршировавшие за ними войска и дивились.

Полки Первой армии не могли скрыть утомления долгой ретирадой. В их печальных рядах даже генералы имели какой-то жалкий и растерянный вид. Ясно: Барклай не умел переломить этот дух упадка, вдохнуть в усталые сердца бодрость и надежду на успех. Совсем не так выглядели войска Багратиона. Здесь на всех лицах была написана гордость дальним и трудным походом. «Мы сделали много. Сможем и еще больше сделать!» Казалось, что Вторая армия не отступала от Немана до Днепра, а непрерывно шла вперед, тесня и сбивая бежавшего прочь из России врага. Жители Смоленска дивились.

Войска выстроились вдоль главных улиц. Мундиры сверкали, как весенний цвет на деревьях. Пушки жарко горели. Барабаны забили «поход». Знамена зашелестели тяжелыми складками старого шелка. Грянула музыка, и оглушительное «ура» взлетело над городом. Статный ездок в генеральском мундире неся плавным галопом на гнедой английской лошади. Чепрак под его седлом был залит золотом. Множество алмазных звезд и крестов сияли на широкой груди. Высокий белый султан волновался над шляпой, с поля² прикрывавшей черные кудри.

— Здравствуйте, други! Вижу, самого чорта с позиции свихнуть безделка для вас!

¹ Это был день именин императрицы Марии Федоровны, матери Александра I.

² Надетой не вдоль, а поперек головы.

— Ради стараться, отец наш! — громом катилось по рад-дам.

— Эка красота господня! Да рази совладает с нами Бонапартий? Николи!

Эти слова произнес крестьянин из деревни Росасны, стоявший в толпе народа о бок с толстой купчихой, похожей на большой мучной лабаз. Одет был этот крестьянин в серое полукафтанье и белые порты. Его сосед и земляк, постарше, в армяке дикого сукна¹ и черных казмировых штанах, горячо поддакнул:

— Где там! Что уж!

И для большей убедительности звонко прицокнул языком.

Может, числом-то Бонапартий и поупрямей наших обидывает, а только хоробростью верно сдает, — сказал третий росаснинский крестьянин, в ямской поярковой шляпе с ленточкой кнопочкой помыль — душа влиязет. Когда летось кум-ат, Святиков, Агей Захарыч, домой на побывку приходил, — русский воин тем ничего забьет, что больше в сражении своему призрастен. И жизнь ему самая в помышлу, когда Гасен от того пользуется». А кум-ат близ двадцати годов солдатствует, зря не сбременет.

И трое односельцев из Росасны, — они вчера приехали в город по подводным делам да и застряли, здесь, — согласно покачивали головами.

— Смир-рно! Под, знамя! На кр-раул!

Команда эта разнеслась по войскам, повторенная десятками, а может быть, и сотни раз во всех концах строя. Стальной блеск штыков взыметнулся кверху и застыл в воздухе, как молния, внезапно остановленная на полете. Разноцветные полотнища знамен там и сям заколыхались над штыками. Росаснинцы стояли вдалеке от того места, где белое знамя Смоленского пехотного полка — того самого, который так славно бился с французами две недели назад у Салтановской плотины — тихо плескалось на высоком древке. Его крепко держал старый, болезненного вида солдат с перевязанной челюстью.

— Ребятущина, — воскликнул росаснинец в белых портах, — да ведь сам он это, Святиков, Агей Захарыч, легок на помине... Ей-пра!

— С места не сойти, — радостно подтвердила ямская шляпа, — Никола-угодник! Как же его свело-скрючило!

После Салтановского боя, когда рядовой Святиков спас полковое знамя ценой разбитой челюсти, он уже и не выну-

¹ Грубошерстное сукно серого цвета.

скал его из рук. И хоть не был подпрапорщиком, но как георгиевский кавалер, отличный по верности своей солдатскому долгу, особым приказом генерала Раевского назначен был за подпрапорщика в знаменный взвод. И действительно, это он стоял сейчас перед глазами изумленных земляков, строго нахмурив седые брови и прямо устремив неподвижный взгляд...

**

Парад кончился. Войска стояли вольно. Главнокомандующие сошли с коней и, окруженные свитами, медленно обходили сломавшиеся солдатские ряды. С деревянных тротуарных мостков, со дворов и из палисадников белоголовые старики и женщины с малолетними детьми на руках рвались к Багратиону и кричали:

— Ваше-сиятельство! Спаси Смоленск! Не отдавай!

И Багратион, поднимая руку, словно для присяги, ласково отвечал им:

— Не отдам, други! Честь моя, — не отдам!

Наслаждаясь близостью своего любимца, солдаты теснились к князю со всех сторон. Сперва Олферьев отодвигал их, а потом перестал.

— Алеша, — сказал ему Багратион, — кликни-ка, душа, маркитантов. Для пули нужен верный глаз, штык требует силы, а солдатскому желудку без каши да хлеба долго быть нельзя.

— Ура, отец наш! — закричали войска.

Добрая дюжина шустрых военных торгашей вынырнула словно из-под земли со своими тележками. Князь Петр Иванович вынул из большого сафьянного кошель, который Олферьев держал наготове, пригоршню звонких серебряных рублей и швырнул маркитантам. Затем показал солдатам на тележки, заваленные булками, кренделями, румяными калачами, сайками, пряниками и прочим подобным товаром.

— Ваше! Ешьте на здоровье, други!

Солдаты кинулись на угощенье. Рубли детели поблескивая.

— Ура! Здрав будь, отец!

Барклай смотрел на эту сцену и с величайшим трудом сдерживал свое неудовольствие. Глупцы! Бранят его за гордость и чопорную холодность. Пусть! Может быть, и плохо, что он не умеет, подобно Багратиону, воздействовать своей личностью на других в желательном для себя смысле, но зато ведь и на него самого повлиять со стороны невозможно. Скоро, очень скоро Багратион в этом убедится. Нет, ни

фиглярить, ни расточительствовать он не способен! Он и не богат, как Багратион. А бедные люди обязаны быть бережливыми и не бросать дорогих денег на ветер в погоне за дешевой народностью своих имен. Разве Барклай не заботится о солдатах? Разве они не сыты? Или в лохмотьях? Пичуть не бывало! Но он делает это совсем иначе, чем Багратион. Он правильнее делает это.

Михаил Богданович плотно сжал губы и, прихрамывая, зашагал к мервой бригаде сводной гренадерской дивизии. Он уже добрался до карабинерной¹ роты ближайшего полка, когда ухо его отчетливо уловило едкое солдатское слово, небрежно вырвавшееся у какого-то гренадера:

— «Болтай да и только» ползет!..

Он знал, что его так называют в войсках. Но как бороться с этим и следует ли бороться, не знал. И потому, проходя мимо дерзкого, отвернулся, чтобы не видеть его лица. А между тем правофланговый карабинер Трегуляев заслуживал внимания. Он считался в своем полку самым удалым, исправным и видным солдатом. Был высок ростом, силен и ловок. В огромных усах и бакенах его крепко пробивалась седина. Но на смуглом лице и в блестящих черных глазах постоянно сияла такая решительная веселость, будто Трегуляев хотел сказать: «Эх, нечего терять солдату! Что было, того не воротить, а что будет, бог весть!» Когда утром полк вступал в город, веселый великан этот шел впереди с гремучими ложками, красиво украшенными в красные и зеленые лоскутья солдатского сукна, и рассыпался бедом в песнях и прибаутках так раздольно, что казалось, вот-вот пройдетя на голове. Пожалуй, во всей Первой армии не отыскалось бы теперь другого солдата с таким несгибаемым духом бойкого балагурства. Главкомандующий прошел, а Трегуляев продолжал насмешничать.

— Смольяне — польская кость, да гляди, как русским мясом обросла, — говорил он, — только у нашего Власа ни костей, ни мяса!

Намек относился к огромному, нескладному и худому рекруту белоруссу. Кругом засмеялись, но рекрут не отошелся на шутку, даже не посмотрел на шутника.

— Эге, — балагурил Трегуляев, — не отчаивайся, братец Старыничук! Так-то не раз бывало: сеяли лен у семи Олен, да как стали брать, гренадер и родился. Еще како-ой!

Старыничук пробормотал что-то невнятное.

¹ Стрелковые (егерские) роты в гренадерских полках назывались карабинерными.

— Полно мычать, что бирюлина корова! Чего запечалится? Аль барана в зыбке закачал?

И Трегуляев с неожиданной после издевок лаской потрепал угрюмого верзилу по плечу.

— Спой, Максимыч! — попросил кто-то.

— Спеть? Отчего же, коли сила-возможность есть!

Он сейчас же стал в позу, подпер двумя пальцами острый кадык, и песня будто сама вырвалась из него наружу. Голос у Трегуляева был сильный и такой бархатный, что с первой же ноты хватал за душу. Да и мелодия его песни, простая, по-русски глубокая, и слова, звонкие как колокольчики, — все это складывалось так чисто и красиво, что в карабинерной роте сразу затихли разговоры.

На утренней на заре,
На солнечном восходе
Распрощались два дружка
В пустом огороде.
Распрощались два дружка
На вечные веки,
Разошлись навсегда
За моря и реки...

Голос Трегуляева разливался все вольней и вольней. И вдруг оборвался. Оба главнокомандующие со своими блестящими свитами стояли перед певуном.

— Славно, душа! — сказал Багратион. — Давно не слыживал я, чтобы так ладно пел солдат. Держи червонец!

Олферьев протянул жарко горевший золотой кружочек. Но еще жарче были слезы, выбившиеся на глаза Трегуляева.

— Покорнейше благодарю, ваше сиятельство! Не по заслуге награждаете!

— Э, душа! В солдатской калите¹ да в казачьем гамапце мусор этот никогда не лишней.

Барклай стоял отвернувшись. Сколько лет жил он бок о бок с солдатом! Редкий русский генерал так бережно и заботливо относился к солдату, так сочувственно и вдумчиво вникал в его бесхитростные нужды, ценил и любил его, как Барклай. Доказательств тому было множество, и их знала армия. Одно только всегда было непонятно Михаилу Богдановичу, непонятно и лишено прелести: солдатская песня. Он не запрещал петь в войсках. Раз поют, значит им это нужно. Но зато ни разу не поддался очарованию песни, не отозвался на нее сердечной струной.

¹ Кошель.

— Не так ли, Михайло Богданыч? — спросил Багра-
тион.

И не дождался ответа. Зоркий взгляд его остановился на фельдфебеле карабинерной роты. Обшитый, золотыми шевронами и обвешанный медалями, старик Голиаф застыл, вытянувшись с рукой у кивера. На круглой физиономии его, такого густо-малинового цвета, как будто он только что опорожнил баклажку, из-под густых бровей ярко сверкали совиные глаза.

— А не ты ли, душа, под Аустерлицем из французско-го-плена роту увел? Зовут же тебя... Дай бог память...

С верхней губы фельдфебеля посыпался табак. Круглые глаза его страшно запрыгали. Грозный бас вырвался из могучей груди:

— Брезгун, ваше сиятельство!

— Точно! Здравствуй, старый товарищ! Славнейшего в армии русской ветерана рекомендую, Михайло Богданыч!

Барклай кивнул головой. Он тоже помнил этого солдата. Брезгун громил Очаков с Потемкиным, ходил с Румянцовым на Кагул, брал Измаил с Суворовым, сражался при Треббии и Нови, маршировал через Альпы, и немало богатырской крови его пролилось на австрийскую и прусскую землю под Аустерлицем и Прейсиш-Эйлау. Помнил его Барклай, но виду не подал и ничего не сказал. В словах ли дело? Только еще раз кивнул головой и медленно заковылял прочь.

ГЛАВА XIV

Уже смеркалось, а оркестры все еще гремели, и хоры песельников заливались по всему лагерю. Солдатам было отпущено по две чарки вина, поэтому веселья было хоть отбавляй. В палатке фельдфебеля Брезгуна горел огонь. Сам он сидел посередине, на чурбане, а кругом разместились гости Трегудяева, которых он потчевал сегодня на счет поставленного ребром дарового княжеского червонца. Брезгун важно и чинно открыл праздник: снял с лысой головы высоченный кивер, вынул из него маленький медный чайничек, налил в него воды и поставил на тагаец. Потом добыл из кивера же стакан, мешочек с сахаром и другой с чаем. А когда чай настоялся, наполнил стакан и перекрестился.

— Запасливый-то лучше богатого! — усмехнулся он, с любопытством приглядываясь к расставленным на ящике крупеникам, студиям, говяжьему боку и прочим произведениям походной маркитантской стражи.

Иван Иваныч, — просил Трегуляев, — сделайте милость, отпейте беленького! Без вас и вчинать не охота!

— Не про меня, братец, писано! Я об ней уж сколько годов и думать не помню. Пушнику — дело другое. Бабьих слезок!

Несмотря на эти жесткие слова, он с явным удовольствием наблюдал, как гости в унтер-офицерских нашивках, закрыв глаза, уже опрокидывали манерку за манеркой в свои широкие глотки. Впрочем, скоро выяснилось, что и «бабьи слезки» мало чем уступали крепчайшему маркитантскому чистогопу.

— Возьми, братец, стакан, положи сахарцу, пюнь из чайника капельки две да белой добавь до края, — благодушно учил Трегуляева фельдфебель, — вот и будет мой пуш...

Трегуляев подносил стаканы за стаканом со всем уважением к чиновному достоинству Ивана Иваныча. Да и себя не забывал. Язык его развязывался с каждой минутой.

— Единожды было, солдат в ад попал, — рассказывал он, — как быть? Осмотрелся служивый. А был непромах. Набил в стену кольев, развесил амуницию, закурил трубочку и сидит. Черти со всех боков лезут. А он, знай, поплевывает да покрикивает: «Близко не подходи! Али не видишь, казенное добро висит!..»

— Ах, жук его зась! — восхищались слушатели. — Казенное добро!.. Висит!..

— Висит!.. Спужались было черти, а подурачиться им охота смертная. Как быть? Один подлез к барабану да и ударил «поход». Солдату то и падо было. Услышал «поход», ментом добро забрал да из ада с левой ноги церемониальным шагом марш — прочь!..

— Ах, муха его забодай! Ха-ха-ха! Самого, слышь, чорта перебил!

Трегуляев засунул в рот огромный кусок пирога с луком.

— Ведь солдату — что? Надо понять! Лег — свернулся, встал — встряхнулся. И все — в лад! Так и живем, заеда рукава, сыты крупницей, пьяны водичей, шилом бреемся, дымом греемся.

Приговоркам Трегуляева не было конца. Но по числу осушенных им манерок приближался уже он постепенно к тому критическому состоянию духа, когда все что ни есть на душе как-то само собой начинает ползти с языка.

— Единожды было, хватил и я шпильцем патоки, ой, не сладко!

И пошто было горюд городить,
И пошто было капусту садить!..

— Ты, Максимыч, расскажи, за что в арестантские-то попал? — спросил его кто-то.

Трегуляев расправил неверной рукой бакены и пошатнулся.

— За самое что ни есть пустое попал, — отвечал он: — мужик темячко себе зашиб, а при нем целковый сыскался.

— Обо что ж он темем-то?

— Будто об мой безмен...¹

— За что ж ты его?

— А зачем кричал? Я остерегал: целковый, мол, сюда подавай, да не кричи, плохо будет. Так нет тебе, не послушал. Ну и...

Эта история всем была давно известна, хотя рассказывал ее Трегуляев редко и лишь при самых чрезвычайных обстоятельствах, вроде тех, что были сегодня. Из-за не-то именно не был он до сей поры и унтер-офицером.

— А бригадным у нас тогда «Болтай да и только» состоял. И закатал он меня в арестантские роты. По подозрению, значит...

Круглые глаза Брезгуна сердито выпучились.

— Эй! В присутствии моем — ни-ни! Что вздумал! «Болтай да и только»... А он от царя главное командование имеет! Коди он не главнокомандующий, так и я не фельдфебель. А уж ежели я не фельдфебель, так и царь не царь и бога нет. Вишь ты, куда загнул! Аль не при тебе давеча князь Петр Иванович со мной? Первый я в армии российской фельдфебель! Не допущу!

Иван Иванович расхорохорился, разбушевался и даже хватил было багровой своей пятерней по ящику с яствами.

— Не нам их судить. Нас судить дети-внуки будут. Нет человека без вины. А ноне время подошло, когда каждый оправдаться может, кровью черноту смыв. За жертву кровную, от верности и любви принесенную, родина прощает. Разумеете, язицы!

Он грузно повернулся в темный угол палатки, где в угрюмой неподвижности робко замер на корточках долговязый Старыничук, и несколько минут молча смотрел на него. Потом поманил пальцем.

— Вылезай на свет, молодец! Слышал слова мои? Полно, братец, стыдиться. Поднеси ему, Трегуляев! Боль да всегда врача ищет. Товарищество — лекарь самый полез-

¹ Кулак.

ный. Господина баронета Вилье¹ за пояс заткнет. Эх, молода, молода, в Саксонии не была! На печи лежа, рожь молотить, не бывает так-то! Француз пришел, и податься тебе боле некуда, грудью на него подавай. Тем и вину свою заслужишь. Избудешь вину, а там и пойдет у тебя, гренадер Старычук, все по-писаному, как по-тесаному. Вот-с!

Старычук слушал речь фельдфебеля стоя, со стаканом в дрожавшей руке. При чрезвычайно высоком росте рекрута приходилось ему круто сгибаться под низким верхом палатки. Но он и не замечал этого неудобства. Ах, как мало бывает надо для того, чтобы человек, находящийся в беде, почувствовал себя счастливым! Старычук опрокинул стакан в рот. Кровь брызнула ему в лицо, на бледно-желтых щеках занялся румянец. И вместе с этой горячей кровью доброе слово Брезгуна вошло в его сердце, как неожиданная радость, обещающая в будущем свет и тепло. Он крепко, по-мужичьи, крикнул, вытер губы и поклонился улыбаясь. Все смотрели на него.

— Эх, ты, Влас, воскликнул Трегуляев, — один таков у нас! Рожей сокол, а умом тетерев. Пюнить брось! Солдатская тоска в чем? Хлеба ни куска — вот солдатская тоска. А ты и сыт. И друзья у тебя находятся. Друзья прямые, что братья родные. Уж известно, что для друга и хвост набок. Только не люби, Влас, друга-потаковищика, любви-встрешника. Пюнить же зачем?

Плакала, рыдала,
Слезы утирала
Русою косой...

Эко дело! Да и все-то дело твое в полчаса сойт.

Трегуляев говорил это, а сам думал: «Материнно молоко на губах не обсохло... Каково-то ему под палками быть? Наши гренадеры промаху не дают, отетегают, что и до новых весников не забудет...» И рука его совала Старычуку пыльный кус свежего папушника. Так уж, видно, устроен русский человек: насмешка и шутка с языка летят, а доброе чувство из нутра выбивается. Однако Трегуляев был неправ, когда утверждал, что все дело Старычука в полчаса сойт». Заключалось оно вот в чем.

Еще по весне взяли Власа из глухой полесской деревни, где он родился и вырос, и увезли в город. Здесь, при разборе рекрут, в суматохе, среди непонятной торопливо-

¹ Знаменитый военный хирург того времени.

сти начальников, решавших его судьбу, услышал он с ужасом жестокий приговор:

— Славный будет гренадер!

Не успел Старыччук оглянуться, как очутился в неведомом, странном мире. Он вдруг перестал быть отдельным, самостоятельным от других людей человеком. Его поглотило огромное тысячеголовое существо, усатое, грубое, одетое в железо и затянутое в ремни. Другими словами, он поступил в полк. Это волшебное превращение произошло почти мгновенно. Но коснулось оно только наружности рекрута, ничуть не затронув его души.

Под конец великого поста привезли Старыччука в роту. Время было свободное, и фронт не успел занять своей мудростью все его мысли и способности. Сердце и память Старыччука были не в полку и не в роте, — они оставались в родной деревне. Бедняга часами сидел на месте, глядя перед собой. Неизвестно, о чем он думал. Солнце ходило по небу... Ветер гонялся над полем... Продолговатое изжелта-наливное лицо Старыччука не выражало никаких мыслей. Голубые глаза казались пустыми, точно были сделаны из стекла. Может быть, он даже и не видел того, на что смотрел, — ни солнца, ни ржаных полей. Может быть, вовсе даже и не сам он сидел, глядя перед собой, а только туго затянутое в шинель громадное тело его, а самого Старыччука тут вовсе и не было. Фельдфебель Брезгун знал, что это такое: рекрут был тяжело болен тоской по родным местам и любимым людям. Такие-то и бегут из полков домой лесными дорогами и окольными стежками.

— Славный будет гренадер! — сказали про Старыччука при разборе рекрут.

И Брезгун крепко присматривал за ним, желая спасти от неизбежного побега, поимки и шпицрутенов.

Много дней Старыччук не отрывал глаз от полей, обрызганных блеском весеннего солнца. За полями — лес, а там, в дуплах высоких деревьев, дикие пчелы. Отверой рот и лови крупные сладкие янтарные капли, словно медведь-медолиз. Пчелы любят затишье и привольные разлеты. А где тише и привольнее, как не в тамошних местах? Оттого и окружены там лесные деревни не только садами, но еще и обязательно пасеками. Точно серебряная, поблескивает речка между кленом, ясенем и пльмою. Хорошо шагать да шагать вдоль этой речки, выбираясь из темных лесных чащоб. Потом войти в светлую, чисто обслезную хату и присесть около чернобровой Дони, стоворенной невестушки. Эх, хорошо!

Зорек и опытен был Брезгун, а не уследил. На страстной неделе Старыничук исчез из полка.

Вероятно, другой на его месте и добрал бы до дома. Надо было для этого иной раз ловко схорониться под кустом, или запасть в траве, или залечь невидимкой под грудой валежника, в развале бурелома. Но Старыничук не умел этого. Уж слишком был он велик ростом, широк в плечах и неповоротлив, чтобы при надобности белкой выпрыгнуть на дерево или змеей заползти под колоду. Не для него, долговязого, было такое дело! Долго бродил он, голодный и робкий, далеко обходя деревни и обегая встречаемых людей. Летом его поймали и доставили в полк.

Начальство присудило бегуна к наказанию: двести ударов шпицрутенами должны были до мяса и костей распороть его спину. Назначен был уже и день, когда надлежало ему пройтись вдоль по «зеленой улице». Но случилось так, что в этот самый день армия двинулась в поход. Наказание отложили. Да так и дотянулась эта несчастная история до сегодняшнего дня. Между тем за последнее время новые, чудесные превращения совершились в Старыничуке, и не по паружности только. Словно кто вынул из него прежнюю тоску по дому, родной хате, отцу и матери, чернобробой Доне. Вынул и подменил яростной злобой и жестокой ненавистью к тем, кто заслонил все это собой, к французам. Рядом с этим жгучим чувством жило еще и другое — горькое сознание запоздалой ненужности предстоящего наказания, позора и боли, которыми оно грозило ему. Уж теперь Старыничук не убежал бы! Вместе со своим полком теперь он стоял бы на месте до последнего вздоха, лишь бы выручить далекий дом и отца, спасти Донию от глумления иноземных врагов.

Старыничук превратился в славного гренадера. И хотя сам не понимал, что с ним случилось, а еще менее мог бы рассказать об этом, но опытный и зоркий Брезгун не шути считал теперь Старыничука надежнейшим солдатом своей роты. Ошибки в том не было. Неизвестно, что именно вывело бывшего бегуна из его обычного состояния унылой и молчаливой задумчивости — выпитое вино, речь старого фельдфебеля, насмешки Трегуляева или все это вместе, но только он неожиданно выпрямился и шагнул вперед.

— Ах, хвала пану богу, коли пан фитьфебель еще даст шаговку, подицькую...¹

¹ Если господин фельдфебель еще даст шаверку с вином, поблагодарю... (белорусск.)

Он хотел было добавить: «Мне бы их под руку, нежн-тей хранцев! Я бы им бид сего с горою накуражил!»¹, по от волнения слова эти застряли у него где-то внутри. Зато огромный свищовый кулачище с такой бешеной силой разрезал воздух, что палатка качнулась на сторону и погас огонь в фонаре.

ГЛАВА XV

Квартирмейстер сводной гренадерской дивизии Первой армии прапорщик Полчанинов был белокурый юноша, высокий, желовкий, с круглым свежим лицом. Губы его то и дело складывались в нежную детскую улыбку, а упрямые кудри падали на лоб. И в эти минуты прекрасное лицо становилось на редкость привлекательным. Сначала голос Полчанинова дрожал и ломался, а потом звончал громко и звонко.

— «Серенькая лошадка моя, считал он, — стоит всего сто рублей, но вынослива и умна необычайно. Заботиться о том, чтобы она была сыта, у меня нет на то времени. И что же? Я делаю просто. Слезая с нее и цускаю на волю. Тогда она или щиглет траву, или забирается в какой-нибудь сарай с сеном, или, наконец, пристает к кавалерии, где солдаты по привычному им животнoлюбью отсылают ей овса. Но при всех этих проделках никогда не упускает она из виду меня, своего хозяина. И стоит кому помыслить, чтобы увести ее, как она принимается отчаянно ржать и бить копытами, давая мне знать об опасности. Надобно сесть на нее, — она, бросив корм, подбегает и останавливается, как вкопанная. Спрыгну с седла, уйду за калитку или в избу, — ложится у входа, как верная собака, да еще так осторожно ляжет, чтобы и седло не помялось и стремя не угодило под бок. Выйду, — она уже вскочила и отряхивается. Неумоимость любезной лошадки моей известна всей дивизии. Да и в главной армейской квартире тоже. Гренадеры издали узнают меня по коню, и лица их оживляются: встреча со мной означает скорый привал. А сегодня Сестрица доставила мне несколько минут невыразимого счастья. Я скакал по лагерю с поручником начальника дивизии, когда нос к носу палетел на князя Багратиона. Дух занялся во мне от радости при виде чудного моего героя. Не помню, как отдал я ему честь, но явственно помню знак его, ко мне обращенный. Князь приказывал остановиться и подлечь. Я исполнил, сам себя не помня.

¹ Я бы им сто бид с лишним прикуражил! (белорусск.)

— Конек твой некрасив, — сказал он, улыбаясь так ласково, как дышит один и умеет, — но добр очень.

— Так точно, — отвечал я первое, что на язык пришло, — так точно, ваше сиятельство!

— Вижу, ты день и ночь на нем, душа! Но нему и узнаю тебя.

Боже! Багратион заметил и узнает меня...»

Полчанинов замолчал. Руки его судорожно мяти тетрадку дневника. Командир гренадерской бригады полковник князь Григорий Матвеевич Кантакузен быстро поднялся из-за стола, на котором вкусно дышала румяная лепешка, приятно отдавала холодком льдистая ботвинья и заманчиво белел поросенок в сметане. Князь с жаром обнял прапорщика. Случалось уже не раз, что Полчанинов читал ему страницы из своего походного журнала, и полковник, слушая, умилялся до слез, имевших обыкновение ни с того, ни с сего вскипать на его черных, как сажа, глазах. Случалось, что и душил он при этом Полчанинова в объятиях. Но такие сцены всегда происходили один-на-один, а сегодня... В шатре Кантакузена было много гостей, приглашенных князем на ужин. И какие гости! Вот генерал Ермолов, в сюртуке парижанку. Под сюртуком шпажёр, а из-под него виднелся расшитая цветными шелками русская рубаха. Как хорош был бы этот богатырь, дабы сбросил с себя и сюртук и шпажёр да остался в русском наряде! Вот граф Кутайсов, молодой красавец, каких можно встретить только на портретах Ван-Дейка, с волнистою гривой темных волос над белым открытым лбом. А вот и главный гость, давний друг и покровитель полковника Кантакузена, Багратион. Ах, зачем затеял все это князь Григорий Матвеевич! И вызвал к себе Полчанинова и велел ему вслух читать журнал...

За маленьким столиком, поближе ко входу, пировали адъютанты. Кое-кого из них Полчанинов знал в лицо и по имени, но не был знаком ни с одним. Бедному армейскому прапорщику не под парю эти блестящие гвардейцы — ни любимый Багратионов адъютант Олферьев, ни корнет конной гвардии князь Голицын, нагловатый малый, беспашинный игрок и кутила, никогда, по слухам, не вылезавший из тысячных долгов и известный под прозвищем «принца Макарелли». Были и еще офицеры, но все, как на подбор, аристократы и богачи. С иными Полчанинов и заговорить не решился бы, а сейчас они поглядывали на него с завистью. Почему это? Ах, как странно! Полковник Кантакузен расправил огромные бакенбарды, такие черные,

что цвет их переходя в синеву, и еще раз обнял Полчанинова.

— Каков фендрик¹, ваше сиятельство? — спросил он Багратнона. — Со временем, пожалуй, в Гомеры российские выйдет! А?

Вероятно, во всей русской армии не было человека добрее и простодушнее князя Григория Матвеевича. Лицо его, сохранившее еще благородную резкость южных черт, начинало уже слегка запылять коричневатым жирком и постоянно улыбалось с радужной приветливостью. Он был из тех командиров-весельчаков, которые умели одновременно и биться с каким-нибудь субалтерном в банк на барабане и диктовать адъютанту очередной приказ по бригаде. Зато и любили его подчиненные! И не столько сам он, сколько они гордились тем, что прямыми предками его были византийские императоры и молдавские господа.

— Спасибо тебе, почтеннейший, — говорил Каптакуден Полчанинову, — спасибо! Утешил! А мне честь, что в дивизии нашей сыскал и редкого, этакое грамотея...

— Хоть я и не большой грамотей, — сказал Багратнон, — для меня писать, все равно, что в кандалах плясать, но грамотных люблю. Прошдое за нами, а будущее им суждено. И за Россию рад бываю, когда нахожу таких. Довольно с нас чужих грамотеев, а особливо немецких. Надобно своих иметь. Как немца ни корми, как его ни пересаживай, словно капусту, а он все в Берлин глядит...

— Ох, уже эти мне тевтоны! — улыбнулся Ермолов. — В бане я с одним мылся. Банщик над ним веником машет, а тевтои вопит, что ему и от русских веников прохлады нет. А когда на него середь зимы в городке одна собака напала, схватился за камень. Да на грех камень не поддался — примерз. «Ах, — вопит, — проклятая страна, где камни примерзают к земле, а собаки бегают на свободе!» Вот уж, кажется, что русскому здорово, то немцу смерть!

— Не любят они ни России, ни русских! — с сердцем вымолвил Багратнон. — Не годятся они нам ни в дядьки, ни в племянники. Коли нет у народа своих вождей, нет у него и своей истории. В пучине забвения тонут народные доблести. Дух замирает в тоске. И слзвным сородичам подражать исчезает охота. Истории нет, коли нет для нее народных вершителей. А чтоб они были, надобно учиться. Оттого и люблю я грамотеев...

¹ Старинное (время Петра Великого) название прапорщического чина.

Он повел кругом блестящими глазами.

— Кто мои адъютанты? Кого при себе держу? Мурашов, царство ему небесное, порядочный был русских стихов сочинитель. Олферьев, — об тебе, Алетта, речь! — что шпага, что перо в руке, хорош без различья! И все русские!

— Чтобы народ и армия любили чужое имя, — горячо проговорил Кутайсов, — надобно, на крайней мере, носителем имени быть счастливым в своих действиях. Дерзость, смелость, удача — народные божества. Перед алтарем их и я галомязю колени!

Ермазов взял его за руку

— Знаешь ли, граф? Когда начинаешь ты полтипковать, гляжу я на тебя и хочется мне крикнуть: «Ах, да и красав же ты, мил друг! Что за глаза! Что за нос!»

Багратион засмеялся. Кутайсов по простоте и горячности не почувствовал дружеской шпильки. А Полчагинин подумал: «Ермолов! Как удивительна смесь добродушия и лукавства, разлитая во всем существе твоём! Как неотразимо привлекательна она и опасна!» Между тем Алексей Петрович уже нахмурил свой широкий лоб и с задумчивой искренности повторил:

— Дерзость, смелость — прекрасно. Был у нас Суворов, есть князь Багратион. Но не след, граф, и того забывать, что скифы Дария, а парфияне римляни разили отступлениями.

Багратион живо повернулся на ящике, покрытом ковром.

— Кому доказываешь, тезка? Глуп, кто против ретирад ступоду. В восемьсот шестом году Кутузов отступлением спас нас. Но грози цела полководцу, который отступает, лишь бы не наступать. О том и говорим!

— Начальник гренадерской дивизии нашей таков именцо, — сказал Каптакузен, — принц Карл¹ в бою без упрека, а перед боем готов на край света бежать. Будут еще с ним хлопоты!

— Не дивись, князь, — с живостью отвзвался Багратион, — все немцы одинаковы. Зато и казнил их Суворов! А принц твой...

Полчагинин дотадался: о нем забыли, потому и разговор сделался откровенным сверх меры. Он зажал свой походный дневник под локтем и поклонился. Но на выходе из шатра издрогнул, остановленный князем Петром Ивановичем.

¹ Изначально светлой гренадерской дивизии Первой армии был родственник императора Александра принц Кара Мекленбургский.

— Эй, душа, стой! Обожди!

Баграцион встал, подошел к Подчашиннову и ласково положил руку на его скромный эпидет с одинокой звездочкой и полковым номером.

— От тебя, душа, разговор наш пошел, надобно, чтоб к тебе и вернулся. Попомни же мое слово. Будешь полковником — славно, генералом — еще славней. Но сиди дашь произвесть себя в немцы, пропал ты для России. И дружба моя с тобой врозь. Понял? Иди с богом, душа!

**

— Фельдфебеля Брезгуна к бригадному!

Не к полковому командиру, а к самому бригадному. На этом внезапном окрике посыльного прервалось мудрое председательствование Ивана Ивановича на треуголевском торжестве. И вот, тщательно одернувшись, оправившись и сколь возможно туже дотянув на могучей груди белые амуничные ремни, Брезгун торжимо переступил порог кантакуземовского шатра. От множества горевших шнем огней шатер этот светился, как розовый китайский фонарь. Но Брезгун никак не думал столкнуться за его добротной полотняной полостью лицом к лицу с таким генеральским сборищем. Сердце фельдфебеля запрыгало, как поросенок в мешке. Винный пар выбился холодным потоком из толстой шеи. Маленькая физиономия посинела. Бакенбарды бригадного развевались перед самым носом Ивана Ивановича, но голос его почему-то доносился издали. Он говорил Баграциону:

— А вот мы сейчас и узнаем, ваше сиятельство, что это за солдат... Сейчас и узнаем... Здравствуй, Брезгун!

— Здравия желаю, ваше сиятельство!

— Да не реви так, уродина! Я же не глух! Э-э-э... Что это? Кажись, ты приложился?

— Ничтожную самую малость, ваше сиятельство!

— Увидим! Какой это бегун у тебя в роте заведет?

— Рекрут Старыничук, ваше сиятельство!

— Рекрут... Значит, впервой бежал?

— Так точно!

— До сей поры не наказан?

— Никак нет...

— А каков он? Каким солдатом быть обещает?

— Самый славный будет, ваше сиятельство, гренадер-с!

— А не врешь ельяну?

Совинные глаза Брезгуна часто-часто заморгали, рот задергался, слабый хрип вырвался из груди.

— Брезгун врать не может, — улыбаясь, сказал Багратион, — тверез ли, пьян ли, все едино, ему, я чай, смерть легче, чем соврать! Не обижай, князь Григорий Матвеевич старика, я его знаю.

Кантакузен облизнул яркие мокрые губы и смачно чмокнул фельдфебеля в жирную щеку.

— Мы с ним обидеть друг друга не можем! Верно ли, Брезгун?

— Никак не можем, — радостно прогремел Иван Иванович, — а коли обидим, так тут же и прочь ее снимем, обиду-то! Покорнейше благодарю, ваше сиятельство!

— Итак, — продолжал Кантакузен, — начальник дивизии усмотрел непорядок в том, что с самого начала похода откладывалось у нас наказание гренадера Старыгчука. И по закону прав принц, а я неправ оказываюсь. Но чудится мне, что, окромя закона, человечность еще есть...

— И разум, — вставил Ермолов.

— Именно, ваше превосходительство. Они-то и воспевают мне засекать солдата, когда вся судьба отечества зависит от целости и крепости многотрудной солдатской спины...

— И от пыла сердец солдатских! — крикнул Кутайсов.

— Именно, ваше сиятельство. Однако принц Карл, коему на все то маплевать, требует. И нахожусь я в крайнем самом затруднении...

Кантакузен был не на шутку взволнован. Он стоял посередине шатра и, с величайшей горячностью размахивая руками, спрашивал Багратиона:

— Как же прикажете мне поступать, ваше сиятельство?

Князь Петр Иванович отозвался не сразу. Вопрос был ясен, но только со стороны существа дела. А со стороны политической, в которой был замешан начальник дивизии, немецкий принц и родственник императора, все было неясно.

— Не могу приказывать, — проговорил он наконец, — не в моей ты, Григорий Матвеевич, команде. А как бы я сделал, не скрою...

Он еще помолчал, раздумчиво протягивая свой бокал к Ермолову, Кутайсову и хозяину, медленно чокаясь и еще медленнее отпивая вино крохотными глотками. Потом быстро поставил бокал на стол, взъерошил волосы и схватил Ермолова за лацкан сюртука.

Любезный тезка! Вы патер Грубер, стало быть душ человеческих знахарь. Вас спрошу, верно ли суку. Сечь бы теперь рекрута не стал и, не ко времени, но и страху за

вину его не снял бы. Что нам от него надобно? Чтобы хорошим солдатом стал. Но с одного лишь страху хорошими солдатами не делаются. И бы так решил: наказание вновь отложить, внушив при том виноватому, что и вовсе от него избавлен будет, коли хорошим солдатом подлинно себя окажет...

— В первом же бою, — добавил Ермолов. — Браво, ваше сиятельство!

— Пусть крест егорьевский заслужит, — воскликнул Кутайсов, — тогда и наказание прочь!

— Так и я мыслю, господа. А кавалеров у нас не секут...

— Кроме тех случаев, когда и их секут, — язвительно заметил Ермолов.

Минута тишины повисла над столом. Молчанье нарушил Багратион.

— И в приказе по бригаде о таком решении, — сказал он, — и бы на месте твоём, князь Григорий Матвеевич, объявил, дабы все подчиненные твои видели, каков у них рачительный и вперед глядящий командир.

— Спасибо великое, ваше сиятельство, — отвечал Каптакусен, — все так и сделаю. Да сейчас же, не откладывая, и приказ отдам. Одно лишь...

— Принца боитесь? — спросил Ермолов.

— Угадали, Алексей Петрович! Несколько опасаясь... По дотошности своей не принц, а часовщик, по сердцу же — кукла дохлая.

— Напрасно боитесь, — с внезапной строгостью проговорил Ермолов, — оттого и командуют нами немцы, что мы их трусим, вместо того чтобы в бараний рог гнуть! Иди отсюда, — крикнул он Брезгуну, — марш! Доложите, князь, принцу, что приказ такой отдали вы по совету нашему общему. Это — раз. А второе — я принца вашего через Михайлу Богданыча завтра же в полное смирение приведу. Уж поверьте, что приведу!

— Будто Барклай не из того же теста выпечен? — усомнился Багратион.

— Дрожки не те, ваше сиятельство! — сказал Ермолов и, вставая, занял собой добрую половину шатра.

ГЛАВА XVI

С тех пор как армии встретились и вступили в Смоленск, все изменилось в городе. По улицам его, прежде таким тихим и сонным, теперь с утра до ночи сновали

шумные толпы взволнованного народа. Экипажи и телеги тянулись по всем направлениям бесконечными вереницами. В лавках и на рынках громоздились горы товаров. Перепуганные купцы торговали в полцены, себе в убыток. На перекрестках бойко распивалось хлебное вино и с жадностью поглощалась с разносных лотков всякая еседь. К кондитерской лавке знаменитого мороженщика Саввы Емельянова не было подступа — ее брали штурмом. В старинной ресторане под вывеской «Съесной трактир Данрих» была такая теснота, что втиснуться в горниду, где счастливы ели, пили и бились в банк и штосс, оказывалось почти невозможным.

**

В домах светиться тусклые огни. Часовые перекликались. И городской колокол отбивал уже поздние часы, когда сменившийся с дежурства и наскоро переодевшийся Олферьев стоял на пороге гостиницы Чаппо, стягивая с рук модные фясташковые перчатки, странный, ловкий и безмятежно красивый. Именно здесь, у Чаппо, собиралась по вечерам блестящая гвардейская молодежь. В обширном зале с лепным потолком и алебастровыми статуями по углам гуляли синие клубы табачного дыма и стоял неуемный шум. В дверях залы Олферьева встретил однополчанин его Голицын. Он приходился двоюродным братом князю Багратиону, но по крайней молодости лет признавал своего знаменитого родственника за дядю. «Принц Макарелли» высоко поднимал ликерную рюмку, в которой тяжелыми блестками переливался густейший «лероа».

— Алеша, — закричал он, — славно, что пришел ты! Представь: я уж было и банк заложил и метать начал, да Клингфед с Давыдовым сцепились... Умора! И карты — под стол! Мамаево побойте! Et vous, mon cher, comment trouvez-vous ces aliénés-là? ¹

— Как? Опять спорят? — удивился Олферьев. — Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Allons voir c'est ce qu'il faudra voir ².

Чернявый подполковник в венгерке Ахтырского гусарского полка, с веселой шишечкой вместо носа и серебристым завитком в кудрях, прыскал из-за стола.

— Алеша! Где проливается вино, там купаются слова! Садись, пей, ешь и суди безрассудных...

Приветствуя Олферьева, два офицера чинно поднялись

¹ Что ты думаешь об этих сумасшедших? (франц.)

² Чтобы разобраться, надо выслушать обоих. Посмотрим, что там такое. (франц.)

со своих мест. Высокого и бравого кавалергардского ротмистра звали фон Клингфер, маленького лейб-кирасира с хватками ловкой обезьянки — граф Лайминг. Оба были адъютантами генерала Барклая.

— Давыдов рассказывал о своем знакомстве с Суворовым, — проговорил Клингфер, вежливо отводя от губ большую пенковую трубку, — он собирается записать эту интересную историю, дабы не потерялась она для отдаленных потомков. А я нахожу, что попомкам дела не будет ни до нас, ни до великих людей, с коими встречаемся мы, а лишь до того, чем великость их на деле оказывается.

«Принц Макарелли» принял таинственный вид.

— У нас, в ложе «военных братьев»...

— Пустое! — с придворной небрежностью заметил Лайминг. — Ни одного великого человека нет ни в одной масонской ложе. Разве его высочество цесаревич Константин единственный...

— Откуда вы взяли, граф, что его высочество — великий человек? — засмеялся Олферьев. — Не о знатности рода наш толк, а о великости души и действий.

— Фу, чорт возьми, — воскликнул Давыдов, — дайте же досказать!

В этом гусаре были необыкновенны огненная живость речи и свежая искренность чувства, которым дышало все его крикливое и непоседливое существо. Отбросив за плечо раззолоченный ментик и взъерошив волосы, он продолжал свой прерванный рассказ:

— Стукнуло мне девять лет, шал и рёзов был я, словно козленок. Отец командовал тогда в Полтаве конногерским полком. Там, на смотре, увидел я Суворова. Старец знал и любил отца. Бойкость моя ему приглянулась. «Дениска! Беги сюда!» Малая, сухенькая, желтая, как ярь, ручка героя легла на ершистый затылок мой. «Помилуй бог, какой удадой! Это будет военный человек! Я не умру, а он уже три сражения выиграет!» Ах, заскакал, запрыгал я! Тотчас швырнул за печь псалтырь, замахал саблей, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и хвост отрубил борзому псу...

— Полагать надобно, что о трех победах этих и пророчествовал Суворов, — с усмешечкой сказал Лайминг.

— А благодетельная отцовская рука вновь обратила вас к псалтырю, — добавил Клингфер.

— Теперь же, когда подвинулся я далеко вперед, ждали не ростом, то русской мыслью своею, — с внезапной серьезностью горячо вымолвил Давыдов, — в тугих обстоятельствах наших горько крушусь, что нет с нами Суворова...

Стой, Денис, — отозвался Олферьев, — зато у нас есть Багратион!

Розовое лицо Клингфера вытянулось и вдруг сделалось страшно похожим на грубо высеченные из камня рыцарские надгробия в старых германских соборах.

— И не один Багратион, — с веской расстановкой слов произнес он, — к счастью, кроме него, предусмотрительность и осторожность командуют русской армией. Они — ее лучшие полководцы.

— Понимаю. — с досадой сказал Олферьев, — вы говорите о генерале Барклае. Его достоинства бесспорны. Но предусмотрительность и осторожность, являясь главными из них, незаметно привели русские армии в Смоленск...

— Меньше чем за полтора месяца войны! — с негодованием выкрикнул Давыдов.

— У нас в ложе... — начал было «принц Макарелли», но, вспомнив что-то неподходящее, махнул рукой. — Интересно, куда отгонит нас Бонапарт еще через месяц!

Клингфер принужденно улыбнулся.

— Что ж? Большие пространства уступлены. Зато честь оружия нашего до сей поры неприкосновенна. Этого Наполеон никогда не испытывал. С помощью божьей...

Черствая рассудительность Барклаева адъютанта бесила Олферьева. «Это школа, целая школа! — с сердцем подумал он. — Мерзкие перипатетики!»¹ «Лероа» действовал. В голове корнета плескались волны горячего тумана. И он проговорил резко, как можно резко, стараясь задеть, а если удастся, то и вывести Клингфера из себя:

— Вы надеетесь на бога. А мы, сверх того, еще и на князя Багратиона. Что скрывать? Нам ненавистна ретирада, она истомила нас. Ее позор оскорбителен...

Туман в голове Олферьева сгущался. Под черепом становилось жарко до боли и слез. Обрывки мыслей стремительно обгоняли друг друга. «Несчастливая Россия! Муратов счастливей всех нас! Ах, семь бед — один ответ!» Олферьев вскочил, поднял руку и пошатнулся. Звонкий тенор его разнесся по залу:

Vive l'état militaire,
Qui romet à nos souhaits
Les retraites en temps de guerre,
Les parades en temps de paix..

Эту песенку, сложенную еще покойным Муратовым, часто распевали во Второй армии гвардейские офицеры.

¹ Ученики Аристотеля, имевшие обыкновение прохаживаться во время философских бесед. Περπατω — прохаживаться (греч.)

И сейчас сперва «принц Макарелли» и Давыдов, а за ними еще добрая дюжина голосов, сильных и слабых, умелых и неумелых, подхватили мелодию и слова:

Славу нашего мундира
Мы поддерживать должны
Вахпарадами в дни мира,
Отступленьем в дни войны...

Клингфер стоял бледный, с закушенной губой и сложенными на груди руками. Впрочем, он скоро овладел собой. Несколько секунд маленький обезьяноподобный кирасир и его высокий товарищ что-то обсуждали вполголоса с деловым видом. Затем Клингфер подошел к Олферьеву.

— Послушайте, корнет! Граф Лайминг и я — мы адъютанты генерала Баркляя. Песня, которую вам нравится распевать, прекрасная, очень остроумная песня. Но она оскорбительна для лица, при коем мы состоим. Сверх того, некоторые господа из главной квартиры Второй армии распускают по рукам некое глупое письмо...

Олферьев смотрел на Клингфера и почти не видел его. Маячившая перед ним отвратительная и злобная маска — такие рожи бывают только у святочных людоедов — не могла принадлежать этому спокойному и красивому офицеру. Странное дело! При первых же словах Клингфера хмель соскочил с Олферьева, — возмущение и гнев оказались сильнее «лероа». Но горячий туман не испарился, и тысячи молоточков больно ударили из мозга в виски. Олферьев чувствовал, что задыхается от ярости, и, чтобы не задохнуться, рвал на куски фисташковую перчатку.

— Вы хотите сказать, ротмистр, что я распускаю известное письмо? И, может быть, делаю это по поручению моего генерала? Не так ли?

Пришла минута, когда по точному расчету Клингфера должен был наступить неизбежный и естественный конец этой ссоры. Тянуть долее было бесполезно да и неприлично. Поэтому он проговорил решительно и твердо:

— Последнее — едва ли. Но первое — так. Письмо распускаете вы... вы... вы!..

Олферьев шагнул вперед и швырнул кусок разорванной перчатки прямо в маску святочного людоеда.

— Ловите, лжец!

Клингфер покачнулся, словно не перчатка задела его по лицу, а ударил кастет или камень. Щеки его покрылись молочной бледностью, рука рванулась к шаге. Но Лайминг удержал ее.

— Kreuzschokdonnerwetter! — произнес он сквозь зубы. — Sie sind ein famoser Schwerepöther!¹ Завтра я пристрелю вас. Корнет граф Лайминг — мой секундант.

— Полковник Давыдов условится с вами, граф, о подробностях поединка, — сказал Олферьев, повертываясь и надевая фуражку. — Мое почтение, господа!

Секунданты пожали друг другу руки. В зале было тихо. Тесное кольцо любопытных окружало поссорившихся. Оно разомкнулось, пропуская Олферьева, но корнет не успел уйти. Вдруг двери зала с шумом распахнулись, и в них показалась величественная фигура генерала Ермолова, в кивере, с плац-майором и ординарцем позади. Алексей Петрович быстро и прямо шел к месту действия. Насупленное лицо его было сурово, в серых глазах плясал сердитый огонь.

— Экий стыд! — произнес он своим глубоким, проникающим в душу голосом. — Цвет гвардии! Адьютанты главнокомандующих! Как будто надобно ссорами и поединками мрачить год великий, который вечно отечеству нашему памятен будет, тяжкий несчастьями, знаменитый, блистательной славой грядущих побед наших в роды родов!

Он посмотрел на дуэлянтов. Они стояли, опустив головы.

— Вы арестованы, господа! Шпаги — плац-майору!

ГЛАВА XVII

То, что полковник Толь при невысоком, штаб-офицерском чине своем занимал должность генерал-квартирмейстера Первой армии и вместе с главнокомандующим и начальником штаба являлся основной пружиной ее действий, было необыкновенно. Объясняли это двояко. Одни видели секрет в изумительном трудолюбии и редких способностях Толя, другие — в особом отношении к нему генерала Барклая, который ни с кем не был дружен и никого не любил, а Толю выказывал доверие, походившее и на дружбу и на любовь. К исключительному положению полковника в армии все давно привыкли, кроме него самого. Толь был незнатен и небогат. Известно было, что отец его, живший в Нарве, терпит недостаток в необходимом. Именно о таких, как Толь, говорится: кузнец своего счастья. И от этого счастья у него кружилась голова. Неутомимый и деятельный, смелый и дельный, он был вместе с тем и вспыльчив, и упрям, и горд, и надменен без меры. У него была манера говорить

¹ Чорт и дьявол! Ну и хороши же вы, однако! (нем.)

отрывисто, короткими, решительными фразами. Случалось ему покрикивать и на генералов. Однако за этой резкой и неподатливой деловитостью прятались и тонкий расчет поступков и неблагодарная, себялюбивая хитрость.

До последнего времени бескорыстное покровительство Барклая охотно принималось Толем. И он платил за него главнокомандующему неусыпным трудом острой мысли. Но здесь, в Смоленске, полковник впервые почувствовал неприятную сторону своих отношений с Барклаем. Произошло это в тот день, когда в главную квартиру Первой армии прискакал государев флигель-адъютант с высочайшим повелением министру: немедленно переходить к решительным наступательным действиям, защищая Смоленск соединенными силами обеих армий. Повеление это ставило Барклая в крайне затруднительное и невыгодное положение. Вместе с ним в такое же точно положение попадал и Толь.

До Смоленска Барклай не раз имел возможность наступать. Но император, ужасно боявшийся разгрома армий поодиночке, требовал соединения с Багратионом, а до того и слышать не хотел ни о каком наступлении. Это настроение императора совершенно совпадало с планами Барклая. Независимый характер и безукоризненная честность министра не стеснялись ни ропотом войск, ни протестами Багратиона. Ретируясь, Барклай последовательно и твердо делал то, что считал необходимым. В случае крайней нужды он мог заслониться повелениями императора. И Толь чувствовал себя в безопасности. Теперь все это изменилось. Барклай находил, что прежние возможности для наступательных действий потеряны. Французские корпуса с разных сторон придвигались к Смоленску, и под общим их ударом соединенная сила обеих русских армий по сравнительной слабости своей неминуемо должна была быть уничтожена. Наступление сделалось невозможным, следовательно и Смоленск защищать было бесполезно. А между тем приободрившийся после соединения армий император требовал наступления. Толь был уверен, что независимый характер и безукоризненная честность министра не позволят ему прекратить ретираду в угоду царю или под натиском недовольства войск. Если прежде он выполнял план императора, то теперь будет действовать за личный свой страх и вразрез с высочайшим повелением. Может быть, он и спасет армию, но себя погубит наверно. Без поддержки императора в главнокомандующих ему не усидеть. Что же тогда будет с Толем?

Эти соображения ужасно тревожили полковника. Беспокоили они и Барклая, но иначе. Страстная кипучесть окру-

жавшей министра ненависти была ему очень хорошо известна. Он не мог не страдать от нее. И действительно страдал, мучительно и глубоко. Отчего было бы не сложить ему с себя тяжкое бремя главного командования? Почему бы не передать его, к общей радости, Багратиону? Неужели мешало честолюбие? Нет, твердость. Уж очень жарко пылал Багратион стремлением одерживать победы. Уж слишком самоуверенно смотрели его сторонники в будущее. Один Барклай видел действительную опасность положения. И не хотел отказаться от трудной роли, которую назначила ему судьба. Он должен был спасти Россию хотя бы и ценой собственной гибели. Однако Толь вовсе не собирался погибать вместе со своим покровителем.

**
*

Барклай вышел из кабинета. Государев флигель-адъютант и генерал-квартирмейстер Первой армии остались вдвоем. Толь не терял ни минуты. Он отлично чувствовал тон, в котором следовало вести эту беседу.

— Наш главнокомандующий, — говорил он, — благороден, умен, учен, храбр, распорядителен. Но не понимаю, как мог он стать против Наполеона? Ведь русская армия ужасно не любит его!

— Я имею об этом кое-какие сведения, — сказал флигель-адъютант, — но, вероятно, вы знаете больше?

На пухлых губах Толя шевельнулась тонкая улыбка.

— Еще бы! Вот недавний факт. Вчера в ресторации Чаппо гвардейские офицеры хором пели французскую песенку, каждое слово которой оскорбление главнокомандующего. Нельзя уважать того, кого оскорбляешь. Следовательно... Правда, песенка сочинена кем-то из адъютантов князя Багратиона, но и в Первой армии ее распевает гвардейский корпус. Вообще...

В комнату вошли Барклай и Ермолов. Глаза Алексея Петровича впелись в собеседников. Толь улыбался.

— Вы говорили что-то интересное, Карл Федорович, — сказал начальник штаба, очевидно желая с места припереть генерал-квартирмейстера к стене. — Гвардейский корпус... вообще...

Продолжая улыбаться, Толь ловко подхватил последнее слово:

— Вообще роль главной квартиры князя Багратиона в разжигании страстей вполне очевидна...

Он повернул свою приземистую и плотную фигуру к Барклаю.

— Я имею в виду, ваше высокопревосходительство, досадительную историю с известным письмом, копии с которого распускаются среди офицеров адъютантами князя Багратиона.

— У меня есть такая копия, — заметил флигель-адъютант, — очень жаль, что генерал Багратион не гнушается подобными шиканами¹.

Он тоже повернулся к Барклаю.

— Взгляд его величества на них мне довольно известен. Стоит лишь вашему высокопревосходительству донести государю, чем штаб Второй армии занимается, и князь Багратион... одобрения высочайшего не заслужил бы!

Барклай сидел в кресле, сторбившись и нагнув плешивую голову. В последние дни он со всех сторон слышал болтовню об этом подлинно несчастном письме. В начале войны он сам отослал его Багратиону, но отнюдь не предполагал тогда, что из пустой, хотя и несмотрительной любезности вырастет злостная «шикана». Неужто же, однако, идет она от Багратиона? Как ни был князь Петр Иванович неприятен Барклаю, а усомниться сейчас, под влиянием штабных рассказней, в его благородстве казалось Михаилу Богдановичу и тягостно и мелко. Он был бы искренне признателен всякому, кто рассеял бы эти скверные подозрения. И словно отыскивая такого человека, поднял голову и внимательно посмотрел на присутствующих.

Толь был доволен и ходом разговора и собой. Пока отсутствовал Барклай, ему удалось рассказом про оскорбительную для министра песенку быстро и ловко отгородиться во мнении государева флигель-адъютанта от своего покровителя. А когда Барклай появился, Толь с такой же быстротой и ловкостью устранил возможные подозрения в измене, заговорив о компрометантном для Багратиона письме. Так надо делать дела! Что касается флигель-адъютанта, он хорошо знал, как высоко ценил император усердие тех свитских, которые тешили его сплетнями, собранными в войсках. Особенно интересовался его величество генеральскими ссорами. Поэтому флигель-адъютант был не только доволен, но еще и благодарен Толю за услышанное.

Взгляд Барклая остановился на Ермолове. Умное лицо Алексея Петровича имело то особенное, все понимающее выражение, которое лишь ему одному бывало свойственно. И как бы отвечая на молчаливый вопрос министра, он сказал твердо и решительно:

¹ Кознями (франц. chicanes).

— Вчера вечером, господа, я арестовал в ресторации Чаппо офицеров, повздоривших из-за пресловутого письма. О происшествии этом вкратце я уже докладывал Михайле Богданьчу. Но сейчас добавить должен: копии письма выпускает не князь Петр Иванович и не его адъютанты, а сын генерала Раевского, прапорщик пятого егерского полка. И он лишь один, самолично, в том повинен. Отсюда вывод следует сделать господину полковнику Толю: всякий в отдельности ошибаться волен, а других людей ошибкой своей пятнать никому не дозволяется. Здесь же так именно вышло. *Unglaublich, aber doch!*¹

Ермолов засмеялся. Барклай молча пожал ему руку. Очень редко случалось Михайлу Богдановичу выражать свое удовольствие в словах. Зато взгляд его в такие минуты бывал полон самой теплой, отеческой доброты. Если бы умел он так же говорить, как смотрел иногда, никто не упрекал бы его ни в холодности, ни в бездушии. Сейчас Барклай испытал большую радость: Ермолов снял с его души отвратительно тягостный груз. Бледные губы главнокомандующего задвигались.

— Это прекрасно, господа! От сердца благодарен вам, Алексей Петрович. И прошу: завтра же побывайте у князя Петра Ивановича и предупредите его о том, как невыгодно ко вреду его может обернуться история с этим злосчастным письмом, стоит лишь того кому захотеть. Ежели добросовестно и дельно вразумлять человека, всегда бывает он рад вразумиться. Убедите князя, чтобы не горячился. А прапорщика Раевского, пожалуй, и впрямь надобно наказать. Впрочем, это уж дело князя самого!

**

Цесаревич Константин Павлович проснулся в самом дурном расположении духа. Он долго сидел в спальне у окна, запахнувшись в длинный белый халат, и упорно глядел на улицу, не отвечая на почтительно-осторожные вопросы адъютантов и слуг. Такие скверные дни бывали у его высочества довольно часто. И приближенные ужасно не любили их. Иметь с цесаревичем дело, когда он не в духе, было тяжело и противно. Он без конца привередничал, терзая нелепыми выходками себя и других. По всякому поводу, а то и совсем без повода охватывал его неудержимо яростный, удушливый гнев. Тогда глаза его наливались кровью и бешено сверкали. Голос становился сильным и спадал с обыч-

¹ Трудно поверить, но это так (нем.).

го тона до хриплых басовых нот. Вспоминая потом, в добрые минуты, об этих припадках, цесаревич говаривал:

— Жизнь моя похожа на волшебный фонарь, в котором дьявол время от времени тушит свет.

Константин Павлович одиноко сидел у окна, и беспричинная злость пополам со скукой все туже и больней сжимала его широкую, но впалую грудь. Давно бы уже следовало ему и одеться и позавтракать. Но он не хотел ни того, ни другого. И от того, что не хотел, злился еще более. Под окном проходил народ. Но все это были какие-то неинтересные, серые люди, способные видом своим лишь усиливать чувства безнадежности и тоски. Вдруг цесаревич протер глаза, вскочил и высунулся из окна. Необычайное зрелище захватило все его внимание. Через площадь, прямо к дому, где он стоял со своим штабом, мерно шагали в ногу сопровождаемые конвоем два офицера без шпаг. Один был кавалергард, другой конногвардеец. Константин Павлович вспомнил: «Да ведь это те самые тептери, которых намедни накрыл генерал Ермолов перед поединком. Теперь они идут ко мне на расправу. Ага! Ну и покажу я им, где раки зимуют!..» Перспектива эта, открывавшая возможность сразу вылить на виновных офицеров томивший цесаревича гнев, освежила и даже обрадовала его.

— Эй, — раздался по всему дому его сильный бас, — эй, люди! Одеваться!

В спальню вбежали слуги, за ними ординарцы и адъютанты. Так как Константин Павлович был шефом лейб-гвардии конного полка, то среди адъютантов находился и дежуривший сегодня при нем от полка корнет князь Голицын.

— Арестованные фон-Клингфер и Олферьев, — отрапортовал он, — по повелению вашего высочества прибыли!

Цесаревич махнул рукой не отвечая. Косматые брови странного, соломенного цвета, придававшие его курносому лицу выражение мрачной суровости, прыгали от нетерпения. Он страшно спешил с туалетом — так хотелось ему поскорее показать «раков» арестованным офицерам. Однако, по мере того как одеванье подходило к концу, улетучивались куда-то гнев и досада. И когда он был уже в шпензере и хотя без сюртука, но с огромным белым крестом Георгия второй степени на шее, то есть готов, «принц Макарелли» явственно уловил на его физиономии ту самую приветливую улыбку, которая означала, что припадок кончился.

И, как всегда бывало в подобных случаях, тут-то и показалась в дверях презабавная фигурка начальника штаба его высочества. Генерал-майор Курута был мал ростом, брюхаст

и имел структуру шарика, поставленного на быстро двигавшиеся коротенькие и кривые ножки. У него была большая голова, длинный нос, смуглое лицо, курчавые, как у негра, волосы и тускло-черные глаза, похожие на маслины, заваливавшиеся под прилавком у торговца. Курута был грек и обучал цесаревича греческому языку в те далекие времена, когда Екатерина II мечтала о восстановлении для своего внука Византийской империи.

— Здравия желаю, ваше высочество, — сказал Курута, — добрый день, доброе здоровье!

Появление начальника штаба окончательно вылечило Константина Павловича. Черты его лица разгладились, и улыбка согнала с губ последние остатки суровости. Он любил старика удивительной, совершенно ребяческой любовью. И, подбежав, схватил его маленькую сморщенную ручку и крепко, врасос поцеловал. Курута нежно чмокнул воспитанника в плечо.

— Скажи мне, друг Дмитрий Дмитрич, — спросил цесаревич, — о чем думает Барклай? Неужто он собирается надуть брата? Поверить же квакеру, что будет и впрямь Смоленск защищать, сй-богу, не могу!

Курута хитро усмехнулся.

— Он такой человек: запрягает медленно, а едет есцо тисе.

— Так за коим же чортом рассказывает он нам свои сказки? Разве мы дети?

— Сказки, ваше высочество, нуэны не столько детям, сколько взрослым. Барклай о том отлицно знает. Вот и рассказывает!

Цесаревич расхохотался.

— *Græco fides nulla*¹. Но на сей раз прав ты, Дмитрий Дмитрич, без отмены. Идем к арестантам.

Клингфер и Олферьев стояли в зале, вытянувшись по форме и не глядя друг на друга. Константин Павлович молча подошел к ним и внимательно осмотрел каждого с головы до пят. Собственно, оба они были прекрасно ему известны: Клингфер — по отцу своему, директору петербургского кадетского корпуса, а Олферьев — по конногвардейскому полку. Но цесаревичу хотелось быть официальным.

— Тептери, — сказал он, — что вы вздумали? Драться? В каталажку вас! Вы думали, раз адъютантами у главнокомандующих заделались, так я до вас уже и не достану. Лудки! Покамест на вас гвардейские мундиры, а император-

¹ Греку нет веры (латинская поговорка).

ская российская гвардия под командой мосей, я на вас ездить могу. Да-с!

Курута неприметно дотронулся до руки цесаревича. Константин Павлович ощутил это прикосновение и вздрогнул.

— То есть я хотел сказать, господа, что из команды мосей ходу вам никуда нет. Будь на моем месте другой кто, бог весть, какими шишами накормил бы вас за дуэльную вашу проделку. Я же за тем лишь слежу, чтобы служба не страдала. До прочего мне и дела нет. Хоть головы друг дружке отвинтите. Однако сейчас идет война. И какая! Вы солдаты! Кровь свою попусту лить — преступление перед отечеством, ибо ему одному вся ваша кровь теперь принадлежит. Другой бы на месте моем об вас язык сломал. Я не стану. Скажу просто: генерал Барклай-де-Толли общает нам бой за Смоленск. Надувал он нас многожды. Но на сей раз трудно будет, ибо его величество боя желает. Стало быть, сразимся. Вот вам арена для состязания, где бесстрашием весьма удобно благодарность родины заслужить. Выйдете из дела с честью и целыми, бог с вами. Тузите тогда друг друга чем угодно, хоть на кулачках. Но до боя не смейте! Я, великий князь, брат царя вашего, запрещаю! Слово, Клигфер?

— Честное слово, ваше императорское высочество!

— Слово, Олферьев?

— Честное слово, ваше императорское высочество!

— Ну, это дело! Правильно, Дмитрий Дмитрич?

— Очень правильно, ваше высочество, — сказал Курута, — и Ликург¹ лучше не ресил бы!

— То-то! А покамест арест с обоих снимаю. Возвратить господам офицерам шпаги!

ГЛАВА XVIII

— Не министру судить меня. Целый свет и потомство — вот мои судьи! Живу для славы! А она, как солнце: не любит, чтобы люди глядели на нее дерзкими глазами. Отсюда — сплетни. Слова нет, пакостное вышло дело с письмом. Но чего опасаться мне? Армия знает Багратиона, сплетням веры не даст. Мне то лишь и важно. Не тот честен, кто за честью гоняется, а тот, за кем она сама бежит. Нет, тезка! Очень министр благородством своим играет, да меня этим не возьмешь. Не дворский я человек, — не двору служу, а России! Советы министровы пристали мне, как корове седло.

¹ Знаменитый спартанский законодатель.

А мальчишку этого, Раевского, наказать не могу я. Скажу отцу, он его уймет. За что наказывать? Он патриот и худого не делал. Пусть министр за своими следит. Мне же одно любопытно знать: каково он теперь, государев приказ о наступлении получив, завертится? Сколько случаев упустил! Но кто виноват? Хороший стратегик помнить обязан, что быстрый успех — лучшая экономия. Он же...

Третьего дня, вырвав приказ о прекращении ретирады, князь Петр Иванович внешне почти примирился с Барклаем. Иначе было невозможно: не давать же людям повод думать, что единственной причиной раздора между главнокомандующими является местничество. Приходилось спрятать поглубже оскорбленное самолюбие и горечь обиды решением царя. Багратион так и сделал. Но от этих усилий над собой его неприязнь к Барклаю не уменьшилась. Наоборот! Сейчас он был доволен: судьба как бы мстила за него министру. Повеление императора о наступательных действиях бесконечно затрудняло Барклая, а Багратиону развязывало руки в его требованиях. Однако как мелок министр! В этих важнейших обстоятельствах продолжает он заниматься пустяками, вроде письма Батталья. И советы еще подает!

— Напрасно вы, князь Петр Иванович, — проговорил Ермолов, — нападаете так на министра. В деле с письмом очень он благороден был. Да и вообще в нравственном смысле высок. Но не он один деятель. Есть и другие, гнилью низости тронутые люди. Хорошо бы вам государю отписать...

Багратион с такой живостью повернулся в кресле, что оно затрещало.

— Писать государю? О чем? Не о сплетнях же этих? Я писал, что соединился с министром, что надобно одному быть начальником, а не двум. Ответа нет... То есть, попросту сказать, опять получил я шнапс. О чем еще писать, не ведаю. Ежели прямо проситься, чтобы над обеими армиями командовать, подумает государь, что ишу из тщеславия. А ведь не из тщеславия ишу, по любви к России, потому что не любит ее Барклай, и нельзя полезнее, чем он, для неприятеля действовать. Эх! Нерешим он и труслив, бестолков и медлителен — все худые качества. Министр-то он, может, и хороший, по министерству, но генерал дрянной. Поглядим, что теперь выкомаривать станет. Кабы и дальше позволили, привел бы в столицу гостя. Нет, я вам, тезка, дружески скажу: лучше солдатом воевать, нежели главнокомандующим при Барклае быть!

Ермолов молчал. Огонь и вода, соединяясь, образуют

пар. Не то же ли и здесь происходит? Горяч пар, того и гляди, обожжешься.

— Делайте, князь, как знаете, — промолвил он, — вам видней. Но накажите примерно молодого Раевского! Верное это для вас средство шпынянья разные от себя отвести. Надо так!

Багратион хотел было снова заспорить, но в горницу вошел граф Сен-При. Красивое лицо его улыбалось. В движениях заметна была та особенная ловкость, которая бывает у людей только тогда, когда они сделают что-нибудь действительно нужное и так, что лучше и сделать нельзя. Лучистый взгляд голубых глаз начальника штаба, устремленный прямо на Багратиона, казалось говорил: «Ну, оцени же наконец мою готовность быть тебе полезным! Отбрось пустые подозрения и оцени!»

— Странная вышла сегодня история, — начал Сен-При, — и вот уже в руках моих рапорт начальника сводной гренадерской дивизии графа Михайлы Воронцова.

Он с торжеством положил бумагу перед Багратионом.

— Доносит граф, что прапорщик пятого егерского полка Александр Раевский, сын Николая Николаевича, ораторствуя в присутствии многих офицеров, о графе Воронцове так отозвался: англичанин, а если поскрести хорошо, то и татарин, но где же русекый? И этим многая стоявших кругом офицеров в открытый смех привел.

— Ха-ха-ха! — весело рассмеялся и Ермолов.

Сен-При пожал плечами.

— Я хотел бы занять веселости у вашего превосходительства, — сказал он, — ибо в происшествии этом мало вижу смешного. Невозможно прапорщику над генералом куражиться. А коли случилось, поплатиться должен, дабы дисциплина ущерб не несла. Так я сужу.

Помолчав, он продолжал, обращаясь уже только к Багратиону:

— Представляя рапорт графа Воронцова на усмотрение вашего сиятельства, я как шеф пятого егерского полка, где Раевский младшим офицером состоит, и свое присоединяю мнение: до выступления полка в поход прапорщику на полковой гауптвахте находиться, а затем в продолжение трех переходов идти за полковым ящиком. Последнее — для того, чтобы общее внимание господ офицеров на проступок и взыскание обращено было. Такому мнению моему прошу у вашего сиятельства полной анпробации.

И Сен-При выжидающе прищурил глаза.

— Бесподобно, граф, — сказал Ермолов, — а главное, умно очень. Давно надо было бы Раевского приструнить.

Он протянул Багратиону перо. Но князь Петр Иванович покачал головой.

— Дожили мы до того, что ум человеческий самой обыкновенной стал вещью. И куда чаще, чем иное что, встречается. Граф Михайла — ума палата. Да и Раевского сын, как видно, в профессоры метит. Вас, тезка, незадаром патером Грубером именуют. Граф Эммануил Фраппевич со всей Европы ума набрал. Все умны. И па вес золота остались дурни. А из них я первый.

Он взял перо и перечеркнул рапорт Воронцова крест-накрест.

— Не могу апробовать. Может, и надо, а не могу. С графом Михайлой о сатисфакции¹ сам столкуюсь. С Николаем Николаичем тоже, дабы мудреного своего выкормка отечески научил. И — довольно! Больше о деле этом знать ничего не желаю! А вот, что за мелочью этой нужнейшее забываем, худо. Тезка любезный, слезно прошу вас, ради бога, что-нибудь делайте. Ратников стоняйте, очень на разные послуги пригодны будут, ежели всех строевых в строй взять. В Калугу пишите, там Милорадович много рекрут собрал. Приказывайте, чтобы сюда их сколь можно быстрее вел. В Москву графу Растопчину пишите, нусть там ополчение сбивает. От крестьян требуйте, чтобы знать давали, где неприятель. Делайте же! Нижайше прошу, делайте что-нибудь!

* *
*

Давление обстоятельств было таково, что 26 июля Барклай созвал военный совет для обсуждения вопроса о немедленном наступлении. Сам Михаил Богданович в обсуждении этого вопроса нисколько не нуждался. Крайняя опасность наступательных операций была ему совершенно ясна, но он хотел придать делу такой вид, при котором никто не мог бы сказать, что главнокомандующий не принимает в расчет мнений своих генералов. Мнения эти также были ему очень хорошо известны, настолько хорошо, что он почти и не слушал того, что говорили генералы. Барклай сидел молча, с бледным лицом и полузакрытыми глазами, боком к окну, за которым в широкой картине, слегка затемненной постепенно находившимися на небо тучами, лежали город и Днепр. Яркий солнечный день медленно заволакивался печальной сумеречностью непогодливого вечера. В кабинет внесли свечи. По

¹ Удовлетворение.

так как было еще достаточно светло, огни их казались ненастоящими и странным образом напоминали панихиду. Багратион приказал потушить свечи.

— В Поречье французов мало, — говорил Ермолов, — и в Велиже тоже. В Сураже один принц Евгений со своим корпусом. В Рудне Мюрат с кавалерией, а пехоты нет. Даву к Орше еле движется. Бонапарт с гвардией своей все еще в Витебске. Войска французские на огромном пространстве разбросаны. Нападения нашего они ждать не могут. Чтобы соединиться для отпора, надобно им по меньшей мере трое суток. А дальние и вовсе не успеют в дело. Мы же в двое суток среди неприятеля быть можем. Трудно и желать для атаки более подходящего времени. По мнению моему, все, решительно все успеху нашему благоприятствует. Сто тридцать тысяч русских, с любовью к отечеству в сердце, с жаждой мщения в груди...

Сен-При вполголоса поддакнул:

— *L'armée ne demande rien tant que de se trouver face en face avec leurs ennemis*¹.

Командир 6-го пехотного корпуса, простодушный, низенький, круглолицый и краснощекий генерал-от-инфантерии Дохтуров зашевелился на стуле. Этот генерал и думал и говорил всегда как-то неряшливо, кое-как.

— За себя поручусь... то есть не за себя, за войска свои... И за себя!.. Умрем! Чувства... что ж о них? Надо в бой итти! Сакремент!

Атаман Платов тоже был малоречив — не хитрил, не икал, а сказал просто:

— Меня что спрашивать? Под Измаилом на совете Суворов спросил. Я бригадиром еще был, младший в чипе находился. Потому первый отвечал: «Штурмовать!» Разве иное что ныне произнесу?

В отличие от всех подобных совещаний, сегодняшней совет обещал быть единогласным. Споров не было, да и не могло быть. И Барклай не спорил. Только, ощупывая здоровой рукой ни с того, ни с сего занывшую раненую, проговорил:

— Следовало бы несколько больше точных сведений о неприятеле иметь, чем передовые посты наши и разведчики дать могут.

Багратион вспыхнул. Черные дуги его бровей прыгнули кверху.

— Неужто для того, чтобы бить Даву, надобно сперва взять в плен Бонапарта? Никто ведь, окромля господина Бо-

¹ Армия жаждет сойтись со своими врагами (франц.).

напарта, не сможет сообщить нам всего, что желательно Михайле Богданычу знать. А так как Бонапарт в плен нам не дастся, то неужто же так никогда и не обратимся мы против Даву?

Многие генералы рассмеялись. Особенно громок и откровенен был сильный хохот цесаревича Константина Павловича. Схватив со стола печатное расписание войск обеих армий, он принялся обнюхивать его, с ребяческой дерзостью подмигивая в сторону министра.

— Наступать, — повелительно проговорил Багратион, — наступать без колебаний! Осторожность? Нужна и она. На сих днях армия моя укомплектовалась семью батальонами. Потому предлагаю для наблюдения за дорогой из Орши к Смоленску отрядить к городу Красному двадцать седьмую пехотную дивизию генерала Неверовского. Правду сказать, дивизия вся из новобранцев и восемнадцатилетних прапорщиков составлена. Но при надобности костыми ляжет, а с места не сойдет. Это для осторожности, а для наступления...

В сутолоке бесконечных дел, среди суеты распоряжений и споров князю Петру Ивановичу некогда было поглубже заглянуть в себя. И сейчас, вспомнив об осторожности и предложив выдвинуть на левый берег Днепра дивизию Неверовского, он ограничивался этим. Пылкая решительность и свобода от ответственности увлекали его вперед, в атаку на Даву, а может быть, и на самого Наполеона. Но раньше, ведя свою армию к Смоленску, один-на-один с напиравшими французскими корпусами, он действовал иначе. Тогда он ловко пугал карты неприятеля и, ускользая, как змея, в конце концов вырвался из его лап без генерального боя. Тогда он был осторожен. Теперь же, предлагая выставить для наблюдения за Оршанской дорогой дивизию Неверовского, он делал это, строго говоря, не столько потому, что считал необходимым, сколько для того, чтобы обезоружить Барклая в возможных возражениях. Но возражений и не было. Багратион наклонился к уху цесаревича и шепнул острое слово:

— Кажется, ваше высочество, главный враг разбит, остается прикончить другого.

Константин Павлович снова громко и сильно захохотал. Если были среди присутствовавших на совете генералов такие, которые еще верили в полководческий талант Барклая, то его холодное и бездеятельное равнодушие к происходившему должно было убить в них остатки этой веры. Не говоря ни в пользу наступления, ни за дальнейшее уклонение от боя, не споря и не вмешиваясь в рассуждения генералов,

Михаил Богданович глядел в окно. Днепр был поблизости еще светел, как ясный полдень, но выше города серел, как ненастный рассвет. Погода ломалась — дождь быстро надвигался оттуда, где так зловеще серел Днепр. Итак, наступление! Его неудача представлялась Барклаю почти несомненной. Но хуже всего было то, что даже успех движения вперед не мог бы дать совершенно ничего. Барклай был уверен, что Наполеон со своими главными силами обязательно предпримет обход Смоленска через Днепр и именно там, откуда грозило сейчас городу внезапное нападение. Если Наполеон это сделает, беда, погибнет Смоленск, а следом за ним покинувшая его армия. Наступление — самоубийство. Оставалось одно: делать вид, будто оно предпринимается. Барклай тихонько вздохнул и поднялся с кресла.

— Благодарю вас, мои господа! Единоголосно решено наступление. Приказ о том не замедлит. Ныне в ночь обе армии имеют выступить из Смоленска на селение Рудню для генеральной встречи с неприятелем. Движение — тремя колоннами. Первая армия — две колонны. Вторая армия — колонна. Моя главная квартира завтра — в деревне Приказ-Выдра. Вам, князь Петр Иванович, рекомендую на предмет сей селение Катань.

По кабинету пронесся радостный гул. Лица генералов сияли. Цесаревич обнимал Багратиона. От волнения его губы дрожали. Один лишь Барклай сохранял свой всегдашний спокойный, почти равнодушный вид. Он медленно протянул руку к окну. Все головы повернулись туда же. Небо и воздух над городом приняли цвет мутной воды. Мелкий дождь дробно стучал в оконную раму. Ненастные сумерки окутали Смоленск.

— Господин генерал-квартирмейстер! Ночью дороги распустанятся от дождя. Беретесь ли вы провести войска на Рудню?

Толю казалось, что он отлично понимал скрытый смысл действий Барклая. Любуясь удивительным присутствием духа в этом человеке, он, вытянувшись, отвечал:

— Берусь провести в любую непогоду, ваше высокопревосходительство!

— Очень хорошо! Особливо благодарен я генералу-от-инфантерии князю Багратиону за весьма полезное предложение его выставить в наблюдательных целях на левом берегу Днепра двадцать седьмую исхотную дивизию. От себя добавлю: движение наше на Рудню продолжаться будет на три перехода. Коль скоро неприятель на пространстве этом не

обнаружится и встречи не произойдет, тем и движение вперед прекратится.

«Вот где зарыта собака!» подумал Толь.

Главнокомандующий холодно поклонился.

ГЛАВА XIX

Первая армия наступала к Рудне двумя колоннами, а слева от нее шла Вторая вдоль днепровского берега на селение Катань и по большой Пореченской дороге. С самого начала войны не было в войсках такого живого и бодрого духа, как в эту дождливую, туманную и слякотную ночь. Непроглядная тьма и пронзительный ветер, разносивший повсюду косые полосы холодной водяной россыпи, никого не смущали. Дождь хлестал, а солдаты улыбались. Ветер выл, а они перебрасывались веселыми прибаутками. Войска действительно жаждали встречи с врагом и рвались в бой.

27 июля за один переход до Рудни обе армии остановились. Дневка? Зачем? Чтобы дать французам день для соединения их сил? В главных квартирах водится немало злодеев. Что, если Наполеон узнает о предприятии? Странно, очень странно! Может быть, у генерала Барклая созрел какой-нибудь новый план наступательных действий? Но к чему новый план, когда покамест все благоприятствовало осуществлению старого. Только что получилось известие о том, что атаман Платов наголову разбил авангард Нея — шесть полков французской кавалерии под начальством генерала Себастиани. Случилось это у деревни Инково, Молево Болото тож. Платов гнал французоз до Лешни, доскакал даже и до Рудни и видел, что она пуста. Появились пленные французы — один полковник, семь обер-офицеров и три сотни солдат. Пленные единогласно показывали, что французские начальники не знают о наступлении русских и не готовы к встрече. Дневка еще ничего не испортила, однако она была вредна и опасна.

Получив приказание остановить наступление, Багратион пришел в бешенство и сейчас же начал отправлять к Барклаю ординарцев и адъютантов с письмами и записками. Что было в них, никто не знал, но, наверно, Барклаю было очень не по себе, когда он читал их. Ответы главнокомандующего были странные. В селении Приказ-Выдра, где он остановился, плохая вода и дурные сообщения, поэтому он переводит свою главную квартиру в деревню Моштинки, за восемнадцать верст от Смоленска по Пореченской дороге. Получены сведения о приближении громадных

неприятельских сил. Они появились уже у Поречья, на правом фланге Первой армии, а также будто бы недалеко от Катани, чуть ли не рядом со Второй армией.

— Что же из этого? — спрашивали друг друга солдаты и офицеры. — Ведь Платов-то не побоялся... Ведь мы же и идem бить французов, сколько ни есть их.

Появление французов не могло быть причиной остановки движения, это был просто наудачу выбранный предлог. Таким предлогом могли бы служить и дождь и ветер, дувший в лицо. Барклай выбрал французов.

— Ахти, господи! Да каков же наш главнокомандующий! Это... это Фабий Медлитель¹, чорт его съешь!

Словцо, сказанное на долгом и скучном биваке, вмиг облетело полки.

— Фабий Кунктатор... Барклай — Фабий Кунктатор...

Иначе Барклая теперь уже не называли. Немногие знали, что означает это имя и даже что это за имя. По в чуждых звуках его чулось что-то оскорбительное и насмешливо-недоброе. И к Барклаю имя это прилагалось просто как бранное. Попрежнему оставалась одна только надежда: Багратион. Что касается самого князя Петра Ивановича, в колебаниях и неопределенности Барклаевых действий он снова видел ненавистную ему черту: осторожность, от которой меньше шага до трусости. Целый день он метался по своему шалашу в тоске и смертельной досаде. Вся главная квартира Второй армии собиралась любоваться его смелым гневом и сочувствовать пылкой ярости. Нет, невозможно полагаться на Фабия! Нельзя доверять его нечленораздельным отпискам! У страха глаза велики. Да и не тот у Барклая глаз, что у Багратиона. И князь Петр Иванович решился выяснить, чего именно боится Барклай. А для этого приказал немедленно сформировать легкий отряд из двух батальонов Смоленского пехотного полка и нескольких эскадронов конницы и отправить его в ночной поиск за Катань.

Уже смеркалось, когда Багратион вышел проводить ухивший в экспедицию отряд. Дождь усиливался. Земля становилась все хлипче и вязче. Но люди глядели весело. У лошадей был сытый вид, саквы, полные овса, тяжело покачивались у седел.

— Мундштучь! Садись! Глаза налево, по четыре направо заезжай, — ма-арш! М-а-арш!

¹ Фабий Медлитель (Кунктатор) — древнеримский полководец, известный медлительностью своих действий.

— С богом! — сказал Багратион. — Ночь спать не буду, други, вас поджидаячи!

**

До Катанского леса шли без предосторожностей. Живо раздавался легкий топот наскаканных коней, бойко звенел людской говор, позвякивали гусарские сабли и мерцали в темноте огоньки офицерских трубок. В лесу надо было быть осторожнее. Проводники, которые вели отряд, говорили, что вчера земляки их, схавшие в Смоленск, видели по ту сторону засеки французов. В надежности проводников сомневаться не приходилось. Это были три крестьянина из деревни Росасны, один в белых портах, другой в казмировых, а третий в ямской поярковой шляпе, — три русака, честных, смысленых и смелых до отчаянности. Никакой шум не выдает так предательски ночного движения войска, как человеческий голос. Да что голос — чириканье куличка слышно бывает по ночам за версту.

— Сабли под ляжки! — скомандовал подполковник Давыдов своим гусарам. — Молчать, ребята, ни чичирк!

И стало в лесу тихо-тихо. Ни сучок не треснет, ни листочек не прошелестит. Надо было иметь звериное ухо, чтобы услышать, как кони пошевеливали удилами. Лес редел, и поляна открывалась за поляной — верный знак, что близка опушка.

Гусар Циома был смешлив от природы. Иной раз, когда кругом и не было никого и смешного ничего отнюдь не происходило, вдруг он вскакивал с места и, силясь удержаться от хохота, начинал хрипеть, шипеть, как старые стенные часы перед боем, плевать и так громко кашлять, что по соседству вздрагивали и люди и лошади.

— А ты ж, Циома, забыв, я колысь давав тобі хлиба, — склоняясь с седла, прошептал товарищ-гусар, — а ты тепер дай мени трошки сала.

Эта нехитрая шутка чуть не опрокинула веселого гиганта наземь. Циома прыснул, зафыркал, и громовое эхо его хохота раскатилось по всему лесу, дробясь и повторяясь в тысяче подголосков. Давыдов случился близко.

— Лови, бестия!

Над Циомой сверкнули ножи подполковничьей сабли. Хр-рик! Удар пришелся по шее. Да какой удар! Будь гусар под кинжалом не жаль бы, а то ведь так, ни за что... Но дело оказалось непоправимым. На опушке взыграла тревога. Заревел горн. И через минуту послышался тяжелый ход конницы. Впереди скакали офицеры, за ними трубачи. Эскадрон французских кирасир в белых шинелях и мутно

поблескивавших касках вырос перед гусарами Давыдова словно из-под земли. Конь-нёук встал под Циомой на дыбы. Смешливый великан выхватил саблю. Кругом него уже звенели клинки и гремели пистолетные выстрелы. Рубились лихо. Коли сек гусар по черепу, так до самых бровей; по плечу — так до пояса.

Давыдов чортом вертелся в этом аду...

**
*

Казачи и пехота выходили к опушке с другой стороны. Среди них не было Циомы, и потому им удалось подойти к французскому биваку без тревоги и насесть на него, как снег на голову. Пока гусары справлялись с кирасирами, пехота крушила французский обоз, а казаки рыскали по лагерю, добывая трусливых. Что это был за лагерь и чей обоз? Выяснилось это самым необыкновенным образом. Донской урядник Кузьма Ворожейкин и рядовой Смоленского пехотного полка Агей Сватиков никогда до сих пор не встречали друг друга. Судьба впервые столкнула их в эту ночь под огромной сосной, огороженной плетневым забором, у большой и роскошной коляски с поднятым верхом. И случилось так, что одновременно с двух разных сторон заглянули они в кузов этой коляски. То, что они увидели там, было в высшей степени интересно и важно. В экипаже прятался французский офицер. На лице его явственно обозначались отчаяние и жестокий страх. Дрожаящая рука сжимала огромный пистолет. Урядник и солдат, не раздумывая, полезли на француза. Но он был силен и ловок. Сперва грохнул выстрел, а затем тяжелая, налитая свинцом рукоятка еще дымившегося пистолета просвистела мимо головы Ворожейкина. Сватиков охнул и откинулся навзничь. Однако Кузьма был цел. Крепко держа француза обеими руками за талию, ломая и коверкая своего врага, он хрипел:

— Вот тебе, вот тебе, пащенок!

Давыдов еще издали заметил танцовавшую на месте коляску и подскочил, пораженный этим явлением. Судьба француза уже решилась, так как Ворожейкин сидел на нем верхом и ловко опутывал арканом. Но пленник все-таки делал кое-какие усилия, чтобы стряхнуть с себя волосатого наездника.

— Rendez-vous! — сказал ему Давыдов. — Vous êtes notre prisonnier! ¹

¹ Сдавайтесь! Вы наш пленник! (франц.)

— Pardon! ¹ — прохрипел пленник.

Теперь он стоял, трясущийся и бледный, с арканом на шее и руках, а казаки вязали ему ноги. Ворожейкин вытаскивал из коляски какие-то портфели и шкатулки с гербами. Три росасишских крестьянина уносили окровавленного Сватикова.

Утро следующего дня было солнечное, светлое и радостное. Спрятавшиеся в траве птицы наполняли воздух своими звонкими голосами, и казалось, что песни ие они, а поля. Возле палатки генерала Васильчикова еще не потух костер. Десятка полтора кавалерийских офицеров собрались здесь вокруг Давыдова, всего час назад вернувшегося из экспедиции под Катанью. Подполковник не успел еще умыться и привести себя в порядок. Усатое лицо его было так закопчено пороховым дымом, что казалось чумазым. Офицеры глядели на него с завистью.

— Всю жизнь торчу среди битв, как казачья пика, — весело и бойко рассказывал он о происшествиях минувшей ночи, — а дела такого не встречал. Лесом шли — дров не видали, а как наскочили на обоз маршальской квартиры, у меня в пятках похолодело. Бог мой, что поднялось: и смутно, и черно, и курно! Но... попробовала-таки сабля живого мяса!..

Все слушали, затаив дыхание.

— А как же ты, любезный Денис, герцогскую коляску полонил? — спросил кто-то.

Давыдов расхохотался.

— Не я, казак из конвойных Ларивона Васильевича, именем Ворожейкин.

Оглянувшись и завидев недалеко Кузьму, он крикнул: — Эй, брат, подавай сюда!

Офицеры набросились на урядника: расскажи да расскажи, как полонил коляску маршала Жюно. Ворожейкин никогда не попадал в подобные переделки. И лестно было ему этакое внимание, и смущен он был им немало. Рассказать! Да ведь не дома это у себя, за липовым столом, в добром кругу станичных ~~шабров~~² и сродичей замешать на пеннистом цымлянском булье с небылью. Эх! Долго повертывался он во все стороны, недоуменно разводя руками, и наконец вымолвил с явственной тоской в маленьких острых глазках и голосе:

¹ Ивинните (франц.). В данном случае употреблено в смысле: сдююсь!

² Соседей.

— Да что ж, господа ваши высокие благородия! Чать, я не архитектур... Сделать — сделаю, а рассказать рази могу я!

Слова эти были встречены взрывом дружного хохота. Урядника хлопали по плечам, совали ему в руки рубли и ассигнации. Неожиданный успех ободрил Кузьму.

— Наше дело такое, — пустился он толковать, — как-нибудь с боку урвать, а не то так и стречка дать. С лету падаем, словно ястреба на курей. Зачем туда с ножом, где топор положон? Наше дело такое. Покамест господа гусары секли-резали, мы по задам сквозили. Вот и вижу я: лежит он, будто в люлечке, голову в норку, а сапожки на-показ...

Раздался повый взрыв хохота. И весь рассказ Ворожейкина уже до самого конца сопровождался веселым смехом.

— Но важнее всего, — сказал Давыдов, — что в чемоданах и шкатулках, взятых из коляски Жюно, нужные сыскались бумаги. Сказывал мне генерал, что князь Петр Иванович сразу за них принялся. А среди бумаг — пук прокламаций престранных.

Он вытащил из ташки¹ лист и развернул его.

— Я прихватил одну. Диво!

— Тсс!

— «Немецким быкам, — читал Давыдов. — Быки! Вы маршируете в ногу с солдатами Великой армии. Не отставайте же! Счастье французского оружия зависит от вас. Достаточно ли вы жирны, чтобы стать героями огненной силы и мужества? Вы — первые немецкие быки, вступающие в Россию. За саксонскими быками следуют баварские, вюртембергские, вестфальские, а за этими — итальянские, венгерские и другие. Все они лишь ждут сигнала Великого Скотобоя. Бодрствуйте, быки! Спешите! Скоро весь рогатый скот Европы будет завидовать вашим лаврам. Правда, вы уже не эйлауские и не фридландские быки, но все-таки крови и мяса в вас еще достаточно. Быки! Вы умрете славною смертью! Ваши кожи, переделанные на сапоги и банмаки, еще много послужат людям. Ваши потомки, вспоминая вас, еще долго будут поднимать гордый рев. Кто может отказать вам в глубоком уважении? Генералиссимус Дикий Бык».

Действительно это было что-то до крайности странное.

¹ Гусарская сумка.

— Одно думать можно: хоть и взяли французы себе немцев в союзники, но потешаются над ними жестоко!

Прокламация переходила из рук в руки. Давыдов задумался. Он стоял, опершись о бок чьей-то лошади, и, ударяя пальцем по колечку шпоры всадника, с упорным любопытством следил за тем, как от этих ударов оно шибче вертится и звончей поет. Но мысли его были далеки от того, на что глядел он. Никогда раньше не случилось ему так завлекаться мечтой, как нынче, после славного ночного поиска. «Чего нельзя совершить с двумя сотнями Ворожейкиных. — размышлял он, — ежели снова с ними без перерыву между транспортами и обозами, рекрутскими депо и отсталыми частями противника? Двигаются они по местам, отлично нам известным. Тут-то и вцепиться бы в них, как репейник в бурку. Но нехота не поспекает, конница не всегда выдерживает отпор, артиллерия бьет по воробьям. А все потому, что нужна тут не большая сила, а быстрота малой силы. Каждый набег в отдельности не великим будет сражением, но от множества таких стычек спутаются все французские карты, и останется французская армия без сообщений между корпусами и без провианта. А сведений необходимейших сколько добывалось бы! А утомление врага какое! Ах, надобно к войне регулярной приложить войну... партизанскую!»

Давыдов так далеко занесся мыслями, что и не заметил, как возвращавшийся от главнокомандующего генерал Васильчиков подошел к офицерскому кругу. Сюртук его был распахнут. Молодецкая грудь вольно дышала под снежно-белым пикейным жилетом. Глаза сияли. Вишневый румянец горел на круглых щеках. И весь барственный вид его говорил о том, что он доволен. Баграцион только что горячо благодарил его за ночной поиск. Правда, добытые сведения подтверждали основательность опасений генерала Барклая, но уж очень хорошо было самое дело! Васильчиков потянул Давыдова за ментик.

— Полно грезить, любезный полковник! Не дельное задумали вы. Скажу откровенно: не решился я даже, по просьбе вашей, князю о том и доложить. Партизанство! Ёй-же-ей, пустое! Вы гусар, а казачьим напитаны духом. То ли дело стоять в чистом поле грудью, в божий день, хоть под ядрами и пулями да в атаку ходить! А это что ж?

И он повернулся, чтобы идти к себе в палатку, улыбающийся, горделиво-прямой. Назовите лунатика по имени, и он упадет. Подобное произошло и с Давыдовым. Будто вдруг сорвался он с огромной высоты блестящих своих

замыслов в бедную, будничную сферу серых генеральских слов. «Глупец!» подумал он о Васильчикове и проговорил громко:

— Пожалуй, пусть и не докладывает князю. Но знает меня князь еще с седьмого года и по Турции. Сам дойду!

ГЛАВА XX

Наполеон решил вывернуть наизнанку весь ход своего наступления на Россию. Смысл нового маневра заключался в том, чтобы немедленно оставить Витебск, форсированным маршем выйти с главными силами к селениям Росасне и Хомину, неожиданно перейти там Днепр, а после этого захватить в тылу у Барклая Смоленск. И вот французские войска двинулись от Двины к Днепру. Шли они по таким грязным и топким дорогам, что не только лошади, но и люди тащили на себе артиллерию и обозы. Происходившая от этого задержка очень тревожила Наполеона. Но 27 июля Платов разбил авангард маршала Нея у Молева Болота. Дело это заставило Наполеона предположить, что Барклай изменил свою тактику и сам ищет генерального сражения. Двое суток император ждал атаки русских. Однако ее не было. Тогда он опять двинул все свои войска к Днепру. У Росасны и Хомина собралось около двухсот тысяч человек. 1 августа Наполеон выехал из Витебска. Он почти не спал в дороге, и карета его мчалась вперед, как ураган.

Итак, случилось то самое, чего опасался Барклай, когда делал вид, что соглашается по требованию своих генералов на наступление. Смоленск был бы потерян в эти же первые дни августа, если бы не твердое решение русского главнокомандующего не удаляться от города больше чем на три перехода. Только это и могло спасти Смоленск.

**
*

Росасна торчала на берегу Днепра, за глухим лесом и болотами. Рядом с деревней лежал на боку гнилой, почерневший от времени деревянный господский дом, без окон, дверей и двора, прямо посреди крестьянских огородов. Все было пусто и в доме и в деревне. Не лаяли собаки, не кричали петухи, не мычали телки и коровы — будто вымерла Росасна. Зато за несколько сот сажений от околицы, на реке, кипела жизнь. Оба берега были густо покрыты французскими войсками. Горы запасных понтонов, приготовленных для переправы бочек и версвочных бухт громозди-

лись повсюду. Пешие части уже шагали по мостам; артиллерию спускали к реке на канатах; конница переправлялась вплавь. Наполеон спешил. Он стоял возле своей маленькой кареты, сверкавшей лаком и тонкой позолотой, с подозрительной трубкой у глаз. Ветер развеивал вокруг его колен длинные полы серой шинели. Кругом толпилось множество свитских генералов и офицеров в расшитых мундирах. Лыственный шопот легкими волнами перебежал по этой толпе. Все шло прекрасно.

Однако это лишь казалось так, будто деревня Росасна совсем опустела. В трехкошней избе, крайней к той стороне, где происходила переправа французских войск, были люди. В углу, за печью, сидел слепой старик и плел из ивовых прутьев корзину. Белые пятна его незрячих глаз да и все худое длиннородное лицо были обращены кверху. Узловатые черные пальцы быстро и точно насаживали на клетку прут к пруту. Изредка он поправлял на лбу ремешок, которым были стянуты кругом головы его желто-зеленые волосы, и вздыхал. Чуткое ухо его прислушивалось к глухому бормотанию солдата, лежавшего на скамье под шинелью.

— Думал я... думал, — бормотал солдат, — что им, та-лагаям, на походе?... Знай, сидят себе в седлах да едут... Ох, выше, ребяташки, невод-то волочите, вишь, рыбина мимо хлещет! Во-во... Едут, а тут тащи на себе ранец... Что-й, думаю, за дело такое? Ан сом! Большуща-ай! На неделю теперь, Фросьюшка, еды нам будет! Слава содетелю! А только вижу я, будь она проклята и гусарская служба! Два ранца соглашусь нести...

Солдат бредил. Под окном раздался осторожный голос: — Эй, слухай! Кто там у вас... дома-та-т?

— Ходи, ходи, Ананьич, — ответил старик, — сейчас зятек придет и друзей приведет...

В избу вошел местный староста, рябой темнолицый мужик с широкой бородой. Перекрестившись на образа, он внимательно поглядел в сторону солдата.

— Плох?

— У последних минут, Ананьич! Ноне к вечерням отойдет. Уж я и шептать пытал и молитвы пел — не берет. Да где ж? У его, любезного, гноище в грудях скопилось, рази вынешь?

— Вот-те и Агей Захарыч Сватиков, — вымолвил староста, — боевой землячок наш! Был — и не станет!

В сенцах застучали сапоги, зашуршали лапты. Дверь скрипнула ипустила в горницу сразу троих мужиков. Это

были те самые крестьяне, которые и в Смоленск успели к приходу туда русских армий и недавно провожали за Катань экспедиционный отряд. Один из них, тот, что носил белые порты, был хозяином избы.

— Ну и дела, — выговорил он, садясь на скамью возле раненого Сватикова, — дела-а-а! Надо быть, ноне же и переправится... Больно спешит!

— Главная причина, куда их теперича леший кинет? — спросила поярковая шляпа.

Сватиков уже не бредил. Он лежал совершенно неподвижно. Только пальцы его еле заметными движениями собирали в мелкие складочки край покрывавшей его шинели. При последних словах шляпы он захрипел тяжело и трудно. Глаза его открылись, и пристальный, как будто удивленный взгляд обошел всех находившихся в избе. В горле Сватикова булькало и свистело. Голова его поднялась с подушки.

— Агей Захарыч! Мил-ай! Уж ты... лежи уж, Христа для!

Слепой старик хоть и не видел, а знал, что делалось в избе.

— Не трожьте его, детушки, — сказал он, — сейчас он за всю жизнь главное молвит! Подошло ему время...

Сватиков действительно хотел говорить. Несколько секунд это ему не удавалось, а потом слабым-слабым, еле слышным голосом он все-таки спросил:

— Где... хранцузы-то?

— Издеса, — хором отвечали мужики, — через Днепр прутся... С самой ночи, краю нет!

Солдат вздрогнул. Бледное лицо его с запавшими в черные круги глазами и острым, как у покойника, носом ожиилось и, кажется, даже порозовело. И голос внезапно окреп.

— Соседушки, — совершенно явственно проговорил он, — родимые! Ведь это они на Смоленск торопятся... его брать хотят... в обход, стало быть, с заду! А как не сведом о том князь наш Петр Иваныч? Ну, и... сгиб Смоленск! А-а-а...

От горя, которое охватило Сватикова при этой мысли, он уже не мог говорить, он только тянул эту хриплую, страшную, полную невыразимого отчаяния ноту:

— А-а-а-а!..

Мужики замерли, молча глядя на солдата. Но испуг и изумление их продолжались недолго. Первым вскочил и заступился хозяин избы.

— Батюшка ты наш, Агей Захарыч! Приставил ты нам голову к плечам! Ведь и впрямь на Смоленск они гонятся... Через Красный — на Смоленск! Что ж теперь? А? Видать, и нам гнать надоть! Князя повестить — главное дело...

— И то! — подтвердил другой. — Расее, чать, все служим!..

— Запрягай, хозявы! — крикнул третий. — Время-то не повторное! Скачем!

Мужики, крестясь и отыскивая рукавицы, кинулись к порогу. Староста хотел было остеречь:

— Не вдруг на гору-то! С поноровочкой!

Но его никто не слушал. И в избе опять остались только слепой старик, Ананьич и Сватиков. Агей лежал, запрокинув голову. На губах его пузырилась бело-розовая пена. Он как-то странно и страшно дышал — не грудью лишь, а и животом и ногами — весь. Пальцы судорожно мяли шинель. Старик подошел к нему, наклонился и, прислушавшись, спросил:

— Кончаешься, раб божий Агей?

Сватиков не ответил. Да он уже и не дышал.

**
*

Уже четверо суток обе русские армии делали трудные и опасные марши. Когда Барклай, оставив движение к Рудне, потянулся 27 июля в сторону от неприятеля, правой ногой, и увел свою армию в село Моцинки, Багратион перешел в Приказ-Выдру и, выставив передовые посты через Лешню и Катань до Днепра, расположился на том самом месте, где до того стоял Барклай. Здесь действительно была дурная вода. Но еще хуже было то, что Михаил Богданович, повидимому, вовсе отказался от намерения атаковать французов в Рудне. Багратион слал к нему записку за запиской, резкие и колкие. Ответы приходили холодные, лаконические и невразумительные.

— Правый фланг... Поречье... Сколько угодно всего, лишь бы не драться, — возмущался князь Петр Иванович, повесить его, Алеша, мало!

Надо было протестовать против такого положения вещей. Требовалась открытая демонстрация. Багратион повел свою армию к Смоленску. Туда же отступал и Барклай. Казалось бы, все кончено. Но 31 июля Багратион получил новый приказ — опять идти к Рудне. Ермолов сообщал дискретно¹, что главнокомандующий успокоился за свой пра-

¹ Под условием сохранения в тайне.

вый фланг и потому хочет действовать. Первая армия выступила, дошла до селения Шеломца и здесь остановилась. 2 августа и Вторая армия осела в деревне Надве. Теперь Багратион бесповоротно убедился в полной никчемности всех планов Барклая. Да, пожалуй, никаких плапов уже и быть не могло. Французы шевелились везде. Движения их корпусов были так рассчитаны, что для общего соединения всех сил почти не требовалось времени. Итак, четыре бесценных дня потеряны самым преступным образом. Скоро Барклай и шагу не сможет ступить без того, чтобы не быть отрезанным от Смоленска. А одному Багратиону, конечно, не под силу защитить город. Простой диверсией к Дорогобужу Наполеон имел возможность вбить мертвый клин между русскими армиями. И в этих-то обстоятельствах обе они, истомленные бесцельными маршами, стояли на месте. Отдельные отряды производили поиски, нигде не открывая неприятеля. А Михаил Богданович писал Багратиону, что наступление вовсе не отменено.

Князь Петр изнывал от досады, ничего не понимая в совершавшемся. Да и никто ничего не понимал. Офицеры кричали:

— Чорт знает, что делается! Бродим туда и сюда и сами не знаем зачем!

Никогда еще с таким единодушием и так ожесточенно не бранили Барклая и никогда так дружно не стояли горой за Багратиона, как теперь. Вдруг Михаил Богданович приехал в лагерь Второй армии.

*
*

Главная квартира Второй армии разместилась в самой Надве, а войска — вокруг. Солдаты живо нарубали веток и настроили шалашей. Высокий берег Днепра, занятый вдоль дороги из Рудни в Смоленск обширным лагерем, потонул в свежей зелени. Отсюда расстились золотые просторы взволнованных легким ветром полей. По просторам этим бежали проселки. Солнце закатывалось, и дали синели. По ружья, составленные в козлы, еще сверкали по всему лагерю. Пехотные солдаты таскали откуда-то солому и прутья. То здесь, то там всплескивались песни, гремела музыка и подыгрывали рожки. Горьковатый дымок бивака носился в воздухе. Как фейерверки, полыхали костры, сложенные из поломанных тележных колес, — какое дерево суше и горит с таким молодецким треском, как это испытанное старье? Везде огни, говор... Но вот взвилась под облака ракета. Заревая труба издали поддала свой томный голос, призывая к покою. Вереницы вороных и рыжих коней весело шли с во-

допоя. Другие стояли у плетней и ржали, приветственно помахивая головами. Барабаны забили «на молитву». Задумчивый свет полного месяца пролился на землю. Прошрое не вспоминается в эти часы, мысли о будущем спокойны, сон крепок, и виденья не тревожат его.

Барклай приехал из Рудни. Князь Петр Иванович встретил его обильным ужином в большом укрытом листвою шалаше. Гостеприимство было у Багратиона в крови. Но он не спал уже несколько ночей. Лицо его пожелтело, он ежился от озноба и с трудом унимал дрожь в челюстях. После ужина генералы вышли на лужайку, окруженную цепью часовых, под открытое небо, к костру. Барклай стал в тени шалаша, заложив за спину здоровую руку, и замер в неподвижности. Сен-При устроился на толстом обрубке дерева и принялся палочкой вычерчивать на траве какие-то гербы и геральдические знаки. Толь с независимым видом прилег у огня и грелся, разгребая шпагой уголья. Багратион быстро ходил по лужайке взад и вперед.

— Что вы наделали, ваше высокопревосходительство, — говорил он, бросая на Барклая откровенно-гневные взгляды, — подумать страх! Был Наполеон в Витебске и о наступлении нашем в мыслях не имел. Войска свои на двести пятьдесят верст растянул. Принц Евгений шел на Поречье, Даву только еще из Могилева выбирался. Что против нас оставалось? Ней и двадцать тысяч Мюратовых в Рудне. Их-то и надо было истребить. Да больше того: мы бы отрезали Наполеона и от прочих корпусов и били бы их все поодиночке. И что ж? Вместо того принялись за маневры — бегать, на месте топтаться. Может, теоретический в том и есть смысл, а по практике не вижу. И что такое, ваше высокопревосходительство, маневры на войне, как не... глупость? Свели все на-нет... Ах, горе!

— Мы дали неприятелю время соединить свои силы, — сказал Сен-При, — но еще не все потеряно. За Рудней лишь десять полков кавалерийских, десять пушек и один полк пехоты. Одно из трех: или французы хотят нас атаковать с той стороны, где не ждем мы их, или тянут, чтобы полностью для атаки собраться, или держать нас намерены здесь против себя, покамест не управятся с Третьей армией Торماسова. Во всех случаях необходимо нам занимать Оршу и Витебск. Если же не сделаем того, Смоленск погиб, и придется нам прямо на Москву идти.

— Запоздали ваши советы, граф, — резко прервал Багратион, — а что не в пору, то худо.

Он остановился перед Барклаем.

— Что же, ваше высокопревосходительство? Дождусь я от вас слова прямого и ясного? Или...

Глаза его так выразительно сверкнули, что несколько встревоженный Толь приподнялся на локте, а Сен-При вскочил с обрубка и вовсе исчез. Лысой голове Барклая стало холодно. Он надел шляпу.

— Французские корпуса, против которых вашему сиятельству и мне предстояло сражаться, — раздался его тихий голос, — сильнее нас. Успех был сомнителен. Сверх того и он не избавил бы нас от противника. А неудача повлекла бы за собой самые большие бедствия...

Багратион сорвал с себя шарф и швырнул его в догорающий костер. Толь с натянутой улыбкой подбросил прутьев в огонь. Наступило долгое молчание.

— Господа, — вдруг раздался из-за шалаша громкий окрик Сен-При, — кажется, все решилось!

Он с мальчишеской резвостью бежал к лужайке и взволнованно размахивал руками, от чего золотой генерал-адъютантский аксельбант развеялся за его правым плечом.

— *J'étais tout à l'heure témoin des sentiments de nos excellents paysans... Et ils nullent dans tout ceci une abnégation d'eux-mêmes qui véritablement admirable...*¹

— Да говорите же по-русски, граф! — в бешенстве крикнул Багратион. — Разве не знаете вы, что не понимаю я болтовни этой...

Сен-При покраснел и с быстрого бега перешел на шаг. Подойдя, он проговорил сухо и вежливо:

— Три крестьянина из деревни Росасны прискакали сюда, чтобы сделать важные сообщения вашему сиятельству. Я сейчас выслушал их. Наполеон — в Росасне, войска его — на левой стороне Днепра и идут на Красный и Смоленск. Кроме того, только что прибыл курьер от генерала Неверовского. Вот пакет с донесением...

Багратион развернул рапорт начальника 27-й дивизии и присел на корточки у костра. Ярко освещенное лицо его с поразительной ясностью отражало смелу возникавших в нем настроений. Неверовский сообщал, что его шеститысячная дивизия атакована кавалерией генералов Груши, Нансути и Монбрена, за которой следует корпус Нся. Бой идет на Смоленской дороге, обсаженной деревьями в четыре ряда. Это пока спасает Неверовского, так как атакую-

¹ Я только что был свидетелем чувств наших прекрасных крестьян... Самоотречение, которое они проявляют в этих обстоятельствах, понятие чудесно... (франц.)

щая его конница вынуждена скакать по обочинам дороги, спотыкаясь на рытвинах. Но она уже сорок раз ходила в атаку, и ее много, очень много... Дивизия потеряла полторы тысячи людей и пушки. Она еще огрызается, как лев, который смертельно ранен. Однако...

Глухой гул канонады долетел с левого берега Днепра, оттуда, где шел сейчас бой. Багратион поднял голову, прислушиваясь. Раскаты орудийного грома усиливались с каждым мгновением.

— Это именно то, — медленно проговорил Барклай, — что я предвидел. Если бы мы ушли от Смоленска дальше, спасти Неверовского было бы нельзя.

Багратион посмотрел на него с ненавистью.

— Неверовского выручу я. Мы все потеряли, кроме Смоленска. Кто будет спасать город?

— Надо подумать, следует ли спасать его. Маневр Наполеона у Росасны еще не конец его предприимчивости. Он может повторить этот маневр, перейдя Днепр в десяти верстах выше Смоленска. И тогда окажется в тылу у обеих армий. Надо ли рисковать?

— Надо! Необходимо! Эй, адъютантов ко мне!

Толь уже не лежал, а стоял возле костра. И костер горел ярко. Багратион наскоро писал карандашом приказания. 7-й корпус генерала Раевского шел сзади Второй армии и потому был ближе к Смоленску, а следовательно, и к Неверовскому, чем она.

— Объясни, Алеша, Николаю Николаичу все, — говорил Багратион Олферьеву, — останови седьмой корпус и назад поверни. Пусть идет... Нет, пускай опроретью бежит через Смоленск на выручку Неверовского. Это первое. А второе, так ему скажи: города без боя не отдадим. Я клялся в том смоляннам бедным и исполню! Армия следом идет...

И действительно, над лагерем уже вились сигнальные ракеты и в разных концах его барабаны били тревогу. За Днепром гроыхало, как в грозу.

ГЛАВА XXI

Войска Второй армии шли к Смоленску всю ночь. Олферьев обгонял их, меняя устававших коней в кавалерийских частях. Утро встало под серым небом — тусклое и какое-то мертвое. Но земля была зелена, как свежеевыкрашенный зарядный ящик. Олферьев смотрел на шагавшие по дороге и полю длинные шеренги пехоты и думал: «Как велик наш солдат! Он несет у себя за спиной все свои

нужды, желания, потребности и даже фантазии, весь свой человеческий эгоизм да еще и десять дней существования вперед... А уж там будь что будет! Величие этих людей в том, что будущее каждого из них заключено в бедном солдатском ранце и простирается это будущее лишь до первого сигнала «тревога!» От этих мыслей сердце Олферьева радостно и гордо билось. «Я — свой среди них! Какое счастье! Но свой ли?» Он мчался мимо крупной размашистой рысью, и пыль из-под копыт его коня темным облаком вилась над солдатскими рядами. Крестьяне толпами выходили навстречу войскам с иконами и хлебом-солью. Бабы выносили с собой грудных младенцев. Пыльные, усталые, покрытые черным потом, солдаты кричали им:

— Эй, тетки, бабку-то для француза не забыли истопить?

Бабы, смеючись, унимали плакавших ребят.

— Истопили, родимые! А уж вы загоните его, проклятого, в жару-то!

Олферьев смотрел и слушал с завистью. «В огненном бою, в крови, в смерти за общую родину сыщутся для меня дружба и товарищество с этими людьми. Все мы — русские и тем — свои!»

**

Солдаты чувствовали, что все делалось не так, как надо было бы делать, и что происходило с ними что-то такое, чего не должно происходить с русскими солдатами. «Маневры» под Рудней, трудные, форсированные марши без видимой цели и понятного смысла отяготили солдатские души скверными настроениями. Даже правофланговый карабинер Трегуляев рассыпался теперь не в веселых, а в желчных и злых прибаутках.

— То стоим, мух на голощеке кормим, — говорил он, — то вдруг вспряли, понеслись... Поехала кума неведомо куда... Буй да Кадуи чорт три года искал...

И он договаривал шепотом:

— Так и наш хромой чорт мечется... Леший его задави! Вовсе людей затаскал!

— А ты не чудись, не блазнись, — строго останавливал его фельдфебель Брезгун и показывал на Старынчука, шедшего по огромному своему росту в первой шеренге, по казавшегося из-за опущенной головы много ниже соседей, — вон на кого глянь! Ему, братец, всех тяжелее, а молчит!

Действительно, Старынчуку было всех тяжелее. Уж как ждал он боя, когда выступала дивизия на Рудню! Как

молил пана бога, чтобы дал ему пан бог куражу сразу убить сто французов и тут же получить Георгия! Ничего не вышло... Все попрежнему... А кто виноват? Старыничук молчал. Но все солдатские разговоры кругом него сводились к одному: на чем свет стоит ругали Баркляя. И Старыничук чувствовал, как в душе его начинала скреститься жестокая злоба к этому худому плешивому хромцу с мертвым лицом. Как раньше тоска по дому, так теперь тоска по Георгию становилась в Старыничуке болезнью. Когда на мощной груди Брезгуна позвякивали его кресты, Старыничук вздрагивал, и ему хотелось застонать от тоски.

— Влас, он ведь такой, — говорил Трегуляев, — он, Иван Иванович, молчит-молчит да и молвит. Егория давно бы оттяпал, кабы не Болтай... кабы не болтались мы по пустому... Эх!

Варварушка,
Сударушка,
Не гневайся на меня,
Что я не был у тебя...

Карабинерная рота проходила мимо высоких загородей только что поспевшего гороха. Трегуляев так ловко протянул боком по кудрявым мелколистным кустам, что рукав его, словно сам собой, наполнился пухлыми сладкими стручками. Крестьяне, вышедшие встречать войска, сердобольно потакали солдатскому баловству:

— Берите, батюшки, берите, родные, чтобы хранцу не пришлось! Рвите, батюшки, кушайте на здоровье!

— Спасибо, добрые люди, — благодарил Трегуляев, — кабы не позволили, так не посмел бы и тронуть...

Солдаты смеялись. Один только Старыничук был серьезен и мрачен.

**
*

Полковник князь Кантакузен был крайне недоволен ходом вещей. Когда Полчанинов прискакал к нему с приказанием начальника дивизии повертывать бригаду обратно к Смоленску, он разразился градом проклятий и упреков главным образом по адресу Баркляя, а отчасти и принца.

— Заморят они нас с тобой, почтеннейший, — грозно восклицал он, — и солдатешек-ребятушек заморят! То им, как видно, и надобно! Бог нас ими наказывает!

Полчанинов разложил на ушах своей Сестрицы карту окрестностей Смоленска. Кантакузен наклонился с седла, красный от гнева, тяжело дыша.

— Покажи-ка, золотой, на карте, куда мы со вчерашнего перешли?

— На карте, ваше сиятельство, все там же стоим. Карта у меня — четырнадцать верст в дюйме.

Кантакузен с сердцем глянул на прапорщика.

— Ну вот... Хорош квартирмейстерский офицер... Все там же стоим! Да ведь мы же, почтеннейший, переходили с места на место?

— Так точно, ваше сиятельство, переходили...

— Значит, согласен ты со мной, почтеннейший?

— Согласен.

— Вот и покажи мне на карте своей, куда мы перешли.

— А на карте все там же стоим.

Кантакузен с ожесточением плюнул.

— Эх, золотой! Пишешь ты отменно хорошо, а по делу никак с тобой столкнуться нельзя! Вон господин офицер скачет... Это, кажись, князя Петра Ивановича адъютант. Сейчас все и узнаем досконально. Господин офицер! Господин офицер!

Но у Олферьева не было времени для остановок и разговоров. Он только придержал лошадь и прокричал Кантакузену:

— Французы наступают на Смоленск... Еду, князь, к генералу Раевскому. Седьмой корпус назначен к защите...

— Седьмой корпус... — повторил князь Григорий Матвеевич, — седьмой корпус... Эко счастье им привалило! И опять не мы!

«Опять не мы!» Слова эти вмиг разнеслись по бригаде. И когда докатились до Старынчука, он так крепко сжал кулаки, что мослы в пальцах захрустели...

**

Дивизии 7-го корпуса двигались к Надве в таком порядке: за пехотными полками первой бригады патронные ящики и легкие артиллерийские роты с запасными лафетами и кузницами на особых дрогах; потом пехота и легкая артиллерия второй бригады; затем егерские полки третьей бригады с тяжелыми батарейными ротами; и наконец кавалерия и конная артиллерия.

Раевский еле успел отойти от Смоленска, как его уже нагнал адъютант генерала Неверовского, летевший к Багратиону с известием о бое 27-й дивизии под Красным. Осведомившись от проезжего адъютанта о положении дел, Николай Николаевич сразу понял, что именно ему с его корпусом придется защищать Смоленск от главных сил наполеоновской армии. И, поняв это, остановил корпус. Долго ли предстояло ему грудью отбивать нагниск бесчис-

ленных французских войск? Этого Раевский не знал. Обе русские армии находились в сорока верстах от Смоленска. Подкрепление раньше следующей ночи едва ли могло поспеть. А ведь задача была не только в том, чтобы отстоять древний русский город. Главное — не допустить, чтобы Наполеон отрезал армии Барклая и Багратиона от Москвы. Смоленск — ключ к Москве. Спасая Смоленск, Раевский спасал обе русские армии и столицу России. Генерал поднял седеющую голову и тихому бледносерому утреннему небу и зачем-то потрогал свои пышные баки.

— Что ж, — почти громко сказал он, — если так, то и погибнуть не жаль!

Уже около часа корпус стоял на месте.

— Чего мы ждем, батюшка? — спрашивали Раевского сыновья.

Вероятно, по глуховатости своей он не слышал этих вопросов, так как молчал, приковавшись глазами к зрительной трубке. Было часов пять утра, когда Олферьев на сером коне, покрытом клочьями белой пены, подскакал к генералу, держа два пальца правой руки у шляпы, а в левой пакет. Наконец-то!

— От главнокомандующего Второй армии князя Багратиона вашему превосходительству!

Николай Николаевич разорвал пакет, и перед близорукими глазами его запрыгали написанные знакомой рукой строки:

«Друг мой, я не иду, а бегу. Желал бы крылья иметь, чтобы поскорей соединиться с тобою. Держись! Бог тебе помощник!»

Больше в повелении не было ничего. Да и что бы еще надо было? Раевский быстро засунул цыдулку за левую пройму белого жилета, по обыкновению надетого под его сюртуком. Нет, ни громадность, ни чудовищное превосходство сил врага не смущали Раевского. Из-за недалекого холма солнце раскидывало по небу розовый веер яркого блеска. Николай Николаевич обнял Олферьева. И положил руки на плечи своих сыновей.

— Здравствуй, славный день Смоленской битвы!

7-й корпус кинулся назад...

**

Чтобы поспеть на выручку Неверовского, Раевский должен был пройти через Смоленск и выйти по городскому Днспровскому мосту на Красненскую дорогу. Однако в городе от казаков и какого-то раненого трубача он узнал, что

27-я дивизия почти уничтожена и остатки ее, выскользнув из боя, спешат к Смоленску. Вскоре прискакал и сам генерал Неверовский. Это был ражий мужчина с решительным грубо-красивым лицом. На нем не было ни шляпы, ни эполет — все сдул картечный вихрь. Сюртук его был обсыпан пылью и забрызган кровью. Но ни в физиономии, ни в повадках нельзя было заметить ни малейших признаков волнения.

— Да, — спокойно басил он, — потерял пушки... Три четверти всех людей потерял... Да зато на целый день задержал мерзавцев! Не забудет меня Россия!

Как удалось ему сделать это, Неверовский не рассказывал. Повидимому, он тоже был «не архитектор». По остатки своей славной молодой дивизии все-таки привел, и притом в самом стройном, почти безупречном порядке. Даже нескольких пленных умудрился притащить и среди них Мюртова адъютанта.

Французы еще не спалились с ночлега. Биваки их были за восемь верст от города. Пленный адъютант Неаполитанского короля утверждал, что при армии сам Наполеон и что сегодня, в день своего рождения, он непременно атакует Смоленск. Раевский с корпусным штабом, генералы Паскевич и Неверовский с адъютантами обходили городские укрепления. Стены из белого камня были выстроены еще при Борисе Годунове и тогда же опоясаны сухим рвом. Общая длина их была около пяти верст, высота — двадцать пять футов, а толщина — десять. Тридцать старинных башен и пятиугольный насыпной кронверк, с польских времен именовавшийся Королевским бастионом¹, дополняли крепостной профиль. В стенах были пробиты ворота — Днепровские к северу, Никольские к востоку и Мстиславльские на юг. С Королевского бастиона отчетливо виднелись оба берега Днепра и соединявший их мост. Именно от этого моста начиналась Большая Московская дорога на Вязьму и Можайск.

На бастионе стоял, насунив брови и опершись на саблю, высокий и холодный, как мавзолейная статуя, седой генерал. На нем была шляпа с белым султаном и общекавалерийский мундир с серыми рейтузами. При степенной и даже важной наружности было что-то чрезмерно ласковое в его маленьких глазках, когда, щелкая шпорами, он здоровался с Николаем Николаевичем.

— Да, я здесь, в Смоленске, любезный мой генерал, —

¹ Находился между Красненским и Мстиславльским предместьями.

говорил он очень быстро по-французски, крепко и ясно чеканя окончания слов, как это делают обыкновенно немцы, — я всегда там, где России грозит опасность. Но — в полуотставке, без дела... Генерал на случай!

Раевский был рад этой встрече. Он не знал, что генерал-от-кавалерии барон Беннигсен, бывший главнокомандующий русской армии в войну 1807 года, здесь, в городе. Никто никогда не признавал за Беннигсеном крупных военных талантов, но никто также не сомневался в его большой опытности. Николай Николаевич наскоро рассказал ему об обстоятельствах и попросил совета. Беннигсен отвечал с готовностью — он был очень разговорчив.

— Ах, любезный мой генерал, обстоятельства столь тревожны, что я не вижу, чем бы я мог пособить вам. Я душевно жалею об опасностях, которые предстоят вам. Совет... Совет... Вот мой совет: оставьте вашу артиллерию на правом берегу Днепра. Этим вы спасете ее от неминуемой гибели при свалке в стенах города.

Раевский с изумлением посмотрел на Беннигсена. Глаза Николая Николаевича сделались строгими и колючими. Голос прозвучал откуда-то издали.

— Однако, ваше высокопревосходительство, вы даёте мне совет довольно убийственный. Сколь ни менее опытен я, нежели ваше высокопревосходительство, но постигнуть все же могу, что дело сегодня идет не о сохранении нескольких орудий, а о спасении двух русских армий...

Беннигсен улыбнулся.

— Но без артиллерии...

— Без артиллерии действительно погибнет весь мой корпус и я с ним. Но уж лучше погибнуть мне, нежели позволить неприятелю зайти в тыл нашим армиям, отрезав их от Москвы. Пусть погибну я, но не армии, не Москва, не Россия!

— Пфуй! — сказал Беннигсен. — Можно ли так неверно понять мой совет? Впрочем, ваши соображения делают вам честь, генерал!

Пока генералы спорили, Александр Раевский что-то писал на листке бумаги, наложив его на косяк брустверной амбразуры.

— Что пишет этот молодой офицер? — спросил Беннигсен.

— Это мой сын, — ответил Николай Николаевич.

Александр Раевский вытянулся перед бароном.

— Я записываю разговор вашего высокопревосходительства с батюшкой.

— О! Зачем же?

— Для истории.

Беннигсен вздохнул.

— Я кое-что слышал о вас, господин офицер. Для истории? Вероятно для одной из тех историй, от последствий которых вас до сих пор спасало уважение князя Багратиона к вашему достойному отцу.

Он повернулся к старику Раевскому.

— Я позволю себе, мой генерал, снабдить вас еще одним советом, хотя вы у меня его и не спрашивали. Запретите вашему сыну писать, и пусть он говорит как можно меньше. Иначе его ожидают полный крах карьеры и печальная будущность!

ГЛАВА XXII

Французская армия окружала ту часть Смоленска, которая лежала на левой стороне Днепра, таким образом, что оба фланга осады примыкали к реке. А у Раевского было только двадцать восемь батальонов, около пятнадцати тысяч человек. Скорого подкрепления он не ожидал. Нехватало ни пехоты, ни артиллерии для того, чтобы занять ими всю линию городской обороны. Поэтому он и решился отбивать Смоленск из предместий. Это было очень смелое решение: в случае неустойки отступить можно было лишь через крепостные ворота, но по узости своей они не пропустили бы войск. Таким образом, отступление равнялось гибели. Впрочем, Раевский и не помышлял о нем. В глубине души он надеялся на то, что французы плохо знают город и его окрестности. Ему казалось почти несомненным, что целью атаки они поставят захват Днепровского моста. А если так, то главного натиска следовало ждать со стороны южных, Молоховских ворот на правый фланг обороны. Именно здесь, на Королевском бастионе и под откосами его контрэскарпа¹, между стеной и рвом Раевский приказал стать 26-й дивизии генерала Паскевича, бригаду, уцелевшую от 27-й дивизии, разместил на кладбище правого предместья и в самом правом форштадте поставил еще восемь батальонов. Войска 12-й дивизии заняли левые предместья. Батарейную артиллерию развезли по стенам. Легкая распределилась между пехотными частями. На Королевский бастион втащили восемнадцать орудий, двадцать четыре выкатили на кладбище и столько же в правый форштадт.

¹ Верхняя линия скала земляного укрепления.

Французов отделяла от города обширная равнина, пересеченная оврагами, рытвинами и водомоинами.

— Очень удобно! — сказал Раевский Паскевичу.

— Очень! — согласился молодой генерал.

Хотя ружья в пехоте стояли в козлах, но полки при малейшей тревоге могли выслать застрельщиков. Пушки были заряжены, фитили зажжены. И Олферьев поскакал в главную квартиру Второй армии с донесением о готовности города к штурму.

**

Было семь часов утра, когда корпуса Мюрата и Нея тремя колоннами двинулись к Смоленску. Раевский стоял на батарее за Молоховскими воротами и в зрительную трубку следил за ходом наступления. Он видел, как вдоль линии атаки впереди огромной свиты и эскорта из гвардейских улан в красных мундирах и высоких шапках промчался маленький широкоплечий всадник на горячем белом скакуне. Войска волновались и что-то восторженно кричали. Всадник скрылся. Атака сейчас же выделила фланкеров, стрелки побежали к городу. Раевский хотел было приказывать, чтобы головные части 26-й дивизии тоже выдвинулись, но не успел этого сделать — Паскевич распорядился сам. Несколько артиллерийских рот выскакали ко рву, остановились и начали разведываться с неприятелем ядрами. Но французов это не остановило. Одна колонна наступала вдоль реки, другая — на кладбище, а третья направлялась прямо на Королевский бастион. Атака уже миновала полосу ядерного огня, прокатилась под картечью и теперь заливала ров. Однако пехота 26-й дивизии, лежавшая между рвом и городской стеной, не выпускала французов из виду. Раевский видел, как горячилась пехота: отстрелявшись почти в упор, хватала ружья на руку и бросалась в штыки. Через два часа ров был завален трупами французов. То же происходило и на кладбище. Все шло прекрасно. Плохо было только то, что этому прекрасному не предвиделось конца. Атаки следовали одна за другой. 26-я дивизия начинала уставать. Уже два раза линейные части Нея переплывались через ров и докатывались до откосов бастионного контрэскарпа. Правда, штыки еще славно действовали, но спасала положение главным образом артиллерия. А французские войска все подходили и подходили. Десятки батарей выезжали вперед и громили годуновские стены. Целые полки шли на фланкировку, рассыпаясь по-батальонно. Раевский был бледен...

Генерал Паскевич смотрел вниз с бруствера Королевского бастиона. Свинцовый дождь сбивал кругом него листья и сучья с больших верб, которыми оброс бастион. Но Паскевич не замечал этого. Внизу было еще хуже, гораздо хуже, настоящее пекло. Французские ядра то и дело шлепали по сю сторону рва, взметывали кверху столбы земли и, с визгом крутясь в людской суголоке, валили с ног десятки людей. Вот вырвало ядром косяк из пушечного колеса, оторвало ногу у лошади, опрокинуло двух канониров, разнесло ось и лафетную доску — орудие упало. Уже много их валялось на боку, а человеческих трупов — еще больше. Как ни ужасно было то, что происходило внизу, но Паскевич любовался этим зрелищем. Ему особенно нравилась работа одного высокого канонира-бакенбардиста. Мужество, бесстрашие, ловкость и точность движений солдата были поразительны. «Где я его видел?» Ага! Салтановка, опушка леса, разрыв старой пушки, угрозы канониру, дерзкий артиллерийский поручик... Как путаются на войне карты человеческих отношений! Еще будучи пажем и дежуря во дворце, Паскевич поймал однажды слово графа Аракчеева: «Надобно требовать от солдата невозможного, чтобы он возможное сделал». На остром лице Паскевича промелькнуло что-то неуловимо скверное, похожее на улыбку. «Трус и подл Аракчеев, но умен. Можно гнуть солдата пополам, но воевать без него нельзя. Я обещал этому бакенбардисту Георгия и дал его. Если мне суждено возвыситься, я покажу свету настоящее величие и настоящий разум полководца». Паскевич все пристальнее вглядывался вниз. Что это там делается? Орудия заезжают справа и становятся так, что прицельная линия приходится не поперек, а вдоль рва. Не сошли ли они там с ума? Кто командует? Э, тот самый дерзкий поручик, у которого Паскевич отобрал шпагу под Салтановкой. По всей длине рва — французы. Орудия стреляют... Залп... другой... Ров замер. Ай да поручик! И под бешеным огнем, придерживая рукой шпагу, чтобы не мешала бежать, Паскевич пустился вниз с бастиона в то самое пекло, где так молодецки действовал Травин.

С тех пор как началась война, только в огне, под смертельной угрозой Травин чувствовал себя живым, бодрым и деятельным человеком. Так и здесь, под Королевским бастионом. Хоть Травин и был под арестом, но за убылью офицеров пришлось ему искоре после завязки боя уже

командовать ротой. Сперва он опрокидывал атаку за атакой лобовым огнем в ров и через ров. А потом вдруг догадался: орудий мало, а все бьют в лоб, перед собой. Не лучше ли развернуться вдоль рва? Попробовал. Славно! Падали уже не десятки, а сотни французов. Как понятлив Угодников! Толкни только с места мысль этого редкого солдата, а она и пойдет и пойдет воровчаться.

— Ваше благородие, — кричал канонир, стараясь голо- сом перекрыть грохот боя, — ваше благородие! А ежели двумя расчетами направо бить, а двумя налево?

— Верно!

Травин повернул половину своих орудий.

— С передков долой! Передки, отъезжай!

Тут-то и вырос перед ним Паскевич.

— Молодец, поручик! Я любовался...

Травин молча отдал честь. Он не любил Паскевича. «Из таких-то и растут Аракчевы! Но... Аракчев нагл при дворе и трус в бою. Этот же храбр под огнем, а при дворе будет ползать». Было что-то и в Травине неприятное генералу. «Как он одет худо! Из таких-то в странный наш век и выскакивают Бонапарты».

Ров опять был полон французами. Они карабкались по откосу, подсаживая друг друга. На передних лезли задние, а на задних наседала целая гуча линейных батальонов, беглым шагом стремившихся к бастиону. Еще минута-две — и колонны эти зальют собой ров и волны их вышлеснутся на бастион. Травин стиснул зубы и, не отрываясь, смотрел на эту страшную картину.

— Командуйте огонь, поручик! — приказал Паскевич.

— Слушаю, — сказал Травин и не пошевелился.

Он знал, что орудия заряжены и канониры уже держат пальники у затравок, а прислуга толпится перед пушками, чтобы не видно было наводки. Он сегодня придумал этот фокус. Все готово, а врагу невдомек. И чем дольше, тем лучше.

— Извольте же командовать, поручик! — крикнул Паскевич. — Оглохли, что ль?

Между батареями и неприятелем оставалось не более десятка саженьей. И расстояние это уменьшалось с каждой секундой.

— Поручик!

Травин сделал такое движение рукой, какое делают люди, когда не хотят, чтобы им мешали. Он был бледен. Темные глаза его горели.

— Поручик!

Голос Паскевича звенел и ломался от злости.

— Один лишь миг еще, ваше превосходительство!

И вот этот дорогой миг наступил. Французы были уже почти на батарее. Травин махнул рукой.

— Пали!

Канониры отскочили от орудий. Вспыхнули огопки. Струйки дыма взвились над скорострельными трубками. И все орудия грохнули разом, выплюнув смерть. То, что только что бежало, лезло, валилось вперед, — стрелки и линейная французская пехота, — все это уже лежало на земле. Угодников показал пальцем туда, где лежал целый батальон в том самом порядке, как шел, даже с офицерами при взводах. А наседавшая сзади туча застыла на месте. Этаких залпов Паскевич не видывал. Поручик отличный стрелок, но... ослушник! «Шпагу, — хотел он крикнуть Травину, — подайте вашу шпагу! За ослушание пойдете под арест!» И вдруг заметил, что на офицере нет шпаги. По растерянному выражению генеральского лица Травин все понял и сказал:

— Я уже под арестом, ваше превосходительство.

Паскевич закусил губу.

**
*

Днепр у Смоленска не широк. С укреплений, из предметов и даже с равнины, на которой происходило сражение, был ясно виден его высокий правый берег. Около полудня холмистый гребень этого берега ошестинился войсками. Раевский облегченно вздохнул и, делая у груди под жилетом незаметные движения правой рукой, перекрестился. Вторая армия пришла гораздо раньше, чем он того ожидал. Действительно, Багратион бежал к Смоленску.

Между тем пехотные колонны французских войск продолжали правильно и быстро двигаться на город, с застрельщиками впереди. Кавалерийские взводы прикрывали с боков батареи летучей артиллерии. Как раскаты грозы, гремели пушечные выстрелы. По временам облака густого синего дыма застилали эту картину. Кругом Багратиона были расставлены на высоких ножках подзорные трубки и телескопы. Но князю Петру Ивановичу они были не нужны: его зоркий глаз отчетливо различал все, что делалось в городе и над городом. А чего не видел глаз, то разгадывал сам Багратион. Его смуглое лицо было покрыто горячим потом — солнце пылало и жгло немилосердно. Он непрерывно отряжал адъютантов и ординарцев и слал

Раевскому подкрепления одно за другим. Для него не было сомнений: бой, принятый 7-м корпусом, — только начало громадной генеральной битвы за Смоленск. Барклай — хитрая лисица, но обстоятельства его победили. У Багратиона был радостный и вдохновенный вид.

Как-то само собой сделалось: не успела Вторая армия стать на биваке, как позади того места, где находился главнокомандующий, появились продавцы с холодной водой, квасом, пивом и огурцами. Штабные офицеры наскоро освежались питьем и бегом возвращались к свите. В этой сутолоке мелькали и крестьянские зипуны, армяки, войлочные шляпы. Здесь же оказались и три росаспинских мужика. Какой-то полковник квартирмейстерской части долго разговаривал с ними, а потом отвел прямо к главнокомандующему. Князь Петр Иванович кипел, и все возле него кипело. Мимо везли из города подбитые орудия и лафеты. Из резерва скакали к Смоленску свежие артиллерийские роты.

Атаки французов начинали заметно ослабевать. В четыре часа дня открыл было наступление Даву, но скоро был отбит. Почти смерклось, когда Багратиону доложили, что подходят головные части Первой армии. 6-й корпус генерала Дохтурова уже становился на бивак. Барклай вел свои войска форсированными маршами, по-суворовски, без привалов. Солдаты ели на ходу. «Ведь умеет же квакер и спешить!» подумал князь Петр Иванович.

Первый день Смоленской битвы кончился. Багратион вскочил на коня.

— Еду! Прочь с дороги! Раздайся, други!

Он карьером пустился вниз, через мост, в город. Свита неслась позади. Улицы Смоленска были загромождены ранеными, умиравшими и мертвыми. Жители сидели в сараях и погребах. Кое-где занимались пожары, небо розовело от всполохов и казалось живым. Раевский и Паскевич встретили главнокомандующего у Королевского бастиона. Багратион поцеловал Раевского и обнял Паскевича.

— Спасибо вам нижайшее, други! Вы спасли армии русские и Россию. Что тебе, что мне, Николай Николаич, поздно биографию свою днем нынешним начинать. Мы ее начали в семьсот восемьдесят восьмом годе при Потемкине, ты подпоручиком, а я прапорщиком. Помнишь, небось, как в дружбу вступали? А вот Иван Федорыч — дело иное. Сегодня история его открылась. И будет она немаловажной...

Из темноты выехал всадник в генеральской шляпе и звездах. Это был Барклай. Он молча поклонился и крепко пожал руки обоим защитникам Смоленска.

ГЛАВА XXIII

Неудача атак, которыми руководил Наполеон, его поразила. К вечеру у него собралось под рукой двести тридцать тысяч человек. Завтра эта громада должна будет овладеть Смоленском. Но что-то препятствовало императору сегодня успокоиться на этой мысли. Уже заходило солнце, когда он позвал к себе Жюно, герцога Абрантесского, и сказал ему:

— Слушайте, Жюно! Вы зажирели и стали неповоротливы, как те немецкие кабаны, которыми вы командуете. Под Островной вы потеряли маршальский жезл. Однако я помню вас и таким, каким вы были раньше. Вы можете сегодня же найти свой жезл.

Жюно молчал. Тысяча чертей! Уж как надоели его солдатской душе выговоры с высоты, на которую он сам втаскивал этого человека! Ему дали Вестфальский корпус, толпу солдат-свинопасов, розовых, как ветчинные окорока, и таких же жирных, и уверяют, будто зажирел он сам. А если бы под командой у него были не немцы, а французы, он, может быть, завоевал бы уже и Смоленск и Россию.

— Чтобы отыскать маршальский жезл, Жюно, — продолжал император с обидно-снисходительной усмешкой на холодном лице, — вам надо открыть переправу повыше города, перейти через Днепр и отрезать русским дорогу на Москву. Тогда мы завтра кончим все это без лишних усилий. Вы поняли, Жюно?

Герцог поклонился. Конечно, понял. Конечно, сделает. Маршальский жезл!..

* * *

— Видишь, Алеша, трубу? Веди, душа моя, пушки прямо на нее, мимо и дальше, покамест не пришло повеления стать. Сам посмотри, как батареи разместятся...

Весь вечер Олферьев провозился с расстановкой пушек по днепровскому берегу, выше города, и лишь близ полночи вернулся в главную квартиру. Но Багратион тут же послал его к командиру 6-го корпуса Первой армии генералу-от-инфантерии Дмитрию Сергеевичу Дохтурову.

Генерал был нездоров и лежал в шалаше на походной койке, в сюртуке и фуражке, под черной косматой буркой.

Он поднял круглое лицо и протер кулаком добрые карие глаза.

— Что? Шестой корпус назначен для смены седьмого?

— Так точно, ваше высокопревосходительство.

Дохтуров сел на койке и закрыхтел.

— Сакремент! Очень даже хорошо, молодой человек!
Уж лучше на поле славы помереть, нежели в кровати!

Отсюда Олферьев опять помчался в город. Генерала Раевского он отыскал на террасе над Молоховскими воротами. Николай Николаевич дремал на ковре. Прочитав повеление о смене, он зевнул и сказал подошедшему Паскевичу:

— Слава богу, нас сменяют! Сделайте милость, Иван Федорыч, покажите дохтуровскому квартирмейстеру наши места на позиции, с тем чтобы выходили полки тотчас по смене. И до света всем выступить.

Только на заре закончились разъезды Олферьева. Возвращаясь на бивак, он догнал легкую артиллерийскую роту, которая, сменившись, шла из города. Но всему было видно, что роте крепко досталось поработать. Орудия от дул до затравок так закоптились, что стали какого-то необыкновенного черно-сизого цвета. Лица людей, шинели и португези были так густо покрыты огарками от картузов¹, что солдаты походили на трубочистов. Рота медленно двигалась по дороге. Навстречу к ней со всех сторон выходили еще не бывшие в деле офицеры и набрасывались с жадными расспросами на поручика, ехавшего впереди. Но ответы поручика были до крайности односложны.

— Где стояли, — спрашивали его, — не на Королевском бастионе?

— Да.

— Говорят, ад был у вас?

— Нет.

— Экий медведь! — раздался в темноте чей-то негодующий голос.

Но поручик — это был Травин — не обратил никакого внимания на эту дерзость. Он был в странном, радостно-рассеянном состоянии духа. Видел, слышал, а в голове все это как-то путалось и мешалось. После страшного напряжения, пережитого Травиным во время боя, мысли и чувства его сразу оупели, обмякли. В силе оставалось лишь гордое сознание того, что никто из встречных вопрошате-

¹ Куски черной гари, взлетающие на воздух при взрыве в орудии пакетов с порохом — картузов.

лей не сумел бы отбивать Королевский бастион лучше, чем делал это он, Травин. И жадное любопытство их казалось ему мелким и жалким.

Какой-то пехотный солдат погладил рукой пушку.

— Уж и видно, что поработала. Вишь, как рыло-то замазала...

Эти простые слова вдруг вывели Травина из его странного состояния. Он наклонился с седла к солдату и обнял его.

Олферьев ехал сбоку, наблюдая Травина. Хотя он видел его до сих пор всего один раз, но узнал с первого взгляда. Все в этом офицере нравилось Олферьеву — начиная с гордой бедности до объятия с солдатом. Корнет вспомнил свои утренние мысли. Наверное Травину и в голову не приходят этакие глупые сомнения, колебания и боязливые мечты. Конечно, он твердо знает, что народ и он — одно, и не тревожится одиночеством, счастливец! Олферьев тронул повод, подъехал к Травину и, взяв его за руку, сказал:

— Слушайте, поручик! Вы еле-еле знаете меня, я вас. Но я хочу большего. Будем друзьями!

Травин не удивился. Он только осторожно отнял у Олферьева свою руку и, довольно холодно усмехнувшись, проговорил:

— Полноте! Откуда вы взяли, что я враг вам? Но быть друзьями...

Олферьева качнуло в седле. Кровь отхлынула от его сердца, и он чуть слышно спросил:

— Вы взяли у меня свою руку, почему?

— Помилуйте! Как вы могли подумать? Скажу откровенно: я не люблю аристократов. Однако не все одинаковы. И руку я взял совсем по другой причине...

Он быстро размотал грязный носовой платок, которым была обвязана кисть его правой руки, и показал ее Олферьеву. На кисти не хватало двух пальцев — указательного и среднего. Корнет успел разглядеть комочки жил и мускулов, запекшуюся черным ожерельем кровь и блеск мелких белых косточек, застрявших в мясе.

— Видите? — спокойно и серьезно проговорил Травин. — Вот в чем дело...

**

Вестфальский корпус двигался в обход Смоленска с большой осторожностью. Во-первых, было уже почти совершенно темно. Во-вторых, три русских крестьянина, которые служили сегодня Жюно проводниками, почему-то

не впускали ему доверия. Эти скоты так подозрительно переглядывались и переговаривались, цокая языками, что в лучшем случае, повидимому, и сами не знали, где переправа через Днепр, а о худшем герцог и думать не хотел. И, наконец, в-третьих, с самого начала кампании, а особенно после того как Жюно связался с вестфальцами, ему ужасно не везло. Он никуда не поспевал со своим корпусом, путался в тонкостях диспозиций и иногда с тайной горечью подумывал о том, что устарел для новой войны, тактика которой изобретена неутомимым хитроумием императора. Одна история с коляской, так нагло отхваченной русскими под Катанью, чего стоила!

Итак, корпус шел очень медленно, двигаясь через какие-то левады, сады и огороды. Несколько раз Жюно принимался тормозить проводников. Они кланялись и быстро говорили что-то, подмаргивая друг другу. Один из них, в белых штанах, казался особенно сомнительным, однако он-то и был старшим.

Когда взошла луна и Днепр сверкнул наконец впереди серебряными разводами на черной глади, Жюно вздохнул с облегчением. Но ехавший рядом начальник корпусного штаба полковник Клери произнес сдавленным голосом:

— Ваша светлость, мы обмануты! Посмотрите, где город и где русские биваки. Мы не отошли от Смоленска и на лье, хотя ходили четыре часа...

Клери не успел договорить, как с противоположного берега реки грянул пушечный выстрел. За ним последовал еще один, два, три, много, и затем на Жюно с его корпусом обрушился такой огненный град, что вестфальское стадо взбесилось. Прежде всего куда-то исчез обоз, потом в дивизии вспыхнула такая неслыханная сумятица, что через полчаса полки и бригады перемешались, как карты в руках пьяного игрока. А канонада все усиливалась и ядра сыпались все гуще, сметая на своем пути целые взводы. Жюно уже не сомневался, что проводники завели его прямо под прицельный огонь русских батарей.

— *Wir bleiben nicht hier!*¹ — ревели вестфальские солдаты.

Жюно скакал между их рядами и кричал:

— Солдаты! Взгляните на меня: я покрыт ранами. Я был в Сирии, в Египте, везде! Двадцать лет мужества и преданности! Что же вы делаете со мной, проклятые дьяволы!

— *Wir bleiben nicht hier!* — отвечали дьяволы.

Жюно почувствовал на глазах слезы. Ярость, дошедшая

¹ Мы здесь больше не остаемся! (нем.)

до последнего градуса, жгла его грудь, душила горло и невыносимой тяжестью давила на мозг.

— Тысяча чертей! — прохрипел герцог. — Опять ускользнул маршальский жезл!

**
*

Комендантские стрелки вели к Жюно трех крестьян из деревни Росасны. Теперь крестьяне не переговаривались и даже не глядели друг на друга. Головы их были опущены, лица бледны. Но, судя по необыкновенной твердости шага и спокойствию движений, они чувствовали себя в постигшей герцога неприятности совершенно правыми и нисколько не боялись смерти.

ГЛАВА XXIV

Осажденный город расцвел надеждами. Жители вылезли из погребов. Открылись трактиры и рестораны. В «Данцихе», у Чанпо, в кондитерской лавке Саввы Емельянова было полным-полно народу. По улицам разносили мороженое, — было жарко, — и офицеры от Молоховских ворот то и дело посылали за ним. Солдаты полков 6-го корпуса, стоявшие в предместьях, копали на огородах картофель и варили его над огнями. Так было до трех часов дня: редкая перестрелка из-за рва и никаких признаков наступления.

— Надо быть, думает Наполеон, что выйдем мы из города в открытый бой, — толковали офицеры на террасе Молоховских ворот, где обосновался штаб Дохтурова. — Врешь, брат, обчелся!

Генерал только что пообедал и, раскрасневшись от недомоганья и жары, прилег отдохнуть, с кожаной подушкой под головой.

Штабные сейчас же отыскивали какую-то сломанную дверь и пристроили ее над стариком, как навес от солнца.

— Тише, господа, тише... Не шумите, генерал отдыхает... Не разбудить бы!

Но Дохтуров и спал и не спал. С одной стороны, он слышал эти шопоты, трогательно доказывавшие ему общую любовь, и, стало быть, не спал. С другой — шопоты были так приятны Дмитрию Сергеевичу, что, погружаясь в тихое спокойствие, он был не в силах не только встать, но и глаза открыть, — следовательно, спал.

В три часа дня приехал из передовой цепи начальник корпусного штаба.

— Кажется, французы зашевелились...

И вдруг над Краснейской дорогой одна за другой взвились две ракеты. Начальник штаба начал рассылать офицеров по частям — он ждал боя.

— Не след ли Дмитрия Сергеевича разбудить?

Взвилась третья ракета. И смерч из ядер и гранат налетел на город. Несколько ядер ударило в террасу. Дохтуров поднял голову, посмотрел кругом мутными глазами, вскопчил и крикнул:

— Лошадь!

Французская артиллерия была навесно. Густые цепи стрелков бежали к городским стенам, врезались между батареями. Перестрелка ширилась и росла. Ней атаковал Королевский бастион, Понятовский наступал слева, а Даву шел между ними. Головы французских колонн равнялись, потом делалась правильная десплоада¹, и огромное поле перед городом все гуще и гуще покрывалось длинными линиями пехоты. На берегу Днепра, по садам, расположенным на горе, французы уже теснили русских, сбрасывая их в овраг Краснейского предместья. Понятовский был уже под городской стеной, Ней — почти на Королевском бастионе, Даву рвался в Рославльское предместье.

У Молоховских ворот затеялся беспорядок. Зубцы стен, отбитые ядрами, валялись вниз, на полк иркутских драгун. И драгуны мялись, отступая к воротам. Чужа позади себя неладное, и пехота начала подаваться от рва к воротам. Но здесь она попадала под копыта ярившихся драгунских коней. Какой-то огромный длинноусый капитан вертелся среди иркутцев с казачьей пикой в руках и рычал:

— Стой, р-ракальи! Заколю!

И он действительно с неистовой силой колол своей пикой крупы драгунских коней, гоня их вперед.

— Смотрите, — заговорили в свите Дохтурова, — вот молодец...

Внезапный грохот оборвал разговоры. Граната лопнула на том самом месте, где только что бешенствовал капитан. Его не стало. Топча пехоту, иркутские драгуны ринулись в ворота. То, что происходило здесь, должно было гибельно отозваться на Днепровском мосту и у ближайших к нему Никольских ворот. Правда, там командовал Неверовский, но... Дохтуров подскочил к роковому месту. Глаза его были налиты кровью. Он сорвал с себя галстук. Жаркий пот катился с его круглого лица. Тяжко дыша, соскочил он с лошади, вынул пикагу и стал в воротах под дождем пуль.

¹ Постреление.

— Ваше высокопревосходительство, — кричал начальник корпусного штаба, — что вы делаете? Вспомните семью, детей!

— Оставь меня, братец! — прохрипел генерал. — Здесь жена моя — честь, а войско — дети!

Он обернулся к солдатам.

— Братцы! На каждом ядре, на каждой пулке судьбой написано, кому пасть от них! Вон драгун свалился.. Хотел уйти, а убит.. Не ушел! Когда смерть нагоняет солдата, стыдно солдату бежать.. Славно там умереть, где место должно указано!.. Сакремент!

Никогда Дохтуров не был так красноречив, как в эту отчаянную минуту. И не напрасно! Драгуны оправились. Пехота двинулась вперед. И живой, быстрый огонь ее, к которому сейчас же прибавилась картечь ближних пушек, с двух сторон начал поливать засевших в Красненском овраге французских линейцев. Покрытый путь между рвом и стеной был снова в русских руках. Атака Молоховских ворот не удалась. Дохтуров смотрел теперь туда, где бился Неверовский..

**
*

У Никольских ворот тоже было смутно. И здесь пехота отступала, ведя ружейный огонь от самых ворот. Неверовский еле держался. Он скакал между солдатами с багровым от гнева лицом, изрыгая проклятия и самую яростную брань. Одет был сегодня этот генерал как на праздник — в новых эполетах и в расстегнутом сюртуке, из-под которого виднелась тонкая белая рубаша со сборками. Шпага, как молния, сверкала в его руках. Он был красив, и эта мужественная красота силы и бесстрашия могущественно действовала на солдат. Полки пошли вперед и с натиска заняли ближайшие к воротам дома предместья. Неверовскому бросился в глаза маленький черноглазый артиллерийский генерал на вороном орловском жеребце. Он тоже останавливал и повертывал кучки еще не оправившихся от робости солдат. Это что за явление? Откуда? Неверовский дал шпоры лошади и наскочил на чужака.

— Кто здесь мешается не в свое дело?

Маленький генерал гордо поднял голову.

— Я граф Кутайсов, начальник артиллерии. Мое место — везде. Вы кто?

— Я Неверовский.

Они молча посмотрели друг на друга и разъехались шагом.

Наполеон приказал своей артиллерии громить смоленские стены. Но ядра вязли в них. Тогда он велел бить по городу гранатами и зажигательными снарядами. Смоленск запылал. Столбы пламени взвились и облакам. Клубясь в ярком блеске солнечных лучей, черный дым пожарища слился с синим пороховым дымом. И эти грозные тучи, пронзаемые всплесками огня, покрыли город багрово-фиолетовым заревом. К Дохтурову подскакал Клингфер.

— Ваше высокопревосходительство, главнокомандующий повелел передать, что от мужества вашего зависит сохранение армий и даже больше того...

Дохтуров рассердился.

— Сакремент! Никогда слов благодарных не искал я! Честью лишь своей дорожу, и она для меня бесценна. Да что я один сделаю? Скачи назад, господин офицер, и скажи Михайле Богданычу: Дохтуров требует сикурса...

Клингфер помчался. На улицах города лопались гранаты, и осколки их догоняли раненых, которые шли и ползли вдоль домов. Ядра разбивали крыши и стены, вскидывая сверху груды щебня, вырывали из мостовых камни и разбрасывали бревна деревянных накатов. Здания горели с обеих сторон. Пламя клочкотало за окнами. Все кругом рушилось с отчаянным треском как привидения; исчезали из глаз трубы и стропила, и дождь мелкого стекла сыпался на Клингфера. От сатанинского жара волосы затрещали па его голове. «Вдруг не доеду? — подумал он. — Не доеду, а сикурс необходим...» Навстречу неслась толпа солдат с ружьями наперевес. Нет, это была не просто толпа — уж очень была она велика, и вели ее офицеры. Клингфер крикнул одному из них:

— Что за войска?

— Сикурс от главнокомандующего... Четвертая дивизия... Идем на вылазку...

Клингфер вздохнул с облегчением. «Счастье служить при Барклае... Какая предусмотрительность!» В это мгновение словно железный таран с такой сокрушительной силой ударил адъютанта в плечо, что он не только вылетел из седла, но еще и перевернулся в воздухе, прежде чем упасть наземь. «Не доехал!.. Впрочем, теперь и не надо...» Клингфер успел почувствовать, как чьи-то ловкие руки подхватывают его под спину. Успел он услышать также чьи-то слова:

— Как ему стояк-то разворотило, враз исчаврился.. ну, да, может, и отойдет! Тащи его в дом, ребята!..

Нечеловеческая боль в плече заставила Клингфера ахнуть. И на этом все кончилось...

**
*

Около пяти часов дня Даву предпринял второй штурм Молоховских ворот и почти ворвался в город. Но 4-я дивизия дралась с такой яростью, что французы опять были отброшены. Как и накануне, атаки их начинали заметно ослабевать. Бой еще кипел. Город пылал, и гранаты рвались над ним. Однако стены и зубцы старой крепости попрежнему были унизаны стрелками, и французы нигде не имели заметного успеха. Дрались уже только, чтобы драться. Ружейная пальба и пушечная канонада не смолкали. И когда стало смеркаться, то тем, кто наблюдал за ходом дела из лагеря Первой армии, казалось, будто Смоленск опоясан сплошной полосой оранжевого огня.

Из шалаша Барклай разносился громкий голос князя Петра Ивановича. По обыкновению главнокомандующие спорили. Правильнее сказать, Барклай молчал, перебирая длинными худыми пальцами перья своей шляпы, а Багратион размахивал руками и кричал:

— Судьба исхитила из рук неприятельских лавр победы! Второй день боя кончается — Смоленск наш и нашим остаться должен! Какую голову иметь надобно, чтобы не разобрать, где польза? Какое сердце, чтобы не устыдиться трусости? Обе армии наши уже в третий раз пришли в Смоленск: были двадцать второго, потом двадцать седьмого, ныне снова. Для чего? Чтобы завтра уйти? Счастливая завязка дела предрешает его конец. Генерал Раевский...

Багратион еще вчера заметил, что Барклай с совершенной холодностью относится к блестящей защите города Раевским. Едва ли он даже усматривал в геройстве 7-го корпуса еще что-нибудь, кроме точно исполненного долга. И это оскорбляло князя Петра Ивановича выше всякой меры.

— Генерал Раевский показал, что можно сделать, коли хочешь. Убыль в людях большая? Согласен. У Дохтурова тоже. Но вот я. Я приведу всю свою армию на левый берег Днепра и на себя возьму крест. Желательно вам это? Однако и вы делайте то же...

Багратион с трудом перевел дух.

— Не молчите же! Что мы предпримем завтра?

Барклай медленно выговорил:

— Мы отступим.

Удивительно: эти два слова были произнесены совсем тихо, но прозвучали они как непрерываемый приказ. Сухая

фигура Барклая вдруг приняла в глазах князя Петра мертвые очертания железной куклы. Он закрыл лицо обеими руками, чтобы не видеть. Он хотел бы и не слышать. Но Барклай продолжал говорить:

— Наполеон силен. Ни Раевскому с Дохтуровым, ни нам с вами не отстоять города. При таком положении вещей единое и главное правило принять я обязан за основу: не делать того, чего сильный противник мой ищет. Он ищет генеральной битвы за город, — я не дам ему этой битвы. Система моей войны — уничтожить неприятеля его собственными успехами, заставить его удалиться от своих источников, предоставить его суровости близкой зимы...

Утром Барклай получил письмо императора. В нем было сказано: «Вы развязаны во всех ваших действиях!» Этой фразой император, конечно, думал подвинуть Барклая на решительные операции, на защиту Смоленска и переход в наступление. Только так и следовало понимать ее. Но эпистолярное красноречие запутало эту простую мысль. Действия Барклая развязаны. А наступление он считает невозможным. Прекрасно! Михаил Богданович понял двусмысленную фразу как апробацию своим отступательным планам. И, ответив в этом смысле императору, вовсе не был теперь расположен церемониться с Багратионом.

— Всякая другая система гибельна. Если вашему сиятельству истина слов моих недоступна, рекомендую, субординации следуя, просто повиноваться.

Князь Петр Иванович быстро подошел к Барклаю и взял его за руки. Почувствовав, что он отстраняется, подступил еще ближе. На глазах его сверкали слезы. Голос звучал спокойно и мягко, почти задушевно:

— Я бы так понял, Михайло Богданыч: вот мы уходим от Смоленска, к обороне не готов он, трудно его защищать. Однако есть у нас впереди верная позиция. И непременно должен Бонапарт на позицию эту итти и брать ее. Мы же, достигнув ее, станем на ней, дождемся и встретим Бонапарта. Так я бы понял. Но ведь нет у нас впереди такой позиции. И в отступление пойдем мы, просто сказать, на удачу. Заранее знать можно: будем искать позиции, во всем совершенной, без изъяна, а с несовершенных все дальше и дальше отходить. А Смоленск уже брошен. Кто поручится, что, завладев им, Бонапарт дальше двинется? А если не двинется? Хороши же мы будем! От мысли такой в оцененение прихожу. Ясно мне — все погибнет, коли взят будет Смоленск!

Барклай качнул головой.

— Коли взят будет Смоленск, Наполеон пойдет дальше. И тогда ничто не погибнет, но все спасено будет, князь!

Лицо Багратиона приняло мертвенный бледнокоричневый оттенок.

— Итак... отступаем?

— Да.

Он вырвал из пожен шпагу до половины клинка и несколько мгновений стоял неподвижно с зажмуренными глазами. Потом всадил шпагу обратно и, повернувшись с быстротой волчка, выбежал из шалаша. «Бешеный! — подумал Барклай. — Такой бешеный не только отечество защитить, но и... катральством командовать не может!..»

ГЛАВА XXV

Собравшиеся у Барклаева шалаша генералы Первой армии видели, как Багратион выбежал, вскочил на коня и ускакал. Никто не решился ни о чем спросить его, да и не надо было спрашивать, так как всем было все ясно. Генералы стояли на гребне прибрежной высоты. Лица их были обращены к полыхавшему городу, и громадное зарево так странно освещало их, что близко знакомые черты казались неузнаваемыми. Даже сквозь закрытые веки пробивался ослепительный блеск пожара.

— Триста спартанцев легли в Фермопилах, — воскликнул с отчаянием в голосе граф Кутайсов, — и больше двух тысяч лет хранится о том славная память! Почему же мы...

Его субтильная и стройная фигурка вздрогнула, и он замолчал. Генерал Тучков, командир 3-го пехотного корпуса, человек серьезный и упрямый, с решительной физиономией и тонкими сердитыми губами, проговорил:

— Это надобно кончить, господа! Я буду один атаковать Наполеона!

Командир 4-го корпуса, живой и бойкий граф Остерман-Толстой, подхватил:

— Почему вы один? Князь Петр Иванович с охотой возьмет на себя победить или умереть... А мы все под ним готовы...

Ермолов вмешался:

— Надо, господа, прежде знать, как атаковать и откуда...

Он отыскал глазами Толя.

— Скажите ваше мнение, господин генерал-квартирмейстер!

Толь догадался: Ермолов хотел запутать дело, не довести до крайности, и потому сказал не то, что думал в дей

ствительности, а то, что должно было немедленно вызвать сомнения и споры.

— Атаковать неприятеля надобно двумя колоннами из города.

Возражения посыпались со всех сторон. И первым заспорил Ермолов.

— Как можете вы, Карл Федорыч, с вашими понятиями такие неосновательные суждения иметь? Как выведете вы из города две колонны через узенькие его ворота?

— И как вы их развернете у стен под огнем неприятельских пушек? — запальчиво наскочил на Толя Остерман-Толстой. — Как успеете подвести артиллерию?

— Для атаки надобно переправиться на ту сторону Днепра через форштадт, — твердо выговорил Тучков, — он ведь еще в наших руках. И оттоль действовать.

Толь чувствовал себя под этим напором нехорошо. Он даже не улыбался. Впрочем, переложить всю тяжесть минуты на Барклая было нетрудно.

— Я об атаке предложил. А о защите Смоленска мысль моя такова, господа: защищать его надобно в одном лишь случае...

— В каком?

— Ежели главнокомандующий согласится всеми силами пойти на французов. Но раз что такого намерения у него нет и не будет, то и защищать Смоленск пользы нет и удерживать его ни к чему нам.

То, что сказал наконец Толь, было дельно. Да, без единства в действиях, вразброд, без твердой руки над всем наступать невозможно.

Генералы растерянно переглянулись.

— Что же делать с главнокомандующим?

Кутайсов выскочил вперед.

— *Laissez moi faire, je m'en vais l'achever!*¹

— Идите, граф, — сказал Тучков, — идите и говорите от имени всех корпусных командиров! Отступать больше мы не можем и не будем!

— Не будем! Идите! — закричали все.

**
*

Кутайсов давно уже высказал главнокомандующему все, чем хотел пронять его. Маленький генерал был резок, почти беспощаден в выражениях. Прекрасное, открытое лицо его

¹ Поручите мне пронять его! (франц.)

так жарко пылало, он так вольно размахивал руками, что Барклай понял: это генеральский бунт! Дошло до того, что корпусные командиры отказывались довыноваться. И так, надо или перестать быть самим собой, или... Однако он относился к бунтовавшим генералам без злобы и раздражения, как взрослые относятся к детям, хорошим, но еще не знающим, что огонь горяч и вода в больших реках глубока. И он сожалел, что они этого не знают. Сожаление — теплое чувство. К своему изумлению, Кутайсов увидел, как бледное и суровое лицо Барклая вдруг осветилось выражением кроткой ласки. Но через мгновение Михаил Богданович наклонился над лежавшей на столе картой, и тусклые отблески чадившей лампы заслонили неожиданно проступивший внутренний свет.

— Приказ об отступлении из города и о том, чтобы немедленно после этого мост Днепровский истребить, мною отдан и должен быть исполнен. Пусть всякий делает свое дело, граф, а я сделаю свое. Вот ответ мой господам корпусным командирам.

И он поклонился, давая этим знать Кутайсову, что разговор кончен.

**

— Шалаши сломать! Артиллерию и обозы вперед! Войскам стать под ружье!

Багратион произнес эти слова на ходу — отрывисто и быстро. Генералы, ожидавшие его возвращения из лагеря Первой армии, ахнули. Опять отступление!

Начальник сводной гренадерской дивизии граф Михайло Воронцов опомнился первым. На хитром и красивом лице его дрогнула привычная, хотя и несколько смущенная улыбка.

— Ваше сиятельство, — сказал он, — гренадеры отказались менять рубахи до боя!

Слова эти, как и все, что он говорил, были осторожны, но генералы почувствовали, как много заключено в них смысла и что это за смысл. И сейчас же заговорили, перебывая друг друга. Командир 8-го пехотного корпуса князь Горчаков, хоть и был племянником Суворова, но, в отличие от своего дяди, всему на свете предпочитал ленивые щи да вареники. Однако и он протер заспанно-масляные черные глаза и закричал:

— Да куда ж мы пойдем? Впереди ни позиции выбранной нет, ни места, где бой принять.

Горчаков был прав. Раевский махнул рукой. Как и всегда в минуты сильных разочарований, он испытывал сейчас от-

«Этакий навязчивый аристократишка!» мелькнуло в голове Травина.

— Да зачем я надобен вам? Право, мне не до философских бесед!

Но Олферьев не обиделся.

— Слушайте! Главнокомандующий приказал вернуть вам шпагу.

— Что? — воскликнул Травин.

— Да... Он знает, как славно действовали вы под Смоленском. Травин! То, что происходит с нами, великое несчастье. Тысячи русских трупов лежат в Смоленске. Но ведь для каждого из этих неведомых имен есть на широкой земле нашей сердце, которое помнит его твердо. И в нем живет мертвый. Лепет детей, что шныряют по крестьянскому двору, грустные вздохи матери или молодницы, доброе слово братьев и друзей — все для него. Сядут за стол, назовут — и покатится слеза с горошину по розовой щеке или по глубокой морщине...

— Ох, ваше благородие, — раздался рядом солдатский голос, — уж так вы молвили, что лучше не выдумаешь! Оттого и смерть не страшна нашему брату, что жизнь опосля нас не кончается, — обчая жизнь...

Это сказал Угодников. Взволнованный, с ярко блестящими глазами он как бы ловил ускользавшие слова. Травин улыбнулся.

— Едва ли главнокомандующий узнал бы обо мне от Паскевича. Если от вас, спасибо! Вчера говорили вы, Олферьев, о дружбе... Коли не отдумали, заключим конкордат. Вы хороший человек, Угодников хороший человек, — с хорошими людьми приятно вести дружбу. Вот предложение мое: дружба втроем!

Олферьев посмотрел на него с изумлением и пробормотал:

— Est-il possible que vous faites cette offre sérieusement? A se qu'il me paraît, vous badinez, mais il n'y a pas à plaisanter là dessus! Nous sommes des officiers...¹

— А Угодников всего лишь канонир? Но меня это не смущает несколько. Впрочем, я действительно пошутил. И, может быть, неудачно. Il faut garder l'équilibre entre le trop et le trop peu même en plaisantant². Простите меня, Олферьев. Вот вам рука моя — на дружбу!

¹ Может ли быть, чтобы вы предлагали мне это серьезно? Вероятно, это шутка, но она неуместна. Мы офицеры... (франц.)

² Даже в шутках надо сохранять равновесие между слишком и почти (франц.).

Позади своих войск ехал Багратион, грустный и рассеянный, окруженный молчаливыми и хмурыми адъютантами. За спиной армии опять начинала погромыхать пушечная пальба — французы возобновили нападения на Смоленск, а 3-я дивизия Коновницына принимала последний бой. Огонь ширился и полз вверх по реке; наконец французские батареи загремели на противоположном берегу Днепра. Река была узка в этом месте — ядра засвистели над головами Багратиона и его свиты. Но князь Петр Иванович даже и не заметил их. Олферьев подскочил к свите.

— К князю, — встретили его сдержанные голоса, — к князю! Он спрашивал...

Корнет догнал главнокомандующего. Лицо его было так печально, что сердце у Олферьева сжалось.

— Что же мы делаем, Алеша?

— Мне стыдно... стыдно, ваше сиятельство, — горячо прошептал корнет, — мы превратили Смоленск в обитель ужаса, смерти, отчаянных бедствий и уходим... Куда?

— Куда? — переспросил князь.

— Во мрак проклятой ночи, среди которой бредем сейчас...

Олферьев хотел сказать еще много, но конь его сделал внезапный прыжок. В лицо корнета плеснулась струя холодного воздуха. Быстрый и оглушительный свист пронесся мимо головы. Он еле усидел в седле. «Ранен!» Он хотел выговорить это слово. Но вместо того, медленно опрокидываясь назад, простонал:

— О-о-о!..

**
*

Кривые и тесные смоленские улицы пылали. Курясь едким дымом, тлел бревенчатый накатник мостовых. Крутой ветер взвивал кверху огарки и горячую золу. На одной из батарей Петербургского предместья, где еще шел бой, стояли цесаревич Константин Павлович и генерал Ермолов. Алексей Петрович выпрямился во весь свой могучий рост и протянул руку по направлению к городу. Сюртук его распахнулся. Русская рубашка с косым воротом выглянула наружу. Редкая мужская красота его на минуту сделалась поразительной. И он проговорил слегка дрожавшим голосом:

Кто вверх отчизну в море яла,
Свел с неба мстительные кары?
Кому нужны врагов дела,
Война и гибельны пожары?

Глаза Константина Павловича гневно сверкнули из-под соломенных бровей. |

— Все Барклай, любезный друг, — прохрипел он, — все проклятый халдей! А теперь еще не желает, чтобы я служил с вами. Гонит меня из армии. Ему нож вострый, чтобы делал я с вами опасности и славу. Канальство!

Они уже оставили батарею и шли по улице. Лабазы, в которых прежде складывали пеньку и лен, были завалены ранеными. Перед их порогами мутно рдели лужи красной воды, вылитой фельдшерами из тазов после обмывки ран. Собаки тешились над кучами отрезанных рук и ног. Из лабазов раздавались крики и стоны. Цесаревич и Ермолов заглянули внутрь. Глазам их представилась страшная картина. Раненые сидели, лежали, стояли. Доктары в белых фартуках, с засученными выше локтей рукавами мундиров металсь между ними, орудуя, как мясники на бойне. Испарения, висевшие в воздухе, были так тяжелы и удушливы, что цесаревич сейчас же выскочил на улицу.

— Все Барклай, — злобно сказал он, задыхаясь от возмущения, — несчастье для России! Но я еще покажу себя этому халдею! Даром не разойдемся мы!

Он вдруг захромал, передразнивая Барклая, и в самом деле чем-то стал на него похож. Ермолов засмеялся.

**
—*

От левой стороны догоравшего моста французы вброд перешли Днепр и огородами, конопляниками и садами выдвинулись до кладбища. Егерские полки 3-й дивизии генерала Коновницына были спрятаны в кладбищенских сараях. Начальник дивизии, худенький, растрепанный, с серым изможденным лицом и большими ясными глазами, сам распоряжался огнем.

— Каждый стрелок, ребята, должен знать, — говорил он, суетливо перебегая от одной кучки егерей к другой, — сколько пуль у него в суме, сколько смертей несет он на себе неприятелю. Ни одного выстрела даром...

Егеря жестоко били французов прицельным огнем. Но гранаты уже рвались над сараями. И скоро сухие дощатые крыши и стены их начали загораться. Тогда Коновницын вывел стрелков наружу, крикнул: «В штыки!» и, размахивая шпагой, побежал впереди. Дело вышло короткое, но жаркое. Еще не забрезжило утро, как не только кладбище, но и все Петербургское предместье было очищено от неприятеля.

Этот бой, который ничего не мог изменить в судьбе Смоленска, был нужен Первой армии, чтобы спокойно выйти по

левому берегу Днепра в гору, за петербургский шлагбаум, и оттуда спуститься на равнину. Армия уходила медленно. Вплотьмах слышались голоса и брань офицеров, которым никак не удавалось правильно построить колонны. Полчанинов носился в этой суматохе на своей Сестрице, тоже кричал и тоже бранился, приказывая пехоте не разбивать рядов, ездовым при орудиях тянуть дружно и ровно. Вдруг бесконечная вереница бричек и тарантасов, доверху заваленных военным добром, скрипучих крестьянских телег и какого-то пешего народа с котомками и мешками загородила гренадерам путь. Бабы сидели на телегах, унимая вопли закутанных в тряпье грудных ребят. Мужики, опустив головы, шагали о бок с худыми лошаденками. У Полчанинова опустились руки и пропал голос.

Это были беглецы из Смоленска и пригородных сел. Обычно войска бывают истерзаны в подобных случаях. Не любят они, когда на трудном и долгом марше их возникают препятствия. Но на этот раз было иначе. Никто не приказывал солдатам, никто не учил их: ряды сами раздвигались, пропуская обозы. Даже артиллерия с грохотом принимала в стороны, и орудийная прислуга пособляла мужикам выпроваживать с дороги застрявшие на ней тяжелые телеги. Армия уважала народное несчастье!

— Всю Россию с места согнал! — говорил Трегуляев. — Вишь чего достиг! И-и-их, лихо его задави!

— Шутку, братец, шути, а людей не муди! — пробовал его урезонить фельдфебель.

Однако голос Ивана Ивановича звучал и не строго и не убедительно. И его душа возмущалась происходившим. Да Трегуляев и не шутил вовсе. Старынюк слушал и мотал на ус. Гневные мысли о Барклае росли и множились в его голове, как крапива в глухом закоулке.

ГЛАВА XXVI

За Смоленском открылась Россия — широкое раздолье чернозема, безбрежное море золотых полей, испещренных коричневыми пятнами пара, березовое мелколесье на горизонте да двойные линии истерзанных зимними бурями ракит вдоль большаков. Было жарко, ветрено и пыльно. Жажда мучила людей и лошадей. Коня яростно тянулись горячими мордами к воде встречных ручьев. Но пить с удилами во рту невозможно, и они приходили в бешенство. Солдаты засовывали кивера подмышки, а головы покрывали платка-

ми и листьями. От пыльных вихрей и бивачного дыма у многих покраснели и начинали слезиться глаза. Зной перемежался с дождями. Случалось, что от мокрых солдатских мундиров, попавших под жаркое солнце, легкими облачками подымался пар.

Войска были ужасно утомлены. Под резкие высвисты флейт пехота засыпала на ходу, люди валялись, задевая друг друга, целыми десятками. Кавалерия спала, сидя на конях. И все это не столько от длинных переходов, сколько от беспрестанных остановок, неизбежных при движении большого числа войск по одной дороге. Солдаты поистрепались. Вместо форменных панталон то и дело встречались разноцветные, кое-как залатанные и бог весть где добытые штаны. Портупей давно уже никто не белил, и оттого сделались они желто-бурыми. Впрочем, на это не обращалось внимание. Следили только за исправностью ружей — следили все, от генерала до последнего фурлейта¹. Позади армии тянулись тысячи сухарных фур и лазаретных повозок.

Гул орудий вблизи поднимает дух, а издали наводит уныние. Настроение войск было самое грустное. Солдаты подходили к верстовым столбам, расставленным у дорог, и читали вслух: «От Москвы триста десять верст».

Цифры подхватывались, бежали по рядам и через несколько минут разносились по полкам, дивизиям и корпусам. Дорогобуж, Вязьма — исконно-русские названия эти хватали за сердце.

«Вязьма-городок — Москвы уголок!»

Не было ни одной роты, ни одного эскадрона, где с серых от пыли, сухих от зноя и усталости солдатских губ не срывались бы грозные в смутном значении своем фразы:

— Русаки-то не раки, задом пятиться не любят! Ой, неладно затеял «он»!..

**
*

Привал! Вмиг отвязаны котлы, и кашевары бегут за водой. У кухонь уже режут скот на говядину. Солдаты разбирают сарай, заборы и клуни — без жердей, соломы и дров плох бивак. Из жердей, переплетенных соломой, вырастают козлы. В кавалерии разбиваются коновязи. Лошадей не расседывают, только отпускают подруги, отстегивают мундштуки да вешают через головы торбы с сеном. Получаса не прошло — и бивак готов! Люди сидят вокруг огней, жуют и толкуют. Но о чем бы ни зашла солдатская речь, она неизменно сходит на «него».

¹ Обозный солдат.

— Эх, горе луково! — воскликнул Трегуляев. — Дело-то какое! Что ж, Иван Иванович, только нам теперь и осталось ходу, что с моста да в воду?

Брезгун развел усы. Он понимал, куда клонит Максимыч, и ответил по существу:

— Откуда знать? Может, у «него» от ума это идет? Али замыслил что? По уму у «него» нехватки нет.

— Ум, Иван Иванович, разумом крепок. А где ж у «него» разум, когда Влас «его» на кусочки разнести охоч? Да и не один Влас, а всех к тому привел. Взятась за Расею нежить окаянная. Выслужили себе главнокомандующего!

До Рудни и Смоленска Брезгун не вытерпел бы и десятой части этаких речей, а теперь молчал, опустив голову. Трегуляев махнул рукой, обтер рот и поднялся. Быстрый глаз его заметил, что карабинеры соседних взводов отыскали на ближнем поле одну из тех ям, в которых крестьяне, уходя в леса от французов, зарывали картофель, и уже немалой толпой сгрудились возле находки. Картофель в таких случаях выгребали прямо в полы шинелей. Трегуляев всунулся в очередь. Но дело затягивалось. Картофеля в яме становилось все меньше и меньше. Ждать было скучно, да и надежда получить долю терялась. Карабинер выпучил глаза и крикнул отчаянным голосом:

— Князь едет! Князь!

Под «князем» в Первой армии разумелся цесаревич, строгий и взыскательный ко всякому наружному беспорядку. Солдатская толпа без оглядки брызнула в стороны. Того и надо было Трегуляеву. Яма лежала перед ним, будто улыбаясь розовыми бочками крупных причудливо разросшихся плодов. Он не спеша прыгнул вниз и принялся набивать добычей карманы и полы шинели. Однако благополучие его вскоре нарушилось самым неожиданным и неприятным образом.

— Князь! Князь едет!

Трегуляев, уверенный, что его пугают так же, как он только что испугал других, не торопясь, поднял голову. По дороге к биваку карабинерной роты, верхом на огромной чалой лошади, с небольшой свитой ехал цесаревич Константин Павлович. Брови его были насуплены. Лошадь ступала возле самой картофельной ямы с вытянувшимся на дне ее солдатом, а он даже и не взглянул ни на яму, ни на солдата. Между тем из роты уже заметили его приближение. Взводы развертывались в стройные ряды, и громкие командные окрики доносились до Трегуляева. Карабинер выскочил

из ямы и, подоткнув за пояс тяжелые шинельные полы, пустился быстрым бегом в круговую к своему месту.

Цесаревич угрюмо поздоровался с солдатами и молча проехался вдоль строя. Левая рука его с бессознательной жесткостью вела повод, и громадный чалый конь щерился, роняя из пасти куски белой пены и порываясь ухватить седока за ногу. Помолчав и о чем-то подумав, Константин Павлович хрипло заговорил:

— Плохо, друзья! Но что делать? Не мы виноваты... Больно, очень больно, до слез... А надобно слушать того, кто командует нами... И мое сердце не меньше ваших надывается... Не верю в доброе... Старые мои сослуживцы! Душа в «нем» не наша, вот грех! Что ж делать?..

Он еще долго говорил в этом роде. Потом кивнул головой, еще гуще насунил брови и, круто повернув коня, поехал прочь от роты. Старынюк продолжал стоять так же неподвижно, как стоял, слушая речь цесаревича. Он был смертельно бледен. Колени его дрожали. Ярость подступила к горлу и сжала его душным, как собачий ошейник, кольцом. Все то верно, за что ненавидел он Барклая. Это уж не солдатские разговоры. Все то верно, раз сказал о том брат царя. Старынюк повел глазами и увидел такие же, как у него самого, бледные, изуродованные гневом лица. Картошка давно уже высыпалась из шинели Трегуляева, а он и не почувял того. Чье-то ружье, дребезжа ложей, ударилось оземь. Кто-то громко вскрикнул...

**

Лазаретный обоз остановился среди черного леса, на узенькой и грязной, покрытой лужами дороге, у бревенчатого частокола, которым обнесен был старинный скит. В деревянной церковушке монахи отпевали только что умершего от ран генерала и нескольких штаб-офицеров. Лазаретные фурлейты и монастырские служки наскоро копали могилы — огромные ямы, в каждую из которых можно было уместить не менее трех десятков трупов. Другие вынимали мертвецов из полуфурок, освобождая вакансии для живых. Воздух был полон стонов, криков, просьб и проклятий. Из низенькой трапезной послушники тащили на шестах котлы с гречневой кашей. Кругом церкви собирались в кучки раненные офицеры. Длинный пехотный поручик говорил:

— Помилуйте, господа, да что же это такое? Сперва бестолку бродили у Смоленска, чуть его даром не отдав. Потом, смеху подобно, один только наш корпус и послали его защищать. А прочие войска — зрителями на холмах...

Итальянская опера! Наконец отбились... Но тут-то и бросили вовсе Смоленск. А? Что же это, господа, такое, я спрашиваю?

И он колот своих слушателей злыми глазами.

— От Смоленска пошли было по Петербургской дороге. Чудо, что армию не потеряли...

— Дрянь дело! — воскликнул тоненьким голосом розовый артиллерийский прапорщик. — А россияне — народ храбрый, благородный, созданы драться начистоту, а не глупой тактике следовать.

— Я вас спрашиваю: что же это такое?

— И спрашивать нечего, — уверенным басом отвечал рыжий драгунский капитан, — преданы мы врагу! Измена-с! Вот что это такое!

**
*

Олферьев был сильно контужен ядром в бедро. Оно распухло и посинело. Лекарши с тревогой высматривали в покрывных его белых пузырях зловещие признаки антонова огня. Боль и лихорадка жестоко томили Олферьева. Он то и дело забывался и начинал бредить. К счастью, близкое положение к Багратиону и заботы князя Петра Ивановича спасали его от многих общих неудобств. Он ехал не в обыкновенной лазаретной фуре, заваленной ранеными и скончавшимися на переходе, а в тарантасе, хотя и открытом, но широком, спокойном и пустом. Олферьеву мерещилась большая черная баня — такие бывают в уездных городках, и моется в них простонародье. В бане было ужасно жарко, и Олферьев задыхался от этой жары. К потолку, словно окорока в печном ходу, были подвешены сухие коричневые люди с выпученными, дикими от боли и страха глазами. Их коптели к пасхе. И Олферьев знал, что его тоже сейчас подвешат, а если еще не подвесили, то потому только, что кого-то нехватает. «Кого нехватает?» спросил он Травина. «Да, да, — отвечал тот, — нехватает еще одного аристократа, фон-Клингфера...» Но в этот момент появился Клингфер, бледный и худой. Его поддерживали два лазаретных солдата. На забинтованном правом плече из-под перевязки виднелись окровавленные лубки.

— Сюда господина офицера поместите, — приказывал солдатам лекарь с Анной в петлице, — коляска большая. Да осторожней, чертяки!.. А вдвоем завсегда веселее бывает, от чего и здоровью польза.

Олферьев хотел возразить, но для возражений не сыскалось ни слов, ни сил. Клингфер отшатнулся было от таран-

таса. Однако ловкие солдатские руки уже подняли его и положили рядом с Олферьевым.

— Вот и славно! — сказал лекарь. — Салфет¹ вашей милости!..

ГЛАВА XXVII

С самого выступления из Смоленска полковник Толь почти не слезал с лошади. Затруднительность положения, в котором он находился, несколько не уменьшила его энергии, наоборот, именно в бурной деятельности отыскивал он спокойствие и уверенность в своем будущем. У Толя был немилосердный иноходец, очень маленький, длиннохвостый, светлосерой масти, за которым ни один офицер квартирмейстерской части даже на самом лучшем кровном коне угнаться не мог. На этой лошади полковник каждые сутки делал не менее сотни верст, отыскивая подходящие позиции для генерального боя. И квартирмейстерские офицеры скакали за ним.

Полковник отлично знал, что все эти поиски позиции ни к чему, так как Барклай попрежнему уклонялся от встречи с Наполеоном. И если главнокомандующий требовал от Толя готовых позиций на пути отступления, то для того только, чтобы создавалась видимость его воли к решительному отпору. Толь с поразительной неутомимостью поддерживал необходимую для главнокомандующего видимость решительных действий. Не будучи обманут, он, однако, этим как бы ставил себя в один ряд с обманутыми, делался, как и они, жертвой Барклаева двуличия, отгораживался от своего покровителя и приобретал право вместе с другими бранить его. Из таких-то важных соображений и вытекала его бешеная деловитость. Армии приходили на выбранную им позицию, занимали ее несколько часов и затем шли дальше. Пустая энергия Толя жестоко утомляла его подчиненных, но требовательность его была беспощадна и не допускала возражений. Впрочем, иной раз и он позволял себе сказать с тонкой улыбкой:

— Знаем и сами, что кривы наши сани, эх-ма!

Толь любил русские поговорки и употреблял их всегда во-время и к месту. Но, бросая этот камешек в сторону Барклая, он думал: «Das ist ein ferfluchtes Land, da ist nichts anzufangen!»²

¹ Исковерканное латинское *salve!* — будь здоров!

² Проклятая страна, где ничего нельзя делать с толком (нем.).

Под Дорогобужем выдалась редкая минута — деятельный полковник сидел в своем шалаше на сбитой из неструганных досок походной кровати и отдыхал, расстегнув сюртук и с наслаждением затягиваясь кнастером.

— Я очень рад, полковник, что застал вас, — сказал, входя в шалаш, обезьяноподобный Барклаев адъютант, граф Лайминг. — Очень также хорошо, что вы одни.

Такое вступление и таинственный вид Лайминга чрезвычайно подзадорили любопытство Толя. Поэтому он и постарался ответить самым равнодушным тоном:

— Милости просим, любезный граф! Коротать скуку отдыха одному вдвойне скучно. Только эгоисты могут думать иначе.

«Ах, как умен!» подумал Лайминг и заговорил еще таинственнее:

— Я пришел, чтобы поделиться с вами крупнейшей новостью. Полагаю, что лучшего конфидента мне не найти. В уплату за откровенность требую совета.

Граф оглынулся.

Новость сбивает меня с толку. В Петербурге я знал бы, что делать, но здесь...

— Ум хорошо, полтора ума лучше.

— Справедливо! К тому же мы находимся приблизительно в одинаковом по затруднительности своей положении. *Vous êtes obligé de m'empêcher de faire une bêtise*¹. Мы оба пользуемся милостивым вниманием нашего достойного генерала Барклая-де-Толли...

Полковник, у которого ушки давно уже были на макушке, начинал понимать, в чем дело.

— Покамест я отыскиваю по его приказанию позицию для армии, — сказал он, выпустив изо рта совершенно круглое кольцо табачного дыма, — он, кажется, окончательно потерял свою собственную позицию...

«Ах, как умен!» еще раз подумал Лайминг и быстро вынул письмо из-за лацкана мундира.

— Слушайте!

Толь закрыл глаза. Немецкие фразы письма приятным звоном отдавались в его ушах. Петербургский дядюшка Лайминга, состоявший воспитателем молодых великих князей, человек, близкий ко двору, с влиянием, весом и возможностью осведомляться о ходе государственных дел из самых первых рук, пользовался вернейшей оказией, чтобы сообщить племяннику кардинальную новость момента. Барк-

¹ Вы должны помешать мне сделать глупость (франц.).

лай смещен. Главнокомандующим всех русских армий назначен одноглазый Голенищев-Кутузов. Дело не прошло гладко, вот подробности. Вопрос решался в комитете из шести главнейших сановников империй. Никто из них не оспаривал необходимости заменить Барклая, а о кандидатах в главнокомандующие сильно спорили. Назывались имена Багратиона, Беннигсена, Торماسова. Но в конце концов остановились на Кутузове. Единогласное решение это очень не понравилось императору, он не желал Кутузова. Подписывая приказ, он сказал, как некогда Понтий Пилат: «Я умоваю руки!» Самоотречение этого прекрасного императора пошло еще дальше — он предоставил новому главнокомандующему полную свободу действий и отказался от своего несомненного права вмешиваться в его распоряжения. Под этим условием Кутузов принял назначение и уже выехал к армии.

Прочитав все это, Лайминг аккуратно сложил письмо и посмотрел на Толя. У полковника был такой довольный вид и такая блаженная улыбка гуляла по его губам, что граф изумился.

— Как, — воскликнул он, — вас не тяготит перспектива лишиться нашего достойного Барклая? Я мало знаю Кутузова, но знаю, что для меня он не будет вторым Барклаем. Я хочу проситься в строй. Посоветуйте же мне, ради бога!

— Хм! Строй несомненно нуждается в таких отличных офицерах, как вы, граф! — сказал Толь. — А что касается меня, мое положение отнюдь не схоже с вашим. Кутузов и для меня не будет Барклаем, но он будет Кутузовым, и мне больше ничего не надо. Я был кадетом Сухопутного корпуса, когда он был директором и любил меня, как сына. Однако почему мы говорим об этом назначении лишь применительно к нашим собственным делам? А армия? А Россия? За месяц мы очутились позади Смоленска. Как же не пробежать неприятелю в десяток дней трехсот верст до Москвы, покамест главнокомандующие будут спорить и переписываться о Поречье и Мстиславле? Кутузову не надобно будет ни спорить, ни переписываться. Правда, он стар. Что ж? Мы попробуем гальванизировать его дряхлость. У нас нет недостатка в энергии. Промахи и порицания мы отдадим ему, — его славное имя не боится их, — а успехи и похвалы по справедливости возьмем себе. Армия узнала Толя полковником, в пышных эполетах он будет героем всей России. Мы сломаем сопротивление везде, где оно встретится, обломаем крылья Багратиону, обрубим хвост Ермолову...

Толь уже не сидел. Он стоял посредине шалаша, возбуж-

денно-радостный, розовощекий, пышущий здоровьем и силой, и широко разводил рукой, в которой еще дымилась трубка со сломанным пополам чубуком.

— Das ist ein schönes Land, da ist alles anzufangen!¹

**
*

У села Федоровки, почти под самым Дорогобужем, отыскалась наконец позиция, вполне подходившая для генерального сражения. По крайней мере, генерал-квартирмейстер именно так говорил о ней Барклаю:

— Das ist die starke Position!²

Собственно говоря, позиция эта обладала такими крупными недостатками, что и сильной не была и для генерального сражения не годилась. Толь знал эти недостатки. Но он был совершенно уверен в том, что Барклай, последовательно уклонявшийся до сих пор от боя, меньше всего собирается давать его теперь, накануне своей смены, о которой, вероятно, уже имеет сведения. Маленькая комедия с позицией у села Федоровки никому и ничему помешать не могла. Приказано идти позицию — Толь нашел ее. Надо, чтобы она считалась сильной, — пожалуйста: das ist die starke Position! Так думал Толь.

А Барклай думал совсем иначе. Действительно, ему уже было известно о назначении Кутузова. С приездом нового главнокомандующего заканчивался целый период великой войны, связанный с именем Барклая. Много горьких часов и дней пережил Михаил Богданович за это время. Ненависть войск угнетала, оскорбляла, мучила его нестерпимо. Тридцать лет боевой дружбы с русским солдатом шли насмарку. Клевета и народное презрение были единственной платой за верность и преданность. И не находилось до сих пор никакого средства, чтобы помочь беде. Только теперь, когда новый главнокомандующий уже ехал в армию, а Барклаю оставалось командовать всего лишь несколько дней, открылось такое средство. Теперь можно было наконец пойти на то, чего так страстно хотелось и армии и народу. В эти последние дни Барклай был готов встретиться с Наполеоном. Будет успех — не он поведет войска к новым победам. Будет поражение — не он соберет и укрепит разбитые силы. Надо было решиться на бой, чтобы имя полководца Барклая не оказалось связанным навеки с одними лишь отступательными

¹ Прекрасная страна, где можно предпринять все, что угодно!
(исм.)

² Это сильная позиция! (исм.)

ми маневрами предусмотрительного и осторожного ума. Прежде чем покинуть армию, Михаил Богданович хотел оправдаться в ее глазах. Единственным средством был генеральный бой.

— Eine starke Position! — говорил Толь.

— Покажите мне эту позицию, Карл Федорович, — сказал Барклай, — я осмотрю ее вместе с князем Багратионом.

Он никогда не просил — он приказывал. Но приказания редко подкреплялись у него соответствующим тоном. По отношению к Толю он, сверх того, и не хотел быть повелительным, а между тем именно от этого разыгрывалось самолюбие полковника и странно раздражалась его заносчивая мысль. Он поклонился с холодной улыбкой.

10 августа оба главнокомандующих и цесаревич со штабами и свитами выехали на осмотр позиции. Покачиваясь впереди на своем сером иноходце, Толь давал пояснения. Его плечистая фигура, быстро поворачивавшаяся в седле то туда, то сюда, загораживала собой места, о которых он говорил. Но он не замечал этого. Несколько раз Багратион ударял серого иноходца нагайкой по репице. Толь оглядывался, прикладывая пальцы к киверу, и снова заслонял своей спиной весь горизонт. Давно уже этот самоуверенный и нагловатый человек не нравился князю Петру Ивановичу. И даже во внешности его было много такого, что Багратион находил противным: и сытая розовость, и вечная улыбка с оттенком надменности, и голос, отрывистый и грубый.

— Эко время наше, ваше высочество, — прошептал князь Петр цесаревичу: — тот и молодец, кто плут и наглец!

Константин Павлович взглянул на Толя и, соглашаясь, кивнул головой.

— Однако, Карл Федорович, — сказал Барклай, — это вовсе не сильная позиция. Возвышенность на правом фланге приходится как раз против продолжения первой линии наших войск. Это значит, что французы вдоль всего фронта нашего могут бить...

— Можно занять возвышение редутом, ваше высокопревосходительство, — отвечал Толь, — и неудобства не будет.

— Да, можно поставить там редут. Но озеро помешает нам поддерживать редут войсками. Придется сразу отрядить туда много пехоты и артиллерии, чем лишим их участия в общем бое. А ежели их вытеснят оттуда, то где путь безопасного для них отступления?

Толь не ожидал ничего подобного. Барклай критиковал позицию самым обстоятельным и глубоким образом, так, как он один только и умел. Генерал-квартирмейстер покраснел

от досады. Во-первых, он не понимал смысла этой привязчивости; во-вторых, критика непоправимо подрывала его репутацию самого ученого и знающего штабного офицера в армии. И это происходило за несколько дней до приезда нового главнокомандующего! Вероятно, Барклай не подозревает, что судьба его уже известна Толю. Надо было сейчас же покончить с этим нелепым и до крайности невыгодным положением. Как? Барклай должен получить резкий и твердый отпор. Тогда он поймет всю запоздалость и ненужность своих придирок. Толь быстро перебрал пальцами ремни уздечки и мундштука. На лице его явственно проступило выражение надменного и дерзкого упрямства.

— Лучшей позиции, чем эта, не может сыскаться, ваше высокопревосходительство. Не знаю, чего вы желаете от меня. Я выбрал позицию, следовательно в ней нет и тех недостатков, о которых вы говорите.

«Я выбрал». Он с особенной округлостью и твердостью выговорил это «я».

Багратион внимательно прислушивался к разговору главнокомандующего с генерал-квартирмейстером. Барклай был прав: позиция никуда не годилась. Князю Петру живо представилось, какие бессмысленные ошибки в ведении боя были бы неизбежны, если бы армия заняла ее. Сколько жертв, крови, страданий и потерянных шансов на успех! Честь Барклаю, что заметил оплошность любимца своего и не скрыл ее, как бывает. Здесь нельзя давать боя. Умен Барклай! Но Толь что за птица! И как скоро сменил покорность на неслыханную дерзость, с которой защищается! Спроста ли? Нет, конечно! Пронюхал и полез оскорблять. Впечатлительная душа князя Петра страдала. И вдруг, как порох, вспыхнул в ней жаркий гнев. Он с такой силой дал своему коню шенкеля и шпоры, что тот прыгнул вперед и заметался, наскочив на серого Толева иноходца.

— Как смеешь ты так говорить, полковник? — в бешенстве крикнул Багратион. — И перед кем? Перед братом своего государя... Перед главнокомандующими... Ты... мальчишка... Знаешь ли, чем пахнет это? Белой сумой! Солдатской рубашкой! В ранжир тебя!..

Он с размаху ударил кулаком по шее своего коня. Резкий профиль его четко обозначился на фоне согретого солнцем светлого неба. Словно орлиная голова выглянула из-под шляпы с разноцветным перьём.

Кругом было тихо. Барклай неподвижно сидел в седле со спокойным, почти равнодушным лицом. Цесаревич осадил своего чалого в толпу свитских офицеров. Толь побелел.

Приложив пальцы к шляпе, он так вытянулся, что мог сойти и за худенького. Еще мгновение, и по лицу его побежали крупные прозрачные слезы. Багратион повернулся к Барклаю.

— Вы правы, Михайло Богданыч! И по мнению моему, позиция здешняя — гиль. Боя давать нельзя тут. Жаль очень, что завели нас сюда. Приходится отступить! Не мешкая, будем к Гжати двигаться. Там Милорадовича с подкреплениями дождемся, а уж потом станем биться порядочно. Далее — ни шагу!

Барклай молчал. Как он мог сказать «да» или «нет», когда, повидимому, не он уже будет и командовать в Гжатске? А выговорить во всеуслышание этот последний резон трудно. О, как трудно! Вот если бы помог кто! Это сделал Багратион. Он все понял. И, поняв, словно вынул из кармана и на стол положил:

— Может в Гжать и новый главнокомандующий прибыть... А впрочем, как вам, Михайло Богданыч, угодно!

И он с такой открытой улыбкой посмотрел кругом, что и Барклаю, и цесаревичу, и Ермолову, и даже Толю показалось, будто, глядя прямо в лица единомышленников и врагов, хочет он влить в них частичку своей простой и честной солдатской души. Барклай наклонил голову.

— Едва ли в Гжатске распоряжение будет еще мне принадлежать, господа.

Он повернулся к дежурному генералу Кикину.

— Тотчас повеление дайте к отходу назавтра, в четыре часа поутру.

На обратном пути Ермолов подъехал к Толю.

— Как же это вы, Карл Федорыч? Ошиблись — пустое, а зачем в драку кинулись?

Толь поднял на него угрюмый взгляд и ответил по-французски, чтобы не понял Багратион:

— *S'il n'y a pas de position, il faut en faire une. C'est mon métier. Faites le votre aussi bien!*¹

Глухие раскаты канонады доносились из арьергарда. Это Платов удерживал натиск французских полчищ, рвавшихся к Москве. «Завтра же буду проситься в строй», подумал Толь.

**
*

В Дорогобуже было всего две улицы, пересеченных переулками и застроенных низенькими деревянными доми-

¹ Когда нет позиции, ее надо создать. В этом мое ремесло. Попробуйте так же хорошо выполнять ваше дело (франц.).

ками. Середину города, вплоть до реки, занимала широкая площадь, поросшая травой и цветами. Днем на ней мирно паслись коровы и гуси. А сейчас, в темный и ненастный вечер, предвещавший скорое наступление ранней осени, по площади этой проходили войска. Главнокомандующий пропускал мимо себя сводную гренадерскую дивизию Первой армии.

Жители покинули город. Завтра надвинется на него арьсргард, отбивающийся от французов. Вспыхнет Дорогобуж, и останутся от него одинокие трубы да обуглившиеся стропила. Так погибло в огне уже немало мелких городов, через которые отступала армия. Теплый и удобный почлег мог бы найти враг в тысячах домов, обжитых многими поколениями русского люда. И не нашел! Никто не сомневался в том, что так лучше, что именно так и надо. Но эти картины разрушения жизни, чужой и вместе близкой, ожесточали отступавшую армию не только против французов, но и против Барклая.

Шел дождь, холодный и частый. Ветер с яростью разносил косые полосы воды и швырял их прямо в хмурое, бледное и усталое лицо главнокомандующего. Барклай стоял с двумя-тремя адъютантами у закраины дорогобужской городской площади. Плащ развевался на нем, как знамя, то прикрывая, то обнаруживая тусклый блеск бриллиантовой звезды. Если бы он не придерживал рукой большой генеральской шляпы, ее давно снесло бы. От многолюдной главной квартиры его, как часто бывает в подобных случаях, почти никого не осталось. Но ни дождь, ни внезапное нерадение адъютантов, ни усталость — ничто не могло смутить его спокойствия. Войска тянулись мимо нестройными, глухотшумливыми рядами. Барклай знал, как надо понимать это: солдаты не хотели больше видеть в нем главнокомандующего. Однако время от времени он говорил:

— Здорово, ребята!

Приветственные слова эти падали в мокрую темь и замирали в ней без отзвва. Солдаты не хотели отвечать на них. Только всплески разговоров в рядах поднимались выше.

— Вишь ты, — издевался над главнокомандующим Трегуляев, — долго молчал, ум копил, а молвил — и слушать нечего! «Здорово, ребята!» Не от таких слыхивали. А ты бы ему, Влас, рыкнул: не лезь, мол, дядя с дождя в воду!

Если бы Трегуляев знал, что совершалось в Старыичуке, он бы не подзадоривал его «рыкнуть». Кончившаяся в рекруте с начала отступления злоба против человека, неслас

стпо почему называвшегося главнокомандующим, тогда как он только тем и занимался, что бегом тащил армию прочь от врага, ненависть и презрение к этому человеку жгли его сердце и распирали грудь. Он шагал по лужам, не глядя под ноги и не разбирая, куда приходился истоптавшийся на бесконечных маршах дырявый сапог. Пропаленная у бивачных костров шинель душила его своим высоким и тугим воротником. Глаза его были обращены туда, где стоял великий злодей. И, поровнявшись с этим местом, Старынчук выкрикнул отчаянным голосом:

— Ат, покарай бог, изменщик!

Шум и разговоры в солдатских рядах смолкли. Барклай сделал шаг вперед. Адьютанты его кинулись к карабинерной роте. Раздалась команда:

— Стой! Смирно!

Искали Старынчука. В темноте зечера, может быть, и трудно было бы ему замести свой след. Трегуляев уже несколько раз многозначительно толкнул его в спину. Но Старынчук вовсе не хотел скрываться. Он вытянулся перед графом Лаймингом и отчетливо проговорил:

— Я сказувал, ваше благородие!

ГЛАВА XXVIII

Доложив необыкновенное дело гренадера Старынчука, дивизионный аудитор опустил руки по швам и замолчал. Это был долгоносый чиновник в черном мундире, с лицом переодетого иезуита. Подготавливая дело к докладу, он совершенно не думал ни о Старынчуке, ни о том, почему Старынчук оскорбил главнокомандующего, ни о самом главнокомандующем. Зато над фактической стороной дела очень добросовестно поработал. И в постановлении суда, которое было им составлено, излагалась подробнейшим образом вся история рекрута. Поэтому аудитор решительно не понимал, почему один из членов суда, дивизионный квартирмейстер прапорщик Полчанинов, не только заявлял при судеговорении какое-то особое мнение, но еще и отказался подписать приговор. Есть подписи презуса¹, членов суда, самого аудитора, а подписи Полчанинова нет. Впрочем, обстоятельство это ничего не меняло в итоге дела. Преступление было так чудовищно, что по регламенту Петра Великого полагалась за него смертная казнь четвертованием. Суд приговорил Старынчука к отсечению головы согласно артикулов импе-

¹ Председатель.

ратрицы Анны. Но в соответствии с подобными случаями, имевшими место после 1740 года, аудитор полагал, что начальник дивизии, которому принадлежало право конфирмации приговора, мог заменить его простым расстрелянием.

Принц Карл Мекленбургский взял перо и задумался. «Das ist schrecklich!¹ Без науки побеждать можно, а без дисциплины никогда! С такими солдатами, как Старынчук, нельзя победить Наполеона. Но ведь почти все русские солдаты таковы — темные, невежественные, тупые и лишённые нравственного чувства. Das weisst ja nicht was Ehre heisst!»² От этих мыслей у принца возникло такое ощущение, как будто горчица подступила к носу. Это происходило с ним довольно часто, вероятно от полнокровия. Тогда он закрывал глаза и отчаянно махал рукой, как делают обыкновенно люди чихая. Нечто подобное случилось с ним и теперь, в ту самую минуту, когда он собирался подтвердить приговор. Наконец приступ шекотанья в носу кончился. Принц раскрыл глаза и увидел на пороге шалаша пышную фигуру полковника князя Кантакузена и робко ступавшего за ним прапорщика Полчанинова. Полковник был взволнован, смуглое лицо его пылало, и он прямо с порога, без всяких обиходных церемоний шагнул к столу, за которым сидел принц.

— Par quel hasard vous trouvez-vous ici, prince?³ — спросил его удивленный начальник дивизии.

— Простите, ваша светлость, — отвечал, несколько не смущаясь, Кантакузен, — что с разбегу к вам вторгся... Специл весьма, но дело того требует... Иди, иди, почтеннейший, — ободрял он Полчанинова. — Я взял с собой этого фендрика в надежде на то, что он лучше меня объяснит вашей светлости...

— Хорошо, что вы его взяли. Сейчас я крепко проберу этого молодого якобинца.

— Вы его плохо знаете, ваша светлость! Он сам пробрет кого угодно. С виду красная девица, а в горячке — люцифер. Но сердце доброе и из глубины растет. Таким он и заявился в суде над гренадером Старынчуком. Осмелюсь и я доложить, что солдат этот меньше повинен, чем то казаться может. А уж коли всю правду говорить, то и не он повинен, а другие...

¹ Это ужасно! (нем.)

² Ни чести, ни совести (нем.).

³ По какому случаю вы здесь, князь? (франц.)

— Вы бог знает, что говорите, князь, — возмутился принц, — я только что видел дело. Он действительно назвал главнокомандующего изменником. Следовательно...

— Ей-ей, ничего не следует! Не знаю, что в деле написано, но уж, наверно, не написано, что за два дня до происшествия командир пятого корпуса благоверный государь цесаревич Константин Павлович самолично перед гренадерами то же говорил. Слова гнусного не изволил его высочество произносить, но все, что надобно для рождения его в темной солдатской душе, сказал. Старычुक же по-своему повторил. Свету в душе солдатской, может, и мало, а жара довольно, — вот...

У принца опять защекотало в носу, и он замахал толстыми белыми руками.

— Я знаю все это не хуже вас. Но довольно! Я больше не слушаю! Как вы не понимаете? Я иностранный принц. Не вмешивайте меня в эти дразги! Меня нет! Я — закон! Солдат будет расстрелян! Я гоню прапорщика Полчанинова вон из квартирмейстеров!

— Нет-с! Так не будет! — закричал, вдруг придя в неистовство, Кантакузен. — Не будет! Тогда и меня расстреливайте! Половину армии! Кто вам позволит? Вы иностранный принц. А цесаревич — наш, российский... Чтобы с правдой встретиться, к нему один ход! Желаю здравствовать, ваша светлость! Идем, золотой, прочь отсель!

Он вышел из шалаша, как из бани, отдуваясь и дико вращая черными глазами.

— Каков кадавер¹ злосмрадный? А? Ну, да еще посмотрим! Идем-ка, братец Полчанинов, сперва к князю Петру Иванычу, потом к старику Куруте... А там и до цесаревича дойдем... Посмотрим!

**

Проснувшись после обеда, цесаревич вышел из шатра, приказал подать ружье и принялся стрелять в соломенного солдата, которого возил для этой цели за собой. Утром он уже упражнялся над солдатом, но никак не мог угодить в голову. Он заряжал и стрелял точно по артикулу, будто стоял во фронте. В разгар этих занятий к цесаревичу приехал Багратион.

Еще с итальянского похода 1799 года Константин Павлович привык относиться к князю Петру с уважением, легкой завистью и боязнью колкого словца. Первые два чувства он называл любовью, а последнее дружбой и такими

¹ Труп, падаль.

отношениями с Багратионом кичился и бахвалился. Князь Петр сошел с лошади бледный и сумрачный. Ход отступления волновал и тревожил его. Прежде мучился он в припадках возмущения, в бешеных порывах негодования и досады, теперь съедала его грусть. Он начинал понимать смысл Барклаевых действий. Допускал даже пользу, которая могла от них происходить. Но уверенности в том, что только так надо действовать, попрежнему у него не было. И в беспорочной правильности своей собственной наступательной тактики он также после Смоленска уже не был убежден. Из всего этого возникала какая-то ужасная внутренняя неразбериха. Прежний Багратион знал, чего он хотел, теперешний знал только то, чего не хотел. И это новое было гораздо хуже старого. Своей неопределенностью оно жестоко угнетало князя Петра Ивановича. Не от того ли трясла его через день лихорадка? Не то же ли бывает с людьми, для которых пришел такой термин, что ни жить они не хотят, ни умереть?

— Решил я, ваше высочество, ни во что не вмешиваться, — говорил он цесаревичу. — Давно уж убедился, что никакие мои предложения в дело не берутся. Я теперь на все согласен. Но тоска берет, как подумаю, что и под Вязмой не дадим мы боя. Принесем туда на плечах французов да и дальше пойдем. А до Москвы всего пять переходов!

Цесаревич сморщил свой маленький нос и сделался похож на москью.

— Или очень уж храбр Барклай, или трус беспримерный. Ведь кабы не держал Платов арьергардом своим французов, что было бы? Но на Платова надежды возлагать не всегда можно, он что ни день — пьян. Кричит, что с отчаянья от ретирады. А я знаю: досмерти хочется ему графом быть, ход же дел таков, что лишь во сне примерещиться может ему теперь графство. И — пьет, каналья-старик! Вчера на арьергарде французов прямо в Семлево привел, нам всем на голову. Крик, шум... Снялись, побежали зайцами... Трюх-трюх... Вот тебе и Платов, — один свет в окошке. А неприятель-то на носу...

Багратиону вспомнилось, как обещал он в начале войны атаману победу, как манил его к ней сладким посулом титула для сына Ивана, для дочки Марфуши... как клялся тогда Платов... Что же вышло? Всех отступление сразило. Но цесаревича меньше всех. Не унывает...

— Неприятель на носу.

Багратион посмотрел на нос Константина Павловича и улыбнулся.

— На чем, ваше высочество? Ежели на вашем, дурно Платов арьберггард ведет. А коли на моем, так и еще хлебнуть успел бы.

Цесаревич прыснул и раскатился хохотом. Потом, схватив князя Петра в объятия, принялся щекотать и душить его. Шатер заколыхался. Пузатенькая фигурка Куруты появилась на пороге.

— Утром нынче, — сказал он, — васему сиятельству хвалебный акафист пели два грекоса — князь Кантакузен да я. Не цихалось ли вам? А на его височество залобу принесть хоцу: ездит по войскам и речи против Барклая мятезные произносит. И от того люди гибнут...

Багратион понял, что маленький хитрец в заговоре.

— Об этом вашему высочеству и я представить имею, — подхватил он. — Вы знаете, каков был я до сей поры Барклаю патриот. Слова ваши честны, но что из того выходит?

И Багратион подробно рассказал цесаревичу историю Старынчука так, как знал ее от Кантакузена.

— Барклай оскорблен досмерти. И солдат хороший попустому жизни лишается. А жизнь его отечеству послужить могла. Кто виновен? Во-первых, темнота солдатская, во-вторых...

Цесаревич быстро прошелся по шатру. Он предчувствовал нападение и готовился к отпору.

— И во-вторых, и в-третьих... Глуп гренадер твой, как баран! Как баранов стадо! Голос возвысил! Кто?

— Пусть так! Велик грех, да и причина не мала. Ваше высочество весьма не без вины. Принц Карл — кукла бездушная. С него взятки гладки. Расстрелять солдата — что воды глотнуть. А мы-то что ж? Мы не страшимся смерти на поле битвы. Бесстрашия вашего я давний свидетель. А слово за справедливость и человечество сказать опасаемся, почему? Да еще и вина на нас.

Константин Павлович быстро провел рукой по своим высоким залысинам, опущенным рыжей шерстью.

— Чего же ты хочешь от меня, князь?

— Вы корпусный командир и русский великий князь. Спасите солдата.

Цесаревич сложил из пальцев фигу, чмокнул ее и спросил:

— А этого не надобно тебе? На фонарях качаться не желаю. И якобинству не потворщик. Сгрудили дело, чтобы меня запутать! Речи я говорил, согласен: дурью обнесло меня, сбрендил, да я и отведу. А какой ответ с великого князя российского? Иначе — с солдатом. Портит солдата

война. За дисциплину я с живого шкуру спущу. Мой долг наказывать; милость государю принадлежит. А в драке моей с Барклаем безделка эта камнем на мне повиснуть может. Раскинь мыслью, князь, и увидишь, что по всему следует мне в стороне остаться.

Багратион взглянул на Куруту. Старушечье лицо Дмитрия Дмитриевича сморщилось, словно от боли. Он укоризненно покачивал курчавой головой.

— По мнению вашему, справедливо ли его высочество рассудил? — спросил князь Петр.

— Н-пэт! — отвечал Курута с печальным отворачиванием в голосе.

— Ах ты, грек! — закричал цесаревич. — Так возьми же, пожалуй, розог пучок да и высеки меня!

И он принялся тормошить старика, заглядывая в его грустные черные глаза. Но Курута продолжал крутить головой. Тогда цесаревич быстро поцеловал его в руку.

— Ну, посоветуй же, грек!

— Ваше высочество виноваты, и солдата снасти мадо. Один человек может сделать это.

— Кто?

— Ермолов. Коли захоцет — и коза сыта и капуста цела будет!

— Верно! — воскликнул цесаревич. — Едем, князь, к па-теру Груберу. Эй, коня мне!

**
*

По обыкновению за сутки накопилось множество предметов, о которых Ермолову надо было доложить главнокомандующему. Хотя большинство этих предметов относилось к разряду так называемых «дел текущих», но среди них были вопросы и очень важные и очень запутанные. Как всегда, министр и начальник штаба работали дружно и легко. Резолюции писал Ермолов, — быстро, четко, красиво, прямо на-бело и без всяких помарок. Барклай подписывал. Почь была в половине, когда покончили с планом отправки раненых. Решили из Первой армии отправлять их в Волоколамск и Тверь, а из Второй — в Мещовск, Масальск, Калугу и Рязань. Оставалось еще четыре вопроса. Ермолов положил перед Барклаем рапорт Толя, в котором полковник, не признавая себя способным к отправлению генерал-квартирмейстерской должности, просил об увольнении от нее и назначении к строевому месту.

— Гордость паче унижения оказывает господин Толь, — усмехнулся Алексей Петрович, — пишет: «неспособен», а чи-

тать надобно: «хоть на кознях и осекся, а весьма способен быть могу».

— И есть весьма способен, — сказал Барклай. — Ошибка его у Федоровки не от невежества была, а вовсе от других, худших гораздо причин. Не говорите мне о них, я их знаю и Толью простил. Но к должности своей он очень пригоден и замены не вижу. Скоро реприманд Багратионов забудется. Тогда для пользы общей расцветет Толь. Отказать ему в просьбе его как не дельной!

Ермолов доложил другой рапорт — от Платова. Атаман объяснял неприятное происшествие под Семлевым, когда французы с неожиданной легкостью опрокинули его арьергард и теснили почти до лагеря Первой армии, отчего армия не имела дневки и вынуждена была без передыха отступить дальше. Объяснял он это хоть и многословно, но ужасно темно.

— А дело просто, — сказал Барклай, — потому навел атаман французов на Семлево, что действовал одними казаками, хотя была у него и пехота. Да и казаков в дело пустил всего двести человек. Места лесистые у Семлева, стрелкам французским легко было разогнать казаков. И худо очень, что произошла неосмотрительность такая оттого, что пьян был атаман. А всего хуже пьянства его причины, о коих столь громко кричит он.

— Ретирадой в отчаяние приведен атаман, — заметил Ермолов, — и графства обещанного лишается. Вот причины его.

— Знаю. Но он арьергарда начальник. Не может спокойствие армий уверенным быть, когда от отчаянной рюмки зависит. А если все войско Донское, за атаманом следуя, пьяное заснет? По совести решаю: выслать атамана Платова из армии прочь. А генералу Коновницыну арьергард поручить.

Барклай задумался. Высылкой Платова он начинал борьбу со своими клеветниками. Но надо ли было начинать эту борьбу теперь, перед самым концом драмы, когда осталось Барклаю всего несколько дней быть еще в роли ненавидимого всеми главнокомандующего? Почему не вел он раньше этой борьбы? Барклай был из тех людей, от которых как-то естественнее слышать «нет», чем «да». Однако, в отличие от людей такого склада, он ограничивал почти постоянным «нет» не только поползновения тех, кто требовал от него «да», но и свои собственные желания. Много, очень много раз доходили до него сведения о действиях его явных и тайных врагов. Стоило ему пожелать, и давным-давно никого

из них не было бы в армии. И такие желания являлись, и твердости хватало бы, а все-таки Барклай не делал этого. Он не мог мстить зависимым от него генералам, так как был выше мести, а наравне с собой признавал только дело, чистое и честное, как сама истина. Теперь все это изменилось. Дело выпадало из его рук, и возможность наказания тех, кто мешал делу, сохранялась лишь на несколько дней. Он приказал выслать Платова из армии. Но разве один атаман заслужил этого?

— Любезный генерал, — сказал он Ермолову, — примите еще одно повеление. Его высочество, цесаревич, немногим ушел от Платова. Нельзя больше терпеть его поступков. Не в том беда, что его высочество меня поносит. Не в оскорблениях беда, а в том, что устранить цесаревича от военных совещаний невозможно, а он столь громко критикует и порицает мои распоряжения, что тайпа военных советов беззастенчиво нарушается. Что опаснее быть может? Потому прошу вас завтра же передать его высочеству повеление мое: пемедля из армии отправиться с донсесениями к государю императору в Петербург.

От изумления и неожиданности Ермолов выронил перо. Но Барклай оставался совершенно спокойным. Письмо царю, с которым поедет цесаревич, было уже заготовлено. Михаил Богданович прямо писал в нем о том, что нелепая басня об его измене возникла из болтовни цесаревича, что вред от басни этой безграничен и что положение его в роли главнокомандующего после появления басни стало невозможным. Вздумай он теперь дать французам столь желаемое всеми сражение, и при малейшем неблагоприятном обороте боя басня об измене главнокомандующего повернет армию тылом к врагу. Остается рассчитывать на безусловную и легкую победу. Но такой победы быть не может. Действительно, настало время, когда новый главнокомандующий стал положительно необходим. Им должен быть человек, который свободно примет любое решение и на ответственность свою возьмет любые его результаты.

К делу гренадера Старынчука Ермолов приступал без всякой надежды на успех. Главным козырем Алексея Петровича было такое соображение: простить преступника следовало, чтобы презреньем к невежеству его и ему подобных подорвать под цесаревичем почву для дальнейших шикан. Если Барклай так высок, что, даже смертельно оскорбленный, не боится милосердия, то и слепой увидит подлинную цену цесаревичевых рацеей. Но высылкой Константина Павловича из армии козырь этот был уже бит. Ермолов на

скорую руку, кое-как доложил историю Старынчука. «Хорош я патер Грубер! — думал он. — И надо же мне было податься князю Петру...» Однако Барклай слушал внимательно. А когда заговорил, голос его был мягок и слегка дрожал.

— Два года назад выпустил я из военного министерства циркуляр о том, что нельзя всю науку, дисциплину и воинский порядок на одних лишь жестоких наказаниях основывать. И теперь так же считаю. Есть средства иные, кои и в сравнение с жестокостью по пользе своей не идут. Доброе их качество от доброго разума проистекает. Некогда дисциплина и правда порядка в армии российской именно на них построены будут. Но не скоро еще весьма...

Барклай помолчал.

— Солдат, о коем докладывали вы, любезный генерал, великое против дисциплины совершил преступление. Расстрелять бы его без фраз!

«Вот и готово!» подумал Ермолов.

— Но... не в солдате, а в нас самих главное заключено. И государь цесаревич в этом деле не без вины. А потому, коль скоро происшествие прямо к ведомству его высочества принадлежит, по нахождению преступника в его команде, приказываю на конфирмацию к государю цесаревичу немедленно отправить!

Ермолов понял: не судьба солдата занимала сейчас Барклай, а то, как бы сделать вынужденный отъезд Константина Павловича из армии возможно более для него неприятным.

— Успеет ли его высочество до отбытия подтвердить приговор? — осторожно и тихо спросил он.

Барклай не ответил.

«Ну что же, — с удовольствием подумал начальник штаба, — вдругорядь гренадер спасен будет... А от патера Грубера князю Петру приятный подарок».

И начал быстро писать резолюцию.

ГЛАВА XXIX

Биваки день ото дня становились хуже. Время на них проходило мирно и грустно. Погода была такая, что с утра до вечера висели над землей сумерки. Либо начинался дождь, либо серые облака стряхивали с себя его последние капли. Располагались биваки на ровных песчаных полях, где не было ни деревца, ни кустика. Поля эти казались пустыней, в которой должны быть погребены счастье и сла-

ва русского оружия. Места окрестных деревень означались печными трубами, торчавшими, подобно черным призракам, над гладким горизонтом. Так же неподвижно стояли раненые лошади, одиноко ожидая голодной смерти. Воздух был смраден. Тучи дыма стлались над биваками, расходясь от костров с горевшим навозом. Постепенно темная завеса этого дыма затягивала весь мир. Офицеры в грязных толстых шинелях и рыжих сапогах мало чем отличались от солдат. А солдаты, с худыми и бледными лицами, угрюмо бродили между кострами. Не слышно было ни песен, ни музыки, ни веселых разговоров.

Еще печальнее было вокруг костра фельдфебеля Брезгуна. Здесь поминали расстрелянного Старынчука. Какой-то гренадер из соседней роты подошел с обычной просьбой:

— Мясца бы занять! Али кашицы чуток!

Трегуляев грубо отрезал:

— Говядина в поле жир нагуливает, а канной горшок в гостях гостит. Как из гостей придет, так и до каши черед дойдет. Проваливай, братец!

Солдат озлился на грубость и хлестко отбрил:

— Видать, в Кашире-то у вас и впрямь мало едят, хошь и звонят много.

В другое время Трегуляев выпустил бы в него целый залп обидных прибауток, а теперь даже и внимания не обратил. Трагическая судьба Старынчука занимала все мысли его друзей.

— Отмаячил службу, бедняга, — сказал Брезгун. — Ведь что он мне? Без году неделю и знал. А вот поди ж, — и фельдфебель повертел у груди растопыренными пальцами, — до чего жалость скребет. Да и хороший был солдат!

— Душа в нем изныла. Не вытерпел. И брякнул. Вот, мол, тебе! Кого за спиной корят, а тебе в глаза говорят, получай!

За такими-то разговорами и прошел у костра вечер. Наступила ночь. Погода начала поправляться. Серые облака сбежали с неба, и на тихую синеву его медленно выплыл золотой месяц, покрыв сумрачную землю своим жемчужным сиянием. Иван Иванович стал на молитву. Опустившись на колени, он снял с головы сперва кивер, а потом и курчавый черный парик. Плешивая, как коленка, и только вдоль шеи окаймленная редкими седыми волосами голова его засверкала.

— Упокой, господи, раба твоего война Власия! Святых

лик обрете источник жизни... да обрящет и он путь покаяния... Надгробное рыдание...

Голова Ивана Иваныча заметно тряслась. Трегуляев, тоже без кивера, стоял рядом в глубокой задумчивости. Из холодного мрака ночи донеслись громкие голоса. По земле, плотно убитой, как бывает на выгонах, тысячами ног, глухо застучали шаги. И прямо к костру вышел Старынчук в сопровождении комендантского ефрейтора и полдюжины полицейских драгун. Длинное лицо его радостно улыбалось. Он неловко переминался с ноги на ногу и, повидимому, хотел сказать что-то. Но по обыкновению слова только царапали его язык и никак не сползали.

— Ах ты, пострел! — крикнул Иван Иваныч, не веря глазам, вскакивая с колен и топча сапогами свой курчавый парик. — Да откуда ж ты взялся?

— Ай да Влас! — восклицал Трегуляев, бросаясь к Старынчуку с объятиями. — Неужто простили?

— Прощевали, — отвечал преступник.

— Кто?

— Ат он самый...

— Кто сам-то?

— Пан изменщик!

Брезгун только руками развел.

— Ну и дурень же ты, брат!

Трегуляев замотал головой, как лошадь, — такой взял его смех. Все случившееся было в высшей степени поразительно. Но еще поразительнее оказалась принесенная Старынчуком из-под ареста новость: едет пан Кутузов.

— Куда едет-то? Зачем? — теряя терпение и начиная сердиться, допытывался Брезгун.

Но новость эта уже молнией неслась по биваку.

Дивизионный квартирмейстер прапорщик Полчанинов подошел к фельдфебельскому костру.

— Ну-ка, покажи мне твоего преступника! — сказал он Брезгуну. — Я ведь его и в глаза не видал.

Перед прапорщиком вытянулась счастливая дылда с расплывшимся в улыбке длинным лицом. Фигура эта вызвала в Полчанинове странные чувства. Не откажись он подписать приговор суда, не бросься к Кантакузену, не пойдись с князем Григорием Матвеевичем к принцу Мекленбургскому, а от него к Багратиону и Куруте, лежал бы сейчас Старынчук с пулей в сердце, а не стоял у костра и не улыбался. В этом было что-то громадное, величественное, как победа будущего над прошлым в таинственных судьбах настоящего. И он, Полчанинов, вершитель этой победы! Дело Старынчука не

прошло для Полчанинова даром. Вдруг он перестал быть мальчиком и превратился в решительного и уверенного в себе мужчину. Но и детского в нем еще оставалось много.

— Гудка идет, ваше благородие, будто князь Михайло Ларивоныч командовать нами едет, — осторожно проговорил Брезгун.

Но Полчанинов ничего не ответил, только головой тряхнул да, заломив руку за шею локтем вперед, прошелся голем кругом костра, мелко отбивая ногами плясую.

— Конец дрязгам! Конец ретираде! Ура!

Это «ура» уже гремело по всему лагерю Первой армии. Доносилось оно также и из лагеря Багратионовых войск.

— Едет Кутузов бить французов! — закричал Трегуляев. — Ура!

Только теперь, в эти первые минуты распространения слуха о приезде Кутузова, можно было по всеобщей восторженной радости судить, до какой степени дошли в армии уныние, недовольство и желание перемены.

— Едет Кутузов бить французов! — повторялось повсюду крылатое словцо Трегуляева.

В эту ночь никто не спал на биваках. Не спали и карабинеры у фельдфебельского костра. Подкладывая в огонь навозные комья, они слушали рассказ Иван Иваныча.

**
*

Рассказ фельдфебеля Брезгуна

— Не гребень голову чешет, а пора да времяе. Иной оглянуться не поспел, а уж и стар. Жизнь так прошла, словно деревня между глаз сгорела. Не к тому я это говорю, чтобы за жизнь цепляться, — упаси бог, и в мыслях нет! А к тому, что надо с примечанием жить. Смерть — копейка. Верно! У Михайлы Ларивоныча Кутузова в ученье состоя, выучились мы, старики, и жить и умирать!..

...В восемьсот пятом годе дошла армия российская до городишки одного австрийского, Кремса, на реке Дунае. Ох, широк, просторен Дунай! Не задаром и у нас об нем, об Ивановиче, песни сложены... Дошла армия. А к самому тому времени благоверные союзнички наши, австрияки, прах их возьми, весь пар свой без остатку выпустили. Генерал у них Мак был... Ведь и прозванья-то хуже не сыщешь. Мак... Ну, что это, скажите, за Мак? Неприлично ушам даже. Так вот, прохвостина эта, недолго раздумывая, с семьюдесятью тысячами войска отдался в плен. И уж сомневаться нельзя, что

был бы нам еще и до Кремса полный и безвозвратный каюк, кабы не князь Петр Иванович Багратион.

Под городом Ам... Тьфу, пропасть какая! Давно не бывал я в немецкой земле, язык-то по-ихнему не шустро вертится. Под Ам... Амштетеном молодецки отбился князь Петр Иванович от французов и всю армию прикрыл. Тем и спаслись. Стоим, значит, в Кремсе. Переправа тут через Дунай-реку. Чуем: что ни час, все тесней нам дышится. Бонапарт с армией своей на хвосте у нас гонится и к Дунаю жмет. А подручные его с левого берега в тыл зайти норовят. Однако Михайло Ларивоныч распорядился по-своему. Ровно птицы, перехлестнули мы через Дунай, маршалу Мортю в рыло понадавали, и вмиг очутился он за рекой. Подошло дело к ночи...

Ну-с, это уж я прямо скажу: боже, создателю всякой твари, избавь от этакой ночки! Черна, сыра, — ни ране, ни после не-видывал. В октябре дело, ни луны, ни звезд. А куда ни глянь, полыхают огни, бегут, катятся, полосами и разводами расстилаются — пушки да ружья ратуют в горах. Ну и горы! Лес высок, дремуч, непроходен, еле двум живым в ряд пройти. Как быть? Двинулись. А уж коли двинулись, так и прорвались. Эх-ма!

Только слышно вдруг стало, что австрияки у самого своего столичного города Вены пропустили Бонапарта. И он уж шагает, чтобы отрезать нас от другой русской армии, что из отечества в сикурс к нам шла. Одно из двух: либо навстречь Бонапарту всем скопом бросаться, на полный риск, либо заслон ставить. Михайло Ларивоныч всегда карты любил к орденам держать, чтобы раскрыться при полной лишь ясности. И рассудил он выставить заслон. Зовет князя Петра Ивановича.

— Князь любезный мой, друг, сын и товарищ! На грудь твою крепкую надеюсь. Загороди нас. А мы за тобой на большую дорогу выскочим и с сикурсом сойдемся.

У Петра Ивановича ответ прост:

— Слушаю-с!

Авангард... Я в нем был. Четыре тысячи человек и одна батарея. Смех! Ступит Бонапарт — и пятнышко. Мух так бьют. И все мы понимали, что пришло обречение на жертву вечернюю. Всяк солдатик из обоза понимал. Надясь пятьдесят восемь мне отбухало, еще столько прожить, а не позабуду: прощались Михайло Ларивоныч с Петром Ивановичем. Обнял старик наш князя, щека к щеке... И... и... Тьфу, пропасть возьми, никак в горло табак засыпался! И голову князь склонил. А Михайло Ларивоныч трижды его осенил.

В крестный путь шли! Перли на рожон, прямо смерти в глаза гляючи.

Австрийцы впереди нас прыгали. И князь Петр Иванович на них полагался. Таким манером достигли мы городишка, Шенграбеном зовется. Тут австрийцы себя и показали. Ни здравствуй, ни прощай, хвост дудкой, и поминай, как имечко! Ушли! Петр Иванович вцепился было: «Куда? Стой! Не пушу!» А потом видит: живы — не люди и помрут — не покойники. От такой немчуры-шушеры в бою беспорядок один, а пользы ни на пятак. Он и плюнул. Да еще и ногой растер. Выслал казаков и выставился на позиции перед городом.

Зажглось дело! Шенграбен! И слово-то страшное! Уж зажглось, запылало! Бродит меж французами Бонапартов сродственник, королишка Аким Мюратов. Он первый повел на нас атаку, а за ним пять маршалов, и у каждого полный корпус войск. Это на четыре тысячи! У них батарей без счета, у нас одна-одинешенька. Что ж сказать? Сгибли бы в прорве этой, и след бы растаял, да князь-то Петр Иванович зачем? Приказал он бить по Шенграбену из пушек. И били, покамест не загорелось. А как загорелся город, пехота наша стройными рядами, шаг за шагом, кровью обливаясь, а дистанцию точно блюдя, начала тихохонько отходить. И так пятились до полуночи. Врать не стану: были и расстройств. Так, кое-где. Но больше от убыли сильной да от мрака недоброго, а трусов не было. Бонапарт прискакал самолично, чтобы дело свое подпереть и горсточку нашу с земного лица стереть. Не тут-то было! Ядра, гранаты сыпятся... Конница со всех сторон в палаши рвется... А мы с пехотой режемся... Батюшки-светы! Страсть! Чуть где похуже, князь Петр Иванович мчитя и прикрытие за собой ведет. Глядь, и оправились люди. Такой-то прогулочкой пришли мы в деревню... Дорф какой-то. И тут по чрезвычайной темноте уличной наши два батальона с казаками об руку весь напор Бонапартов на себе понести должны были. Тут и я в седьмой раз ранен был и пал замертво. А встал с унтер-офицерским шевроном!

Фельдфебель задумался. Прошло минуты две.

— Вышло нас четыре тысячи, вернулась половина. В остальном во всем по-писаному, как по-тесаному. Выиграли сутки. Тем временем Михайло Ларивоныч далеко продвинуться успел, что и надо было. Я на полуфурке лазаретном лежал. Но очевидные свидетели рассказывали. По исходе дела Михайло Ларивоныч князя Петра Ивановича обнял при всех, к себе прижал и говорит:

— Пойди ко мне, генерал! Здравствуй, герой! О потерях не спрошу. Ты жив, с меня довольно!

Трудно солдату знать, жизнь ли его али смерть нужней родине. Сама родина ему приказывает. Но одно верно: солдату к славной смерти надобно всей жизнью готовиться...

ГЛАВА XXX

Лошади бойкой рысью тянули в гору, и карета раскачивалась на высоких рессорах, как лодка под штормом. Было близ полночи, и до Царева Займища оставалась одна подстава. Сидевший в карете тучный старик с большим мясистым носом и мягкими складками жира на широкой шее попробовал взглядеться через окно в ночь. Но так как зрячим у него был один только глаз, а не оба, да и тот видел плохо, ночная чернеть встала перед ним непроницаемой стеной. Тогда он задернул на окне занавеску, поплотней запахнул серую генеральскую шинель и со вздохом откинулся на подушки. Так делают путешественники, когда собираются вздремнуть. За вздохами следует сперва легкий, с тонким носовым присвистом, а потом густой и широкий, как органная гамма, храп. Старик действительно захрапел. Седые брови его сурово сдвинулись, а толстые губы, наоборот, разошлись в лукавой полуулыбке, как это бывает у спящих детей. Но он не спал, а думал. Давно уже приучил он себя к этой незатейливой хитрости: принимать вид спящего, когда надо думать. И в конце концов привычка сделалась необходимостью. Несмотря на постоянную физическую усталость, неразлучную с семьдесятю годами трудной жизни, полубессонные дорожные ночи и неприятную тряскость экипажа, голова его была удивительно свежа. Он не раз замечал в себе эту особенность. Чем труднее обстоятельства и опасней положение, тем ясней голова и острее мысль. Он сладко похрапывал, растянувшись на пышных подушках, а мысли вихрем проносились через его никогда не отдыхавший мозг. «Что ж? — думал он. — Видывал я и ласки фортуны и то, как поворачивает она свой жесткий хребет. Но мертвый не без могилки, а живой не без места. И коль скоро есть плечи, находится хомут. Боже, какой хомут! Конечно, Барклай не мог вынести этой тяготы. Он честен, умен, разумен, но не умеет опираться на то, что оказывает сопротивление. Все, что он мог, он сделал. Затем ему надлежало пасть. Багратион — остер и колок, скор и неутомим, рыцарь благороднейший. Каждое из свойств таких часто у людей встречается. Но в нем они все

вместе собраны и столь явно на пользу направлены, что в них тонут, делаясь вовсе незаметными, своеобразные князя Петра недостатки. Но и ему не спасти России...» И старик в сотый раз принимался обдумывать то, что предстояло ему сделать тотчас по приезде в армию, для того чтобы с первых же шагов завладеть ею и повести по пути, который был им намечен еще в Петербурге. Только по этому пути идя, можно было вырвать у судьбы победу и завоевать спасение России.

Рядом с этими важными мыслями в голове старика ожидала нестрайя вереница последних петербургских впечатлений. Вот госпожа де-Сталь¹.

— Сударыня, — говорит он ей, — труден и непосилен мне подвиг. Я стар. И даже вижу плохо!

— А все-таки, генерал, я уверена, что вам еще придется повторить слова Митридата²: «Мои последние взоры упали на бегущих римлян...»

Кабы умела госпожа де-Сталь предсказывать, как Ленорманша!³

Карета умерила ход и перестала раскачиваться. За занавешенными окнами мутно засверкали станционные огни. Суетливо забегали люди. Заслышались их тревожные голоса. Заржали лошади, и взвыли, вторя им, почтовые рожки. Вот она — последняя подстава!

**
*

Путнику хотелось размяться, но непредвиденных встреч на станции он не желал. И поэтому послал адъютанта на разведку в станционный дом.

— Его высочество цесаревич Константин Павлович проездом из армии в Петербург, — доложил адъютант, — изволит почивать. Генерал-от-кавалерии Платов также проездом из армии.

— А что Платов творит?

Адъютант уже открыл рот, чтобы ответить: «Тянет ром, ваша светлость», когда железная рука оттолкнула его от кареты и в окно всунулась растрепанная голова дюжего атамана. Матвей Иванович действительно был во хмелю. Глаза его были красны, небритые скулы лоснились от жаркого пота. Густой аромат ямайского рома наполнил карету. Пла-

¹ Знаменитая французская писательница. Политический враг Наполеона. Гостила в Петербурге, когда оттуда уезжал Кутузов.

² Понтийский царь, победитель римлян.

³ Известная парижская предсказательница.

тов был не только пьян, но еще и взволнован. Губы его всдрагивали, и на худом морщинистом лице не было и в помине обычного хитрецкого выражения.

— Михайло Ларивоныч, — восклицал он захлебывающимся голосом, — князь светлейший! Полюбуйтесь старым казаком! Вот до чего довели! Жизнь моя для меня мало теперь интересуется! Сорок второй год служу, а такого коловратства не ожидал. Правду скажу: слабость свою и сам чувствую. В старости лет и тупом зрении службу свою тягостной находить стал. Но... политика — политика, а рубаться-то ведь нужно! Не дают... Выговором за Семлево сразили до болезни. Все прочь кинулись, словно бы зачумел я. Ох, Барклай! Просто не разойтись нам!

— За что же распорядился так Михайло Богданыч с братом государя своего и с тобой, заслуженным воином? — спросил Кутузов.

— Цесаревича за оппозицию, а меня за то, что пример отчаянья войскам показую...

— Ну, а под Семлевым что было? Эх, как шарахает тебя, друг любезный! Покамест коней перекладывают, иди-ка лучше ко мне в карету и по-толковому объясни.

Усевшись против Кутузова, атаман принялся с жаром рассказывать:

— Отступал я через Славково к Семлеву с перестрелочкой. Авангард французский уже в Славкове был. Мост там, у болота... Попытал я на нем устоять. Где уж! Французы пушками мост сбивают, колоннами пехотными валятся на него, как из мешка. Я — шаг по шагу назад... Мыслю: на медленном ходу до вечера продержусь. Что ж? Продержался до утра! Дале — хуже. Облепили меня ханцы, будто аравитяне в пустыне. Ма-я-та! Идут они большаком, много! У Семлева — село Рыбка на речке Осме... Что ж? Будем ребра считать! Князь светлейший! Шесть разов в атаку на французскую кавалерию до самых пушек ходил. Скрутя голову дрался отчаянно. Но... пал! Отступил в полбежка к Семлеву. Вот и всё!

Платов зарыдал.

— За что? Ась?

Кутузов положил на плечо атамана пухлую руку, покрытую сивым пухом и мелкими коричневыми пятнышками.

— Был ли ты, Матвей Иванович, пьян в тот день, я не спрашиваю. Служили мы с тобой и без пьянства. Сам ты расчесть умеешь, где отечества польза и благодарность, а где воюющий штюф. Совесть человеческая широка, а службе ты пужен. Следственно, из кареты моей тебе и вылезать

незачем. Его высочество, цесаревич, поживает. И смель не могу обеспокоить священный сон его....

Кутузов дернул за сонетку¹.

— Готово?

— Так точно, ваша светлость! — отвечал снаружи десяток голосов.

— Трогай с богом!

Лошади рванули, и карета заколыхалась. Платов опустился на колени. Губы его быстро двигались. Кутузов с трудом улавливал слова:

— Есть море-океан, а за тем морем горы каменные. Среди тех гор стоит архангел Михаил. Сохрани меня, раба божия, аминь! Буйную голову мою огради светлым месяцем, ясным солнышком, белою зарею, чтобы тела моего враги не окровавили, души не сгубили, чтобы супротивников моих уста кровью запеклись на веки вечные. Пойду я, раб божий, в зеленое рукомойло, к морю-океану, помолюся да поклонюся, аминь!

— Это что же такое? — с изумлением спросил Кутузов.

— Молитва наша донская, — отвечал атаман, с которого уже начинал соскакивать хмель, отчего и лицо его постепенно приобретало обычное хитрецкое выражение, — сызмалетства с крестом рядом в ладонке ношу. Против напастей первое средство. Не верите, Михайло Ларивоныч? — воскликнул он, заметив усмешку на бледных губах Кутузова. — А я сейчас докажу. На станции, сидя за бокальчиком, я молитву эту подтверживал. «Среди тех гор стоит архангел Михаил...» Слышу вдруг — шум, бегут, шепчут: едет, едет... Я наружу стремглав. Ах, архангел-то Михаил персоной своей светлейшей прямо передо мной. Чудо!..

**
*

Кутузов подъезжал к Цареву Займищу 17 августа, холодным утром серенького дня. У самой деревни внимание его привлек казачий конвой, сопровождавший пленного неприятельского офицера. Кутузов приказал позвать старшего из конвойных. К карете подскочил Ворожейкин.

— Кого ведешь, друг мой? — спросил Кутузов.

— Полковника тальянского, ваша светлость! — бойко отрапортовал Кузьма.

Фельдмаршал с любопытством поглядел на пленника. У него было бледное, испуганное лицо. Из-под плаща высывалась наскоро перевязанная раненая рука. Кутузов сде-

¹ Звонок.

лал ему знак. Итальянец подбежал. Толстый старенький генерал, которого он увидел в карете, не произвел на него большого впечатления. Под пыльной серой шинелью итальянец рассмотрел зеленый армейский сюртук без эполет и шарфа. Седые волосы генерала были прикрыты белой фуражкой без козырька, с красной выпушкой. Лицо... Да таких физиономий, простодушно-лукавых и ласково-поведительных, полна Россия. Глаз выбит пулей. Хм! Бригадный командир, а может быть, и дивизионный начальник, не больше!

— Кто вы, господин офицер?

— Итальянской королевской гвардии полковник Гильемино, квартирмейстер четвертого корпуса вице-короля Евгения, ваше превосходительство.

— Принц Евгений, — усмехнулся Кутузов, — мой старый знакомый... Как поживает этот красивый принц? Когда и где он потерял своего квартирмейстера?

При словах «мой старый знакомый» Гильемино вытянулся.

— Третьего дня у деревни Михайловской я был взят в плен казаками из арьергарда Второй русской армии, ваше сиятельство.

— Принц Евгений у Михайловской? А где сейчас его французское величество, с коим не встречался и с самого восьмьсот пятого года?

«Кутузов», догадался Гильемино и по-солдатски захлопал глазами.

— Я не знаю, где император, и потому не могу доложить вашей светлости.

Михайло Ларивоныч засмеялся.

— Не поднимайте моих титулов выше, полковник. Последнего совершенно достаточно. Итак, вы забыли, где император Наполеон. У вас будет досуг, чтобы вспомнить.

И он отвернулся от пленного.

— Кто взял в плен этого молодца?

Ворожейкин вздрогнул.

— Мне бог привел, ваша светлость!

Кутузов так ласково посмотрел на Кузьму своим единственным глазом, что у казака в горле запершило.

— Экий ты волосач, друг мой! Самсон настоящий... Расскажи же, как удалось тебе зацепить итальянца.

— Руками взял, ваша светлость, — отвечал Ворожейкин, — как дудака в гололедицу.

— Ха-ха-ха! Как дудака... Слышишь, Матвей Иванович? Дудак... Дудак... Ха-ха-ха! Спасибо же тебе, друг мой, за

службу. Дудак... А не знаешь, Матвей Иваныч, хороший ли он казак?

Платов давно уже узнал Ворожейкина и отвечал без запинки:

— Первый по кругу урядник, ваша светлость! Из отменных впереди!

— Коли так, поздравляю тебя, любезный, хорунжим, — сказал Кутузов, — а ты, атаман, нынче же в приказе по войску Донскому о производстве и о подвиге сего господина офицера отдай и насчет... дудака включи безотменно. Трогай!

Карета откатилась уже довольно далеко от того места, где все еще в полной неподвижности стоял рядом со своим косматым коньком хорунжий Кузьма Ворожейкин. «Батюшки мои! — думал он. — Да как же это? Сколько лет лямку тяну, и вдруг... Эх, да зато уж и знай наших! Кажись, во всем роду ни одного чиновного не бывало, я первый... И-и-их, куда выехал, Кузьма Ивлич!..»

**
*

Суворов любил подшутить над парадными встречами. Думали, что он приедет в карете, а он подкатывал на перекладной. Дожидались у заставы — он появлялся из переулка. Так, по-суворовски, приходят иной раз события, которых долго и с нетерпением ждут люди. Обмана нет — событие приходит, но только не совсем так, как его предвидели. Или не с той стороны, или не в тот час. Вот двинулись к нему навстречу, а оно уже позади, глядь, едва не разминулись. Нечто подобное случилось с Толем 17 августа.

День был непогодливый. Серое небо казалось таким низким, что хотелось согнуться, чтобы не задеть его головой. Но Толь с раннего утра был за работой. Барклай приказал ему к приезду Кутузова, — князя ждали вечером, — приготовить у Царева Займища позицию для боя. Полковник понимал, что комедия кончилась. Барклай не боялся больше сражения — его даст новый главнокомандующий. Недавняя передряга лишь очень не надолго повергла Толя в уныние и выбила из колеи. У него был счастливый характер: свались на него целый Монблан неприятностей, он и тогда бы встал и отряхнулся как ни в чем не бывало. И передряга эта в конце концов лишь укрепила его, освежив для новой усиленной деятельности. Полковник скакал по позиции, указывал квартирмейстерским офицерам места для расстановки корпусов и дивизий и при этом ужасно шумел, пылил и грозился.

— Сначала выходит средняя колонна и занимает места, выкрикивал он приказания, — строится в порядке и без суматохи. Полки правого крыла идут вправо, полки левого — прямо. Остальное потом. А теперь живо! Живо!

И он нещадно шпорила своего иноходца, серый хвост которого, раздуваясь веером по ветру, мелькал то здесь, то там. Случалось Толю вмешиваться по пути и вовсе не в свои дела. Так наскочил он на батарею Травина.

— Куда вы выдвинули, поручик, ваши пушки? Зачем? Где у вас диоптры¹ на орудиях?

Травин знал, куда и зачем он выдвинул пушки. А побрякушки, обычно болтавшиеся на орудийных затыльниках и сильно мешавшие стрелять, он еще под Смоленском действительно велел снять. Но при чем тут генерал-квартирмейстер? Травин отвернулся, не отвечая. Толь наехал на него горячей мордой иноходца. Широкая окатистая грудь полковника бурно дышала.

— Я спрашиваю, где диоптры?

Травин тихонько засвистел вместо ответа. Канонир Угодников, стоявший у правого орудия, изменился в лице. Он любил своего начальника за смелый дух и справедливую душу и ставил неизмеримо выше всех «господ», с которыми приходилось ему до сих пор служить. Но было в характере Травина что-то такое, отчего Угодников постоянно опасался за сохранность поручика. «Не сносить ему головы, — часто раздумывал канонир, — стинет нипочем. От характера!» И с неусыпностью преданной няньки следил, как бы не накликалась на Травина беда. Сейчас она возникала в лице генерал-квартирмейстера, суровость и гневливая мстительность которого были известны. Толь кипел, как чайник на огне. А Травин посвистывал. Угодников мысленно перекрестился и вышел вперед.

— Сами мы диоптры сняли, ваше высокоблагородие. Касапия в них высокого нет. Чуть у пушки одно колесо повыше, так уж и целить нельзя.

Толь изумленно посмотрел на солдата. Умное и серьезное лицо Угодникова поразило его. Поведение поручика было до оскорбительности странно, но ссора или поединок с ним — ненужная бессмыслица. Дерзость, с которой солдат кинулся спасать Травина, оказывалась еще более спасительной для самого генерал-квартирмейстера. Толь был благодарен Угодникову и спросил с неожиданной мягкостью в голосе:

¹ Прицельные приспособления в артиллерии. Тогда употреблялись очень несовершенные, кабаиовские (по фамилии изобретателя) диоптры.

— Как же ты без диоптра целишь, молодец? Объясни, пожалуй.

— Просто, ваше высокоблагородие. Господин поручик выучили.

Угодников нагнулся к шестифунтовой пушке, поставил на линию прицела два больших пальца и через углы соединенных суставов и мушки навел.

— Промаха не бывает, ваше высокоблагородие.

«Чорт знает что такое! — подумал Толь и еще раз пожалел, что залез в историю с диоптрами, не спросив броду. — Однако ретироваться перед этим поручиком не годится...»

— А что у вас за лошади, господин офицер? — сердито спросил он. — Одры, а не кони... В засечках... У вынесенных хвосты голые... Не бережете своей репутации, господин офицер!

Травин медленно повернулся и сказал сквозь зубы:

— Очень жаль, полковник, сжели, по мнению вашему, репутация русского артиллерийского офицера от скотов зависит!

За спинами Толя и Травина раздался лукавый, рассыпчатый старческий смех. Оба они обернулись. На старом белом мекленбургском мерине сидел Кутузов и весело покачивался в седле. Он был в том же костюме, что и в дороге: сюртук без эполет враспашку над заношенным белым жилетом, белая фуражка без козырька. Только не было на нем теперь шинели да прибавились перекинутые через плечо шарф и нагайка. Рядом с ним гардовал Багратион и неподвижно возвышался на строгом кене Барклай. Позади шепталась, кивая султанами, пышная свита. Откуда они взялись? Как подъехали? Толь вспотел от неожиданности и замер, отдавая фельдмаршалу честь.

— Здравствуй, Карлуша, — проговорил Кутузов. — Ты тут пушишь не дельно, а я слушаю. Да мне и подслушать можно, я ведь не сплетник. Диоптры же и впрямь дрянь. Надобно будет снять их в артиллерии. Вот тогда и будет все по-твоему, Карлуша: *steif, gerade und Einer wie die Andere!*¹ А канонир хорош. Подойди ко мне, голубчик мой!

Угодников подошел учебным шагом, так страшно выкидывая кверху носки и дрыгая мускулами ног, что Кутузов опять засмеялся.

¹ Ровно, прямо и один, как все (нем.).

— Бывал под командой моей, голубчик?

— Под Аустерлицем, ваша светлость!

— Я и вижу, что мой ты! Иные считают, что война портит русского солдата, Михайло Богданыч. А я обратно думаю. Ей-ей, хорош русский солдат, ежели его никакими немецкими фокусами испортить невозможно. Как зовут тебя, дружок?

— Канонир Угодников, ваша светлость!

— Молодец, молодец! Верно ведь молодец он, князь Петр? Эх, Михайло Богданыч! Как же это? С такими-то молодцами да все отступить!

Кутузов проговорил последние слова громко. Тусклый взгляд его обежал солдатские лица. Он не хотел упустить впечатления от этой давно приготовленной фразы. И увидел именно то, чего ожидал. Вся оружейная прислуга вздрогнула от прилива гордых и признательных чувств. «Уж теперь не пропадем! Знает отец, как взяться за солдата! Да и мы за таким отцом — в прорубь!» Совершенно те же чувства, и гордые и признательные вместе, волновали Багратиона. Сегодня на его улице был праздник. Сколько тягот спали с сердца, как камень, и ушли в землю! Не надо больше ни воевать с чужой осторожностью, ни бежать от своей собственной предприимчивости. Во всем — смысл. Все годится по месту и времени. Амштетен... Шенграбен... Здравствуй, старая проверенная мудрость! Угрюмое лицо Барклая бросилось в глаза князю Петру Ивановичу. «Ох, туго ему, бедному!» с искренним сожалением подумал Багратион.

Кутузов расспрашивал Травина:

— Да не сын ли ты Юрия Петровича, что в отставку бригадиром пошел и в Москве после «дюжинничал»?¹

— Я сын его, ваша светлость.

— Ба-ба-ба! Да ведь я с родителем твоим в Инженерном корпусе на одной скамейке сидел. Хват был покойник! А и ты в него: остер, зубаст... Так и надобно. А Карла за горячку его и недельность прости. Я его давно знаю, еще как он пальцы сосал, знал его. Много лишнего чешет. А говорить пужно, Карлуша, так, как кулаками бить: мало, крепко и больно. Запомни! Травин... Юрья Травина сын... Поди же ко мне, грубиян милый, я тебя поцелую!

¹ Полковники при Екатерине II очень часто выходили в отставку с бригадирским чином дюжинными. Отсюда «дюжинные» бригадиры.



Одним генералам позиция у Царева Займища правилась, а другие находили ее слабой. Несомненно, что в ней были большие достоинства. Открытое местоположение лишало врага возможности скрывать свои движения: все возвышенности оказывались под русскими войсками, и это было очень удобно для действия артиллерии. Но, с другой стороны, по низменному рельефу местности отсутствовали на ней хорошие опорные пункты, и болотистая речка позади русских линий могла помешать отступлению.

Тем не менее армия строилась в боевой порядок и в разных концах позиции возводились укрепления. Правда, войска столько раз уже ожидали сражения и готовились к нему, так долго отступали в виду неприятеля, что в конце концов изверились в своих надеждах на генеральный бой. Но приезд Кутузова, очевидные выгоды царево-займищенской позиции и работы по ее укреплению заставляли думать, что решительный день настал.

В избе, занятой фельдмаршалом, происходило совещание корпусных генералов армии. Кутузов сидел в кресле посредине горницы, окруженный этими нарядными, красивыми, ловкими, изящно-осанистыми людьми. По сравнению с ними он казался короток ростом, и грузен, и неуклюж, и даже жалок со своим кривым, непрерывно слезившимся глазом. Полинавший сюртук его, шарф с осыпавшейся канителью и погнутая шпага с ременной портупеей через грудь усиливали впечатление невидности и неряшливой дряхлости. У эмеритальной кассы военного министерства в Петербурге можно наблюдать сотни этаких отставных инвалидов, пришедших за получением пенсионна. И никто никогда не встречал такого фельдмаршала. Говорил Кутузов тихо, и когда говорил, то как будто думал о чем-то совсем другом. Но, как ни горячились генералы, как ни поднимали, споря, свои громкие голоса, тихое шамканье фельдмаршала было слышнее.

— Теперь дело наше, — говорил Багратион, — не в том лишь состоит, чтобы искать позиции. Полно! Мы гораздо неприятеля превзошли и духом и единством.

— Дельно, дельно, — повторял Кутузов, — ох, как дельно говоришь ты, князь Петр! Мнение ваше, Михайло Богданыч?

— Надобно бой припать, — твердо сказал Барклай: — что доселе тому препятствовало, не существует ныне.

— Очень дельно! Никайше, Михайло Богданыч, благода-

рен я вам за меры подготовительные, к бою принятые. И позиция здешняя хороша отменно.

Раевский сидел молча. Видно было, что он и не собирается говорить. Николай Николаевич знал Кутузова и не сомневался, что мнения генералов нужны ему вовсе не для того, чтобы решить вопрос о бое у Царева Займища. И фельдмаршал, изредка вскидывая на него свой одинокий глаз, тоже знал, почему молчит Раевский. Для того чтобы другие не поняли этого, он сказал:

— Голоса твоего, герой салтановский, не слышу. Да и к чему слова, когда вместо них дела твои кричат! Молчанье — золото. Дельно, очень дельно!

Кутузов обернулся к Платову.

— Тебя ни о чем не спрошу, атаман! Волком рыщешь, боя ищешь... Готовься, братец! Видную тебе в сражении назначаю я ролю.

Но чтобы не подумал Матвей Иванович, будто обещан ему снова арьергард, добавил, обращаясь к маленькому Коношницину:

— Умри, Пьерушка, а чтобы ближе чем на два перехода к хвосту нашему француза не было!

Значит, Семлево не заболось Платову. Кудрявый генерал с большим горбатым носом и молодецки выпяченной вперед грудью остановил на себе взгляд фельдмаршала. Это был Милорадович, только что приведший из Калуги шестнадцать тысяч наскоро обученных рекрут. Генерал этот был учен: слушал курсы наук в Кенигсбергском и Геттингенском университетах, изучал артиллерию в Страсбурге, а фортификацию в Меце. Кроме того, был он на редкость храбр и деятелен необычайно. Войска, приведенные им из Калуги, почти не слезали с подвод для скорости движения. Зато и пришли они без ружей и сум, оставшихся в обозе.

— Миша, родной мой, — сказал ему Кутузов, — утешил ты меня быстротой. Ангелы так быстро не летают!

Всех решительнее настаивал на принятии боя у Царева Займища назначенный одновременно с Кутузовым в должность начальника его главного штаба генерал-от-кавалерии барон Беннигсен. Он не сидел, а стоял, и по высоте своего роста почти доставал седой макушкой потолка избы. Длинное сухое лицо его было холодно, но энергичные аргументы в пользу боя вылетали из Беннигсена, как вода из брандспойта. В позиции здешней он видел только достоинства. Успех сражения казался ему бесспорным. Время от времени он быстро проводил длинным розовым языком по узким и тонким губам — в этом проявилось его раздраже-

ше. Действительно, Беннигсену не нравился весь ход совещания, в котором он мог лишь подавать свой голос, вместо того чтобы собирать и взвешивать чужие голоса. Удовольствие от возвращения к делам и возможности если не направлять, то, по крайней мере, влиять на них, отравлялось давней привычкой к главному командованию. Долгое время Беннигсен, как казалось ему, с достоинством и блеском занимал положение, в котором Кутузов выглядел сейчас таким жалким и смешным. Беннигсен был единственным генералом в Европе, которого боялся Наполеон. Пултуск и Прейсш-Эйлау — доказательства. А чем похвалиться Кутузову? Отошедший в историю Измаил да Аустерлиц, способный лишь оконфузить историка... Кутузов отлично знал то, о чем думал Беннигсен, и причины, по которым он так настойчиво требовал боя под Займищем, были ему ясны. «Пожарная кишка, — с досадой подумал фельдмаршал, — и притом дырявая... Надо показать ему, что водяная струя хоть и бьет далеко, но до огня не долетает...»

— А ежели я поручу атаку вам, барон, — неожиданно спросил он, — уверенность ваша в успехе, наверно, от того не уменьшится?

Беннигсен живо облизнул губы.

— Этого я не могу утверждать заранес. Но как не верить в успех, когда наши храбрые войска предводимы такими полководцами, как ваша светлость!

Беннигсен извернулся с большой ловкостью и огрызнулся удачно. Кутузов подозвал Толя и сказал ему шопотом:

— Нынче же отправь конную артиллерию на Рязанскую дорогу, Карл!

Толь, пораженный, наклонился к уху фельдмаршала.

— Что ей делать за Москвой, ваша светлость?

— Пусть отдохнет там, бедная...

Ничего не понимая, Толь продолжал стоять наклонившись. Тогда Кутузов проговорил еще тише, но так повелительно, что полковник вздрогнул:

— Нынче же отправить!

И медленно поднялся со своего скрипучего кресла, отталкиваясь от подлокотников обеими руками. Тусклый, но внимательный взгляд его не спеша прошелся по генеральским физиономиям.

— Благодарю вас, дорогие мои генералы! Чтобы втискивать в дряхлую голову мою мысли ваши, немало терпенья надобно. А в народе английском правильно говорится: терпенье — цветок, что не во всяком саду растет. Благодарю и вижу, что с помощью божьей и вашей не напрасно тшусь

я вывести российскую армию на пространный путь славы. Благодарю!

Он поклонился всем вообще и сказал Толь:

— Allons, colonel, je vais m'occuper de vous! ¹

**
**

Почти всем генералам русской армии было хорошо известно, как умен и хитер Кутузов. Но к этим качествам его они относились неодинаково. Беннигсен ненавидел их за опасность, которая проистекала от них для его собственного хитроумия. Багратион любовался ими, так как знал, что хитрость Кутузова никогда не выходит за грань благородства и житейской порядочности, а умная расчетливость на редкость широка и свободна. Правда, Кутузов предпочитал не рисковать, но благоразумие его было смело и предприимчиво, планы громадны, и самые мелкие на вид предприятия направлялись в перспективе к крупнейшим следствиям. Все это знал и Толь. Поэтому, когда фельдмаршал и он остались вдвоем, сиди друг против друга за столом, с разложенными на нем картами и бумагами, полковник взвешивал каждое слово Кутузова.

— Богатство и силы наши неистощаемы, — говорил Михайло Ларивонич, — и беречься должно, чтобы не проступиться. *Se contenir, c'est s'agrandir!* ²

— Осмелюсь спросить, зачем приказали ваша светлость конную артиллерию за Москву отправить? Ума не приложу...

— И не прикладывай, Карлуша! От Царева Займища до Москвы сто сорок семь верст. Надобно арьергард усилить. Коновницын будет вести его. И уж так, чтобы случаев, как у Платова под Семлевым, не бывало. И тебе, милый, за правило взять надо: днем и ночью без разбору армия идти больше не будет; надо ей свежей и неутомленной быть; для того марши так изволь располагать, чтобы поутру с биваков был подъем, среди дня привал, ввечеру же ночлег. На посу зарубить велью тебе! Солдат русский — сокровище... Кабы мог, на каждой руке по армии нес бы! А теперь бери перо и пиши.

Толь приготовился писать приказ о новых распорядках маршей в армии и арьергарде. Он недоумевал: зачем в кауну решительного боя отдавать походный приказ?

— Повеления вашей светлости исполнены будут, — осторожно сказал он, — но, как видно, уже после боя...

¹ Займемся делами, полковник! (франц.)

² Сдерживаться — значит поднимать себя! (франц.)

• Кутузов с досадой перебил его:

— С чего взял ты, что после боя? Пиши приказ о ретираде за непригодностью позиции здешней.

**
*

«Ее высокоблагородию Анне Дмитриевне Муратовой, в городе Санкт-Петербурге, у Пяти Углов, в доме генеральши Лещано.

Милая, милая Netty!

Не знаю, должно ли письмо мое порадовать или огорчить тебя. Наша жизнь исполнена чувствований противоречивых, и каждый новый день так тесно переплетает хорошее с дурным, что уже не ищешь первого и не опасаясь второго. Я писал тебе о контузии, полученной мною при отступлении от Смоленска, о жестоких страданиях и о том, как ждали лекаря, что не пынче-завтра откроется на бедре моем антонов огонь. Все миновалось! Страхи оказались пустыми. Провалившись десять дней, я встал с моего тарантаса и пошел, как евангельский расслабленный после исцеления. Только одра своего не понес, ибо тарантас был неподъемен. Я очень мучился от проклятой контузии, но если бы знала ты, как я жалю, что это не рана и что руки, ноги, грудь моя целы. Контузии, как бы ни были они тяжелы и опасны, не пользуются у нас уважением. О них говорят презрительно. Кровь, пролитая из огненной раны, кость, развороченная свинцом, рука или нога, отполосованные хирургической пилой, — вот что уважается и ценится как заслуга чести и триумф благородства. «Он контужен!» — это одно. «Он тяжело ранен!» — это совсем другое. Дух наш таков, что лишь непоправимое может нас успокоить. В таком печальном настроении вернулся я к моему любезному князю и, наслаждаясь счастливой близостью с этим необыкновенным человеком, делаю то, что он приказывает, с ревностью и усердием, перед которыми меркнет вся моя прежняя старательность.

Однако случилось так, что первое же поручение князя поставило меня лицом к лицу с очень неприятными впечатлениями. Я должен был передать несколько добрых слов Багратиона генералу Барклаю (они уже не враждуют) и отправился в избу, где стоит наш бывший главнокомандующий. Это было вечером, на другой день после приезда к нам фельдмаршала. Барклай в глубокой задумчивости сидел за столом, на котором чадила ольвиная от неснятого пагара свеча. Его лицо, на котором обычно очень трудно бывает разглядеть что-нибудь внутреннее, явственно отражало на

себе невыразимую грусть. Я исполнил поручение. Он кивнул головой, не промолвив ни слова, и опять задумался. О чем? Со всех сторон доносится до него оскорбительная кличка изменника. На смену ему прибыл в армию новый вождь. Войска, которыми он до сих пор предводительствовал, стоят у ворот Москвы. Мне стало жаль Барклая, и я подумал: «Вот жертва счастья, которое несправедливо даже к своим избранникам! *Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier*»¹. С этими философскими мыслями я вышел из избы.

За углом в полной темноте — дело происходило вечером — я столкнулся с ротмистром фон-Клингфером, адъютантом генерала Барклая. Это тот самый офицер, с которым я должен был драться в Смоленске. Я писал тебе об этой истории, ее странном исходе и встрече нашей в лазаретном обозе. Мне было худо. Клингфер тяжело страдал от раны в плечо. Люди выдумали позолоту, потому что золото редко, а вежливость изобрели, чтобы прикрывать ею недостаток добра в человеческих отношениях. Когда судьба уложила нас рядом в тарацгассе, мы начали с вежливости. Но ничто так не сближает людей, как совместное страдание. Воля здесь не участвует. И вскоре Клингфер и я нашли тот деликатный язык общности, разговаривая на котором легко договориться и до дружбы. Плечо Клингфера зажило довольно быстро. Расставаясь, мы оба чувствовали, что кровавое решение, к которому стремились в Смоленске, не лучшее и не единственное.

Моя маленькая сестрица! Мне кажется, что при глубоком знании людей очень трудно чем-нибудь воодушевиться. Но я плохо знаю людей, и поводы для воодушевления подстерегают меня в жизни на каждом шагу. Встрече с Клингфером за углом Барклаевой избы я обрадовался, почти как встрече с братом. Мы крепко пожали друг другу руки, и я с естественным пылом заговорил о событиях.

— Слава богу, ропот в войсках стихает. Они чувствуют наступление торжественных дней великой развязки и отмщения. Их ведет маститый вождь. Говорят, что фельдмаршал настаивал перед государем на полной свободе действий и получил ее. Это конец отступления и вернейший рецепт победы.

— Я все это знаю, — с неожиданной холодностью отвечая мне Клингфер, — но почему вы думаете, что Кутузов поведет армию прямо к победе? Едва ли! Он хитрей, чем

¹ Часто на первом месте тускя и незамечен тот, кто блеснет бы на втором (франц.).

вам кажется. Отстранив от главного командования генерала Барклая...

Грустная фигура Барклая встала у меня перед глазами. Ему было тяжело. Но бог с ним! Не погибать же из-за него армии и России! Странная мысль пришла мне в голову. Вот разница между сторонниками и близкими к Барклаю людьми и нами, кто всеми чувствами своими с Багратионом и надеждами с Кутузовым. Те служат Барклаю, оскорблены за него и хотят подчинить общее будущее судьбе этого человека. А мы служим не Багратиону, не Кутузову, а России и нашему славному народу. В своей доверии и любви к вождям мы не отделяем их от народа и армии ни в настоящем, ни в будущем. Не знаю, достаточно ли понятно выразил я мысль, которая вдруг потрясла меня и с поразительной ясностью показала, как глубока и непереходима пропасть, отделяющая меня от Клингфера. Он и я — враги. Вражда — суть наших отношений. А то, что было в лазаретном обозе, не примирение, а всего лишь перемирие. Мысль зажглась и не потухла. Поэтому я запальчиво возразил Клингферу:

— Генерал Барклай сам отстранил себя от главного командования тем, что не совладал с желаниями войск. Не Кутузов сделал это, а он сам. От моего генерала мне известно, что фельдмаршал...

Клингфер дерзко усмехнулся.

— Может быть, князь Багратион еще и сам не знает, что фельдмаршал только что подписал приказ об отступлении.

Если это верно, то князь Багратион не мог не знать об этом заранее. А если не знал, то... И я крикнул:

— Не верю! Ложь!

Разговор наш, так безобидно начавшийся, ринулся вниз, подобно водопаду, прыгающему с камня на камень. Я не хочу вспоминать дерзости, которые вылетали из нас, как пробки из бутылок. Во мгновение ока мы очутились в том самом положении, из которого для порядочных людей не существует иного выхода, кроме выбранного уже нами в Смоленске. Но Смоленск был позади. С тех пор я много пережил, передумал и перечувствовал. Поединок? Глупо! А что же умней и справедливей? У меня опустели руки.

— Через полчаса у вас будет мой секундант, — сказал Клингфер повертываясь.

— Обождите! — крикнул я, стуча зубами от гнева. — Не лучше ли рассчитаться без этих господ? Мой секундант — Россия. Наш поединок — бой за Москву. Клянусь, что каж-

дый шаг мой будет поиском смерти за отечество. Соглашайтесь!

Клингфер подумал.

— Хорошо! — сказал он наконец. — Это разумно. Клянусь, что буду искать смерти. Прощайте!..

...У меня есть новый друг — артиллерийский поручик Травин, бедный армейский офицер, невидный и непритязательный, но с огромной душой и свежим до блеска умом. Когда я рассказал ему о моем новом столкновении с Клингфером и нашем решении, он поздравил меня в немногих, но очень сильных и содержательных словах:

— Кажется, что и аристократы становятся людьми!

*Твой друг и брат
А. Олферьев*

С. П. Займиде.

18 августа 1812 года.

ГЛАВА XXXII

Армии подошли к Колоцкому монастырю, остановились, и сейчас же возник вопрос о позиции для боя. Правый фланг колоцкой позиции был высок и решительно господствовал над всей линией. Но если бы войска правого фланга были смяты, вся линия была бы вынуждена к немедленному отходу. А отступить можно было только через тесную и узкую долину. Пока генералы обсуждали эти вопросы, подполковник Давыдов и прапорщик Александр Раевский лежали на шинелях под высокой березой и беседовали.

Что делает судьба! Еще в год итальянской кампании, когда Давыдову было всего-навсего пятнадцать лет, покойный отец его купил по случаю подмосковное село Бородино с округой и ближними деревеньками. От Колоцкого монастыря до Бородина считалось двенадцать верст. Следовательно, Давыдов был на своей собственной, ему принадлежавшей земле. Но как все странно здесь! Стелется дым биваков, ряды штыков сверкают над сжатыми полями, и тысячи вооруженных солдат топчут родные холмы.

— Мы лежим, Александр, — говорил Давыдов, блестя своими горячими и быстрыми глазами, — на том самом пригорке, где я когда-то мечтал и ревился. Здесь с жадностью читал я о подвигах Суворова в Италии. Восторгался рискатами боевых русских громов на границах Франции. И вот гляди: воины твоего отца роют редут под нашими ногами. Видишь лесок позади нас? Там рубит эскаду. Он кашит

егерями вплоть до болота и мхов. А ведь по ним со стаею гончих некогда полевал я. Все изменилось! Я лежу с трубкой в зубах и смотрю на эти места. Но нет уже у меня угла в собственном доме, нет его и в овинах, занятых генералами. Шумные толпы солдат разбирают избы и заборы. Им ведомы лишь бивачные нужды. Счастливы! А я? В священную лотерею войны я вложил все, что есть у меня, — кровь и имущество...

Александр Раевский слушал эту речь Давыдова, и кривая улыбка скользила по его сухому желтоватому лицу. Давыдов и он приходились сродни. Но разность возрастов, а может быть и что-то другое, мешала их близости. Пылкая искренность и порывистый нрав старшего родственника казались молодому Раевскому старомодными и смешными чудачествами, вроде пудреной косы или коротеньких панталон. Давыдов вскочил с шинели и накинул ее на себя.

— Блажен, — воскликнул он, — трикрат блажен, кто, вынув мокрый сапог из стремени, идет к себе в сухой и теплый угол! Блажен, кому добрый походный товарищ, самовар, затягивает свою бесконечную вечернюю песню про родные края и бывалые веселые дни! О лихой запевала в хоре воспоминаний, как я люблю тебя! Вон наш старый господский дом, Александр. Пойдем туда! Нет самовара, запоят стены.

В доме хозяйничали солдаты. Лаковый пол круглого зальца был усыпан осколками разбитых зеркал, диваны и кресла ободраны. Гусар Циома колотил палкой по хрустальной люстре и трясся от хохота, наблюдая, как алмазным дождем разлетались ее длинные подвески. Давыдов вспыхнул.

— Зачем ты это делаешь, осел?

Циома бросил палку за окно, вытянулся, снял кивер и, задыхаясь от смеха, пролаял громовым басом:

— Да так, ваше высокоблагородие, чтоб ханцу не пришлось!

Давыдов поднял руку. Он хотел наградить патриота зуботычиной.

— Вот, вот, — язвительно сказал Раевский, — это очень похоже на ваши стихи, дядюшка:

...Российский Мирабо
Пьяного Гаврила
За измятое жабо
Хлещет в ус и рыло...

Что же делать? Прошлое переходит в будущее, и мы ясно видим, как это совершается. А ежели по неловкости своей этот болван и вас заденет?

— Не заденет! — отвечал Давыдов, опуская руку. — А от твоей философии сильно воняет Игнатием Лойолой¹. Не люблю! Родине — все! Прав гусар! Бей, Циома! Кроши! Благословляю!

Раевский усмехнулся.

— Хоть и оба мы, дядюшка, к партизанству склонны, но воображение мое не до такой степени, как ваше, распалено...

— Ты партизан? — с изумлением спросил Давыдов.

— Конечно. Иного лишь несколько рода, чем вы. Партизан настоящий! И, подобно вам, терплю гоненья.

— Экий ты, Александр! — задумчиво проговорил Давыдов. — И когда вы, такие, успели народиться? Ты да Чаадаев Петр,

Маленький аббатик,
Что в гостинных быть привык
В маленький набатик...

Оба дети, но ты желт, а он лыс. Жаль мне вас, дети! Пет, партизанство ваше — не мое дело, а мое — не ваше. Вам ходу нет и не будет. Граф Михайло Воронцов рассчитается с тобой за издевку и через десять лет. А мне ход есть. Написал я письмо князю Петру Иванычу. Олферьев обещал пособить в доставлении. Идем к Алеше!

**
*

В овине горела свеча под бумажным колпаком, и мутные отсветы ее колеблющегося пламени причудливыми тенями плясали на бревенчатых стенах. Багратион только что вернулся от Кутузова. Разговор с фельдмаршалом был долот и ровен, мягок и спокоен. Сколько вопросов было обсуждено без споров и решено согласно! Все это — вперемежку с воспоминаниями, с тонкими и умными речами о Петербурге, о Наполеоне и его маршалах, о берлинских слизняках — политиках и мишурных австрийских генералах. Светлая голова у Михайлы Ларивоныча! Недаром говаривал о нем Суворов: «И Рибас² не обманет!» Однако в ночной беседе этой было и нечто такое, от чего сидел сейчас Багратион, крепко ухватившись за виски обеими руками и запутав длинные пальцы в крутых кудрях. Как ни тяжело было князю Петру подчиняться Барклаю, но было в этой тяжести одно легкое место: уверенность в своей правоте, возможность раздражаться, спорить, шуметь и требовать от имени

¹ Основатель католического ордена иезуитов.

² О. М. де-Рибас — русский адмирал, известный своей хитростью.

ста пятидесяти тысяч человек. Правда, потом это изменилось — нарушилась уверенность в своей правоте, оказались ненужными споры, притупилось раздражение, и всё заслонилось надеждой на скорый приезд Кутузова. Уже в Дорогобуже Багратион знал, что Барклай, отступая, не делал ошибки. Но не сомневался также и в том, что отступлению этому настал естественный конец. Не отдавать же Москву без боя? Да какое же русское сердце может выдержать одну мысль эту? И Барклай не спорил. Все было готово для боя. Багратион успокоился и ждал. Приехал Кутузов. В Цареве Займище и сам фельдмаршал, и Барклай, и все до одного генералы говорили о бое так, как будто неизбежность его сама собой разумелась. Лишь Беннигсен доказывал и требовал. И Кутузов был согласен. Кому, как не Багратиону, знать Кутузова? Князь Петр Иванович не тревожился. С тех пор прошла неделя. В чем? В отступлении. Через несколько часов армия снова снимется с биваков и отойдет еще на двенадцать верст к Москве, к Бородину. Что же такое происходит?

Прежде Багратион возмущался тем, что признавал ошибочным в тактике Барклая, самим Барклаем, сдачей Смоленска. Но то было столкновение взглядов, характеров и воли, смысл которого разъяснялся в спорах. А теперь? Страшно легко и просто подчиниться Кутузову. Не за что зашнуровать на гладком пути отношений. И спорить не о чем. Нельзя отдать Москву без боя. Значит, нужен бой и будет. Так! Бесспорно! Но за бесспорностью этой крылась в Кутузове непонятная задняя мысль. О спасении России он говорил и охотней и с большим воодушевлением, чем о спасении Москвы. Почему? Россия стояла в лесах, высилась в горах, двигалась и жила в огромных своих реках. А Москва лежала почти в глазах врага. Почему же Россия, а не Москва?..

Багратион терзался в смущении и догадках. Он пробовал спрашивать Кутузова о его намерениях напрямик. Но Михайло Ларивич так удивлялся, что удивлением своим приводил князя Петра в конфуз. Пытался избоку, хитрецки разведать. Да что такое Багратионова хитрость перед Кутузовской? А если снять с происходящего мягкую корочку слов и недомолвок, вылущится твердый, как камень, орех: отстранив от своих распоряжений и царя, и Барклая, и Багратиона, Кутузов продолжал делать то, что делал до сих пор Барклай и чего даже он не стал бы теперь делать. Ничего нельзя понять, кроме того, что Москве грозит смертельная опасность. И бороться с этим нельзя, не за что взяться. Багратион чувствовал себя в беспомощном положе-

ни человека, который свалился в яму и старается сам себя вытащить из нее за волосы. Напрасные старанья! Сердце его болело и ныло в жестокой тревоге.

Утром Олферьев передал Багратиону письмо подполковника Давыдова. Сегодня князь докладывал Кутузову по этому письму. Давыдов писал:

«Князь! Пять лет я был адъютантом вашим, везде и всегда близ стремени вашего. Вы — единственный мой благодетель. Потому и пишу вам так, как если бы отцу писал. В ремесле нашем, князь, тот лишь выполняет свой долг, кто, не боясь переступить через черту его, не равняется духом, как плечом в шеренге с товарищами, на все напрашивается и ни от чего не отказывается. Долг требует порыва, бесстрашного рвения вперед, смелого действия и отважной мысли. Впрочем, кому я говорю это? Вам. Но вы таковы именно, а я лишь тшусь таким быть.

Душа моя истомилась от вседневных ретирад. Они уже давно захватили недра России. Обращаясь к себе собственно, скажу: если должно мне непременно погибнуть, то пусть умру под вольными знаменами родины, хотя бы и развевались они за спиной безбожного нашего врага!

Неприятель идет одним путем, но путь этот по протяжению своему велик чрезвычайно. От Смоленска до Гжати тянутся французские транспорты с продовольствием. Между тем широка и раздольна Россия па юг от этого пути. Все здесь удобно для изворотов небольших отрядов. При арьергарде нашем множество казаков. А нужно их столько лишь, сколько требуется для содержания аванпостов. Не лучше ли было бы остальных разделить на партии и пустить в середину обозов, следующих за Бонапартом? Ежели наткнутся наездники па крупные французские силы, позади них достаточно простора, чтобы избежать поражения. А ежели не случится этого, они истребят немало источников, от коих армия французская питается и живет, — отобьют заряды, отхватят провиант. Не так изобильна земля паша, чтобы одна придорожная часть ее могла бы прокормить двести тысяч французов. Но это не все. Появление партизан среди разрозненных поселян наших обратит войну во всемирную битву...»

Мысли Давыдова показались Багратиону достойными внимания. И он передал Кутузову содержание письма. Михайло Ларивонич слушал и кивал головой. Но, как и всегда, заинтересовало его в предложении Давыдова не то, что Багратион признавал за главное. Он как будто даже и не заметил этого главного возможности посредством настоян-

ных набегов на тылы расстроить движение французской армии, ослабить ее перед боем и тем облегчить победу. Кутузов думал не об этих неотложных задачах, а о чем-то совсем другом.

— Широка и раздольна Россия на юг от французского пути, — повторил он несколько раз мысль Давыдова. — Дельно, очень дельно! Как знать, может в дальнейшем партизанство это и пользу принесет. А покамест, князь Петр, пошлем-ка в самом деле Давыдова твоего для пробы в тыл к Бонапарту.

— Большую ли партию пошлем, ваша светлость? — спросил Багратион.

— Что ты!.. Что ты!.. Успех предприятия этого очень и очень сомнительным полагаю. Дай ему полсотни гусар да сотни полторы казаков. Да чтобы непременно сам с ними пошел.

И опять Багратион не понимал. Чего опасаться? Зачем откладывать на будущее то, что теперь же должно пользой означиться? Князь Петр поднял голову. «Хорошо! Коли так, нынче же отряжу Давыдова с партией и дело сам возьму под надзор...»

— Эй, Алеша! Отыщи Давыдова, Дениса... Немедля!

— Да он здесь, ваше сиятельство!

Услышав о согласии фельдмаршала, Давыдов засиял. Но пятьдесят гусар и полтораста казаков смутили его. А условие, чтобы сам шел с партией, показалось даже обидным.

— Я бы стыдился, князь, предложить опасное предприятие и уступить исполнение другому. Вы знаете меня, я ли на все не готов? Однако людей мало...

— Согласен, душа! Да что я могу? Не даст больше светлейший.

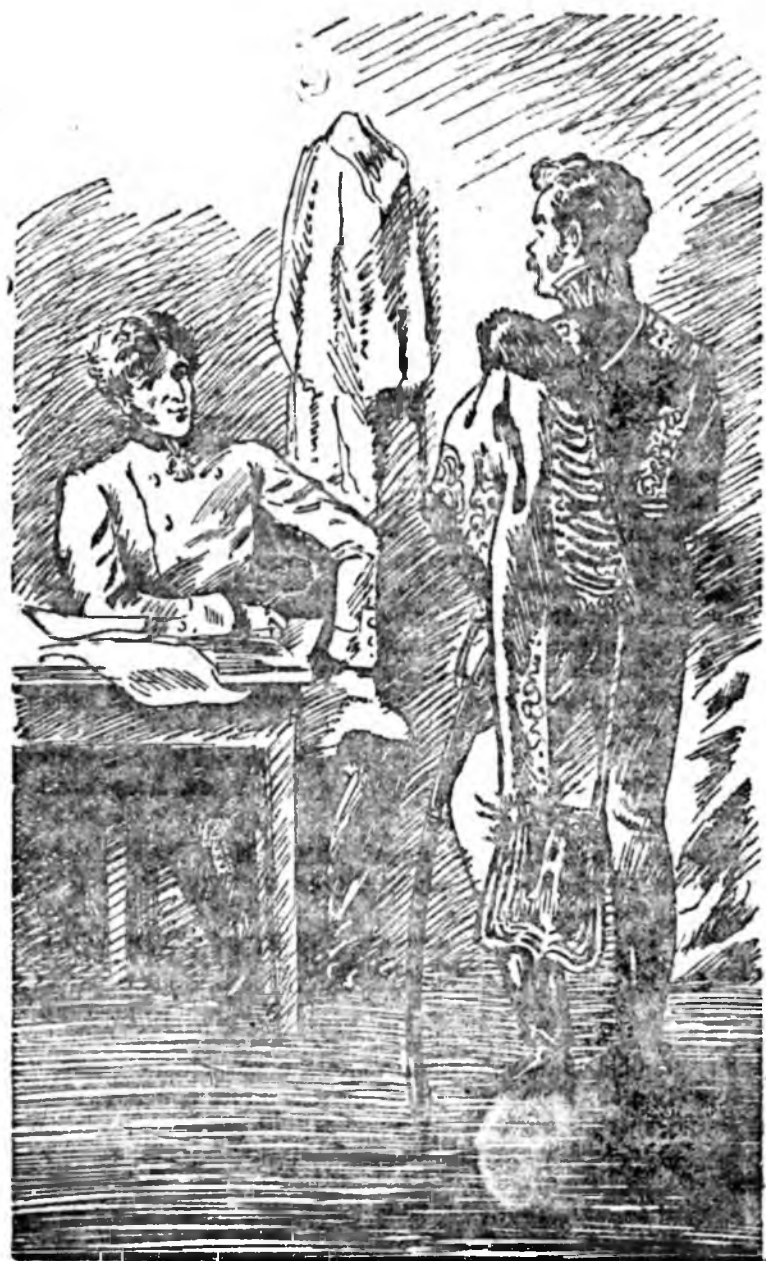
— Ежели так, пойду и с этими. Авось либо открою путь отрядам покрупнее!

— Этого, душа Денис, я и ждать буду. Скажу тебе между нами: непонятен светлейший мне! Что за торговля из-за двух-трех сотен человек, когда при удаче завтра же Бонапарт лишится очередного подвоза и сойдет на дохлый рацион? А ежели неудача суждена, пустое потерять сотню другую. Война не для того, чтобы целоваться. Я бы тебе с первого абцугу¹ три тысячи дал, ибо не люблю ошунью делать. Но... убедить светлейшего не смог!

Давыдов посмотрел на Багратиона с восхищением.

— Верьте, князь, партия моя цела будет. Вот секрет

¹ Первый ход в карточных играх.



успеха: отважность в залётах, решительность в крутых случаях, неусыпность на привалах и ночлегах. За это я берусь, и, голову на плаху, так и пойдёт!

— Дай руку, душа Денис! Чувешь, как жму крепко? А теперь обожди, я тебе инструкцию начерчу.

Багратион сел за стол и, склонив голову к правому плечу, принялся медленно водить пером по бумаге. Давыдов стоял за его спиной и, тоже склонив к плечу голову, читал неровные строки:

«Ахтырского гусарского полка подполковнику Давыдову.

С получением сего извольте получить сто пятьдесят казаков от генерал-майора Карпова и пятьдесят гусар Ахтырского гусарского полка. Предписываю вам употребить все меры к тому, чтобы беспокоить неприятеля со стороны нашего левого фланга и стараться забирать фуражиров его не с фланга только, а и с середины и с тыла, расстраивать обозы, ломать переправы и отнимать все способы. Словом сказать, полагаю, что, приобретя столь важную доверенность, почтитесь вы расторопностью и усердием оправдать ее. Впрочем, как и на словах вам мною приказано было, извольте лишь меня обо всем рапортовать, а более никого. Рапорты доставляйте при всяком удобном случае. О движениях ваших никому не должно вестать, — в самой непроницаемой тайности старайтесь держать. Что же касается до продовольствия команды вашей, сами имейте о нем попечение.

*Генерал-от-инфантерии
кн. Багратион.*

22 августа 1812 года
На позиции».

Подписав инструкцию, князь Петр Иванович порылся в бумагах, достал оттуда карту Смоленской губернии и протянул Давыдову.

— С богом, душа! — сказал он, крестя партизана. — И помни: крепко на тебя надеюсь я!

У генерала Васильчикова ужинало несколько генералов и полковников. Несмотря на позднюю ночь, в палатке было шумно и весело, когда туда ворвался Давыдов.

— Ларивон Васильич! Неотложно! Вот предписание князя Петра Иваныча!

Васильчиков прочитал. Пунцовые щеки его округлились в насмешливой улыбке.

— Обошли-таки меня! А все утверждать буду: вздор задумали, батенька, вздор, вздор!

Васильчиков показал предписание генералам. Денщики бегали кругом стола, звеня посудой. За занавеской пыхтел толстый повар в белом колпаке и хлопали пробки. У генералов были красные лица и мутноватые глаза. Одни с молчаливым недоумением пожимали плечами, другие принялись острить.

— Слушайте, подполковник, — сказал, мрачно улыбаясь, командир 3-го корпуса Тучков. — Брат мой Павел взят французами в плен под Валутиной горой, а сейчас, по слухам, в Кенигсберге. Очень прошу вас, кланяйтесь ему, не забудьте!

— Ха-ха-ха! — загремело в палатке. — Напрасно затеяли вы это, Давыдов!

Денис Васильевич не слушал.

— Дайте мне Ворожейкина, генерал, — просил он Васильчикова, — и гусар и казаков и сам отберу!

Сделайте милость, берите, отбирайте. Вам ведь Бонапарта в плен тащить надобно.

Раздались чьи-то насмешливые слова:

— Кабы не обстоятельства, не был бы Бонапарт ни слячком, ни великаном, а был бы он просто исправным офицером, хоть и весьма неуживчивым. Вот как Давыдов. Уж не метит ли, господа, и Давыдов в Бонапарты?

Денис Васильевич выбежал из палатки под веселый генеральский смех.

**
*

Рано утром армии двинулись к Бородину. Переход представлял небольшой, но тяжелый. Солдаты шли, опустив головы. Близость Москвы заставляла их сердца биться опасно и тревожно. Французы наседали на арьергард с каждым днем, с каждым часом все отчаянней и грозней. Уже третьи сутки Коновницын не выходил из боя, и канонада позади не прекращалась ни на минуту. Раненые из арьергарда толпами брели в хвосте армий. Медленно тащились лазаретные фуры. Руки и ноги раненых бились по краям телег или о колеса. Эта картина угнетала, пугала предчувствиями бедствий. Войска теряли дух.

Партия Давыдова была готова. Но до Бородина следовала при войсках. Денис Васильевич, от которого ни на шаг не отставали Ворожейкин и Циома, нагнал Олферьева, чтобы проститься. Они уже и обнялись и поцеловались, да, заговорившись, никак не могли расстаться. Их кони, не чуя поводов, незаметно отошли в сторону от дороги. Приятели

гнулись кустами и кочками по топкому болотцу, не глядя перед собой. Вдруг лошадь Давыдова вспрянула и скакнула. Из-под передних ног ее поднялся большой серый русак. Заложив длинные уши, он метнулся было вправо, но попал под копыта олферьевского коня и, потеряв от страха выражение, понесся прямо к проходившей по дороге колонне войск. И здесь, очутившись между лошадьми, окончательно обеспамятел. Солдаты загикали. Многие кинулись ловить гостя. Русак прыгал туда и сюда, но никак не мог прорваться. Зашумела рота, другая, полк, дивизия... Вскоре кричали, бегали и ловили русака почти два корпуса. Это было страшное, небывалое зрелище заячьего гона на марше истомленных войск. Вдруг из-за перелеска показался белый мерин фельдмаршала. За Кутузовым ехала большая и блестящая свита. Михайло Ларивоныч остановил коня и, улыбаясь, смотрел на солдатскую забаву. Русак был ловок и не хотел сдаваться. Неожиданный вольт обманул его преследователей. Он выскочил из-под сотен протянутых к нему со всех сторон рук и пропал в поле.

— Ах, раздуй те горой! — кричали солдаты. — Кавалерия! У-лю-лю...

Кутузов уже не улыбался. Он хохотал, колыхаясь рыхлым толстым телом на плоской спине своего мекленбургца и обеими руками держась за бока. И тогда захохотала вся армия. Смеялись одновременно сто тридцать тысяч человек, те самые люди, которые были надеждой России. Это был веселый, дружный, бесстрашный смех. В его оглушительных раскатах потонули отзвуки арьергардного боя. И громкое эхо его, забежав вперед, отозвалось в Бородине. Давыдов взглянул на Олферьева. Корнет был бледен. Счастливая улыбка дрожала на его губах, слезы — на ресницах.

— Денис, — прошептал он, — если бы Наполеон видел и слышал это, он понял бы, что погиб!

**

Отскакав со своей партией верст двадцать к югу от Бородина и пробираясь глухой лесной засекой к реке, Давыдов спросил Цюму:

— Нынче утром, когда рыскал по войскам заяц, ты громче всех рывкал. Боялся я, что разорвет тебя от хохота. Чему, братец, смеялся ты?

Цюма опять прыснул.

— Фитьмаршалк! — отвечал он.

— Фельдмаршал смеялся. А ты чего?

— Що це такий за чоловік, ваше високоблагородіє!

Добре, що у него одно око. Як бы тому чоловіку та два ока, так ховай боже!

«Алеша прав, — подумал Давыдов, — погиб Наполеон!» И, приподнявшись на стремяцах, потрепал Голиафа-гусара, как ребенка, по щеке.

ГЛАВА XXXIII

Еще до полудня армии подошли к Бородину и начали втягиваться на позицию. Здесь Кутузов решил дать бой. У него были такие соображения. Но численности его армия уступала французской, но по духу нетерпения, с которым ждала боя за Москву, была сильнее. Несбыточное дело — сдать столицу, не испытав оружия. Французы кичились тем, что преследовали русских, — надо было научить их уважению к русскому оружию. Надо было и самому фельдмаршалу завоевать доверие армии. Многое уже было сделано, но дальнейшее уклонение от боя могло принести беду. Бой был необходим. Наголову разбить Наполеона и отбросить его от Москвы Кутузов почти не надеялся. Да если бы, сверх всяких расчетов, это и случилось, цена такой победы была бы чрезмерно высока. Даже при равных с обеих сторон потерях, даже разбитый, неприятель становился вдвое сильнее русской армии. Потернев неудачу, Наполеон отступил бы, присоединил к себе следовавшие сзади и стоявшие на Двине войска, а затем мог бы очень скоро вновь атаковать Кутузова с тройными силами. Разбив Наполеона и потеряв равное с ним количество людей, русская армия становилась вдвое слабее. В таком положении она должна была бы отступить и сдать Москву. Таким образом победа не могла доставить Кутузову больших выгод. Но фельдмаршал не сомневался также и в том, что его армия не может быть наголову разбита и что отпор, который встретят французы у Бородина, будет беспощаден и жесток. Этого, собственно, он и желал. И с этой именно целью решил дать бой, предвидя большую потерю людей и зная заранее, что ему предстоит сдать Москву.

Когда Кутузов и Багратион говорили о неизбежности победы над французами, они оба были уверены в этой победе. Но под словом «победа» понимали разные вещи. Князь Петр Иванович — разгром французов на поле боя, а Михайло Ларивонич — такой отпор французскому натиску, в результате которого даже овладение Москвой не сможет возместить нанесенного врагом на поле боя урона. Они не спорили, так как Кутузов не желал раскрывать своих пла-

нов, а Багратион хотя и чувствовал недосказанность, но не мог разгадать того, что за ней крылось.

**
*

Главная квартира Первой армии находилась в селе Горках. Отсюда была отчетливо видна вся бородинская позиция: холмы и курганы, слившиеся вправо от Горок с крутым и обрывистым берегом извилистой речки Колочи; поляны и кустарники, тянувшиеся влево до оврагов и леса за деревней Семеновской. Стоило взглянуть на всю эту местность, чтобы сразу заметить, как неприступен закрытый Колочей правый фланг и как открыт, а потому и слаб левый. В середине позиции поднимался довольно высокий курган. Его уже укрепляли насыпной батареей и земляным валом. Другой курган выступал далеко впереди левого фланга, у деревни Шевардина; эту деревню срывали, а на кургане строили редут. Село Бородино, подобно Шевардину, тоже было впереди позиции и соединялось с ней мостом через мутно поблескивавшую Колочу. За Бородиным, на горизонте, сверкал круглый купол высокой колокольни Колоцкого монастыря.

На гребнях холмов и курганов горели сталь штыков и медь орудий, гудели тысячи голосов, разносилось могучее конское ржание. Полки выходили на линию. Пушки въезжали в интервалы между полками. Армия строилась в три линии — егерскую и две пехотных, но за ними стояли еще резервные части и кавалерия. Поэтому фронт состоял из шести или семи линий, занимавших в глубину не менее версты. Прорвать его было не легко.

В полдень 23 августа, сопровождаемый Барклаем, Толем и свитой, Кутузов выехал из села Горок для осмотра позиции.

**
*

Левый фланг был занят Второй армией Багратиона. В деревне Семеновской расположилась главная квартира князя Петра Ивановича. Он встретил фельдмаршала у курганной батареи, с которой начинался его фланг. Кутузов потянулся к нему с седла, как ребенок тянется на руки к взрослому, обнял, прижал к себе и расцеловал.

— Вот и пришли, князь мой любезный, а? Пришли ведь?

В вопросе этом заключался ответ на все сомнения Багратиона. Князь радостно улыбнулся.

— Пришли, ваша светлость, на стоянку. Так, просто, с нее уже никуда не уйдем!

Кутузов кивал головой.

— Куда итти? Костями ляжем тут... Итти некуда...

Он повторял эти слова, а сам думал: «Мало сказал князь Петр, но сказал все, чем полна душа каждого русского воина из собравшихся здесь многих тысяч. Дорвались! Вот чем душа их сейчас живится. Умеет князь Петр один за всех выговорить крепко. Но... главного постичь не сумел!» Последняя мысль пришла Кутузову в голову потому, что Багратион в это время быстро показывал рукой на возвышенности правого фланга и центра позиции, потом на изборожденные оврагами равнины левого фланга и взволнованно говорил:

— Ваша светлость, благоволите, однако, сличить благополучие соседей моих с моей бедностью! Сама природа прочными и недоступными к овладению соорудила тамошние места. У меня же — ни горки, ни горбика, чисто поле. Трудно биться здесь! Меж тем колдовать не надо: ринется Боцапарт против левого фланга. Вот ключ к позиции моей валяется, как не схватить?

Багратион показал на широкую полосу туго укатанной старой Смоленской дороги, которая огибала с края левое крыло его фланга и вела через деревню Утицу на Можайск.

— Выскочат французы на Утицу, мне конец, ваша светлость! Оттоль лесами к Семеновской на близкий пушечный выстрел подать — пустое.

Все это Кутузов отлично видел и знал. Придумано было у него и то, чем можно было бы предохранить левый фланг от беды, которую так ясно и верно предвидел Багратион. Но мало ли вокруг бездельников-болтунов и злодеев? Кутузов не любил громко говорить о своих планах. А этот план в особенности требовал тишины. Однако Багратион начинал горячиться.

— Ваша светлость повелели отклонить левое крыло мое от Шевардина за овраг. Ныне он позади, а тогда впереди нас очутится. Осмеливаюсь вашей светлости представить: мерой этой двойной достигается ущерб. Во-первых, центральная батарея, которую корпус генерала Раевского защищать будет, из линии позиционной выпятится углом и оттого подвержена станет продольному огню артиллерии и справа и слева. Во-вторых, Шевардинский редут, на который я также войска свои ставлю, вовсе для обороны становится бесполезен; больше чем на пушечный выстрел от него отойдем мы...

И опять Кутузов все это знал. И уже подумал, что следует противопоставить этим неудобствам. И какие, гораздо

более важные выгоды от них произойдут, рассчитал и взвесил. Вот, например, Шевардинский редут. Багратион полагает, что в связи с отходом левого крыла он становится ненужным и что укреплять и оборонять его излишне. А ведь только с Шевардинского редута и возможно поддержать отступление арьергарда, когда он начнет втягиваться на позицию. Коновницын дерется, как лев. Но мужеству и силам его громадность неприятельских полчищ поставит предел. Того и смотри, пойдет он назад полным маршем, тогда то и понадобится Шевардинский редут. Следовательно, неправ князь Петр. А чтобы не горячился он, надо его успокоить.

— Князь мой любезный, — сказал Кутузов, — верно ты все о фланге своем говоришь. Согласен я с тобой, как бы сам с собой. Карл? Где ты, Карл? Прими приказ мой. Оконечность левого князева крыла редутами укрепить. Для того людей с инструментом загодя дослать. Впереди деревеньки этой — Семеновка, что ль? — до вечера нынешнего флеша возвесть. Деревеньку укрепить не успеет, — снять ее. Ах, князь Петр! Софизмы теоретические расширились в ремесле нашем, подобно как шарлатанство в медицине. Мы же сделаем просто. Лес за крылом твоим перегородим засеками и тем непредвиденные атаки и опасность обхода устраним. И резервы к тебе придвинем. Слышь, Карл? Переведи, голубчик, к князю поближе пятый гвардейский корпус, гренадерскую принца Карла дивизию да третью пехотную...

Кутузов говорил, не задумываясь и не выбирая выражений, — как видно, все это не сейчас пришло ему на мысль. Толь подхватывал распоряжения и с поразительной расторопностью передавал их квартирмейстерским офицерам.

— Поняли?

— Так точно, полковник.

— Перескажите!

Только что прикомандированный к квартирмейстерской части Александр Раевский, Полчанинов и другие офицеры повторяли приказания и, повернув коней, стремглав мчались по позиции. Манера Толя требовать повторения понравилась Кутузову, — это был верный способ избежать ошибок и нутаницы. Он подозвал к себе полковника и сделал знак свите отъехать.

— Карлуша! Левое крыло войск князевых, отодвинув за лошину, сблизим мы с лесом, в коем сейчас засеки рубить начнут. Зайдем лес стрелками. Но не в том главное, а в том, что надобно третий пехотный корпус Тучкова вывести на левое крыло и поставить позади него, за лесом, в засаду.

Когда французы пустят против князя Петра последние резервы, прикажем мы Тучкову скрытое войско свое двинуть во фланг им и тыл. Тем самым от опасности князь Петр спасен будет, да и все сражение сразу вид для нас выгоднейший примет. Понял ли ты, Карл?

— Так точно, ваша светлость! — отвечал Толь.

По свойственной ему сметливости он мгновенно оценил всю важность кутузовского плана. «Da ist der Hund begraben!»¹ — подумал он. — Этим и судьба боя решится...» И, сняв шляпу, низко наклонил голову перед фельдмаршалом.

— Понял, стало быть? — улыбаясь, еще раз спросил Кутузов. — Ну-ка, перескажи.

Толь вздрогнул. Что это? Слава богу, он не прапорщик!

— Да не мне перескажи и ни кому еще, а князю Петру. Дело это полной дискретности требует до самого своего свершения. Ты, да я, да князь Петр... Иначе же беречься надобно, чтобы не уведомился о нем господин начальник главного штаба моего барон Беннигсен. На носу заруби! Но князю Петру перескажи. Ему это знать надобно. Да, может, заодно и тебя простит, яко сотрудника в важнейшем деле, за дороговужскую твою грубость. Повинную голову меч не сечет!

ГЛАВА XXXIV

Арьергард Коновницына держался до последней крайности. Всю ночь с 23 на 24 августа и утром 24-го грохотали за Колоцким монастырем пушечные разговоры. И только 24-го в обед арьергардная кавалерия генерала Сиверса вырвалась из этого ада к бородинской позиции, неся неприятеля на плечах от самой Ельни. Отход Сиверса был поспешнее, чем требовалось. Но устоять против папора навалившейся на него со всех сторон чудовищной громады французских войск он не мог. Почти весь этот день Кутузов и Багратион простояли на левом фланге под сильнейшим огнем, наблюдая за ходом отступления. Ядра с визгом пролетали над их головами. Кони шарахались, храпя. Князь Петр Иванович не спускал глаз с поля, на котором происходил бой. Поспешность, с которой Сиверс вел свои драгунские полки, его бесила. Ведь на левом фланге еще не кончены земляные работы, не срыто Семеновское, не возведены еще перед ним столь необходимые флешы, а бой уже грозит перекинуться сюда и захватить именно левый фланг. Сквозь дым, клубившийся над полем, можно было различить все маневры Сиверса. Вот он вводит свои войска в сферу огня

¹ Вот где зарыта собака! (нем.)

Шевардинского редута. Через десять-пятнадцать минут он выведет их из этой сферы, и тогда войдут в нее французы.

— Алеша, — закричал Багратион, — скажи, душа, на редут к Горчакову! Гляди, чтобы не проспал он! Через десять минут французы будут под реданом, — все пушки на картечь! Хлестать в лицо!

Олферьев сорвался с места, хвост его коня растаял в столбе пыли.

— Ах, князь Петр, молодец! — похвалил Багратиона Кутузов. — Дельно, генерал! А откуда стал бы ты хлестать французов в лицо, не будь у нас в обороне Шевардинского редута? Вот тебе и не нужен стал редут!.. Но дельно, очень дельно распорядился ты!

Случилось то, что не раз случалось и раньше, в восьмьсот пятом году. Вдохновение прекрасной силы слетало на Багратиона в такой момент, когда всякий другой генерал лишь растерялся бы от неожиданности. Чем трудней и безвыходней казалось положение, тем светлей и жарче были вспышки этого могучего огня, в князе Петре. Приказанием, которое Олферьев должен был передать командовавшему на редуте князю Горчакову, сразу выводился из губительной опасности Сивере и бой задерживался далеко впереди левого фланга. Следовательно, и фортификационные работы на нем могли продолжаться.

Французы вышли к Шевардину. Дробные перекаты ружейной трескотни ползли и ширились. Тучи черного дыма окутывали редут. Вдруг земля дрогнула, тучи вскинулись кверху, огненное кольцо опоясало шевардинские укрепления — грянул залп. За ним — другой, третий... Французы кинулись в атаку на редут. Горчаков встречал их картечью.

— Славно! — воскликнул Багратион.

— А попозже, когда у тебя на фланге возня кончится, — сказал ему Кутузов, повертывая коня и собираясь уезжать, — флешы готовы будут и войска за овраг отойдут, тогда, князь Петр, отзови из Шевардина Горчакова. Тогда уж и впрямь хвостик сей нам больше не нужен будет.

**
*

Полторы тысячи верст непрерывного отступления давали себя знать. Бой у Шевардина был жесток и упорен. Холод ночи уже лег на землю. Небо то покрывалось облаками, то очищалось от них. Багратион несколько раз посылал на редут адъютантов с приказами Горчакову выводить войска. Но битва не затихала. 2-я кирасирская дивизия в постоянных контратаках понесла значительный урон. Можно

было бы обойтись без этой горячности. И то, что канонада продолжала реветь, а мрак ночи то и дело озарялся вспышками залповых огней, начинало волновать Багратиона. Он послал Горчакову еще одну записку: «Князь, выходи... Велю!» И два-три энергических слова прибавил для устной передачи. Это помогло. Шевардинские пушки уняли свой грозный рев. И на французской стороне начало успокаиваться. Запылали деревни, находившиеся посреди неприятельских линий. Вспыхнули тысячи лагерных костров. В Бородине догорал господский дом. Через все Бородинское поле, так далеко, как только мог различить глаз, протянулась сплошная полоса пламени. На левом фланге войска составляли ружья в козлы, разводили огни и начинали варить кашу. Багратион пошел ужинать.

**

Заключительные аккорды Шевардинского боя еще громыхали изредка между редутами и флешами. В черной крестьянской избе деревни Семеновской сидели за ужином Багратион и Сен-При. Походный стол князя Петра Ивановича всегда отличался изобилием, мастерством приготовления и сытностью блюд. Обычно гостеприимный хозяин бывал за столом весел, любезно-настойчив в потчевании, полен и дружелюбно прост в обращении. Сходили на него в это время пленительная доброта и самая приветливая словоохотливость. В рассказах о бесчисленных походах своих на Кавказе, в Польше, Италии, Германии и Турции бывал он положительно неистощим. И даже такие гости, к которым не чувствовал он ни влечения, ни симпатии, не могли пожаловаться на недостаток обходительности со стороны Багратиона, когда делили с ним обед или ужин. Поэтому, хотя Сен-При и был неприятен князю Петру, но «фляки по-господарски» и баранья нога в масле решительно устранили возможность раздора между собеседниками.

Люблю я, граф, драться, — не без некоторой колкости, однако, говорил Багратион, — с соотечественниками вашими, французами! Побьешь, так есть чему и порадоваться. Как свет стоит, никто так не дрался, как русские и французы. Раз Суворов слово мне молвил, — ввек не забуду: легкие победы не льстят сердца русского! А французы дешево побед не продают.

Случалось и мне с французским войском боевю иметь встречи. — отвечал Сен-При. — Насколько судить можно оно зажигательной ракете подобно: с налету жжет и па-

лит, а потом на куски рассыпается. Но многое у французов замечательно и для подражания может служить...

— В маневре сила их. И у французов, ей-богу, учиться пепрочь я. Но и своих учителей не забыл. Царь Петр, Суворов, фельдмаршал наш, — вот школа русская. Вся на маневре: где вперед, где назад, — а везде победа! У Суворова наука состоя, через Альпы отступал я. И под Кутузовым будучи, в наступления не раз хаживал. Великое дело — маневр! Полководец задумал, солдат понял, — все готово: слава победителям! А солдат! Ах, что за солдат у нас! Подобного в свете нет! Да поди, и сами вы, граф, о том известны.

Дверь избы распахнулась, и в горницу быстро вошли Горчаков, граф Михайло Воронцов и Неверовский — три генерала, оборонявшие Шевардино. Все они были чумазы от пороха и тяжело дышали. Шинель Горчакова была прожжена в трех местах. От воронцовской шинели оторваны обе полы.

Генералы были осыпаны пылью и землей.

— Здравствуйте, други! — радостно воскликнул Багратион. — Показали же вы французам феферу! Убей бог, хорошо! Не томи душу, князь Андрей, рассказывай! За стол, за стол! Приборы сюда! Живо! Рассказывай, князь!

— Ваше сиятельство гневались, что не мог я из Шевардина убраться по первому приказу вашему, — заговорил, отдуваясь и с удовольствием припоживаясь к запаху жареной баранины, племянник Суворова, — а и никто бы на месте моем не убрался! Спросите, сделайте милость, у графа или у Неверовского... Не стоваривались, а то же скажут...

Он сбросил шинель и, слегка засучив рукава, схватил нож и вилку. В сонных глазах его засверкали плотоядные огоньки.

— От голодухи в животе тарантасы катаются. Ну, как уйти было? Невозможно. Близ четырех часов пачали французы на нас лезть. От пяти до семи — пушками разговаривали, а потом — атака за атакой. Четыре раза батарся хозяев меняла. Три орудия они у нас цопнули, а мы у них шесть отхватили. Уж я и сам видел: пора идти, ни к чему спектакль доигрывать. Да в ногах будто свинец засел. И солдаты — ни с места, хоть по переносью бей. Еле выдрался...

— Весь корпус Понятовского, вся кавалерия Мюрата да три дивизии Даву наступали, ваше сиятельство, — сказал

Неверовский, — я штыками три раза выгонял шестьдесят первый их линейный полк.

— Не знаю, поблагодарит ли нас кто, — с холодной усмешкой заметил Воронцов, — по французы благодарны не будут. Князь Андрей Иванович уже и редут сдал, а мои гренадеры, не стерпев, еще раз кинулись на дивизию Морана. Ах, какая великолепная была свалка!

— А мой фокус, господа? — захохотал Горчаков, вгрызаясь в баранью лопатку. — Компан идет колонной в атаку. Я велю кирасирам встретить. Но чтобы собраться, надо им минут пять. Гляжу — Мюрат с латниками целит между редутом и деревней. Вот тебе и пять минут!.. Как раз прорвет. Что ж, думаю, делать? Не соображу никак. А моменты бесценнейшие летят! И вдруг — нашелся! Хлоп себя по лбу: ах, баранина! То есть телятина! Ну, да все равно! Выхватил из резерва батальон и повел — пи выстрелов, пи барабанов, только «ура» громчайшее. А уж темно, — французам невдомек, что на них с «ура» не корпус целый, а всего лишь батальонец летит. Мюрат забеспокоился, остудился. А тут уже и кирасиры палетели и четыре пушки — в рукав. Что? Суворовский!..

Он поднял голову и гордо взглянул на генералов, смачно двигая толстыми масляными губами.

— Покойный дядюшка за военные хитрости бывало весьма фельдмаршала нашего похвалял. Я мальчишка был, а помню: «Хитер, хитер! Умен, умен! Его никто не обманет!» А ныне и я шар пустил!..

— Не заносись, князь Андрей, — остановил Багратион Горчакова, — жди, куда другие вознесут! А что так Суворов про Михайлу Ларивоныча говаривал, верно. Только не за такие хитрости похвалял он его, а за гораздо умнейшие. Вся оборона Шевардина подобного тактического смысла хитрый военный прием.

Произнеся эти резкие слова, Багратион невольно вспомнил и вчерашнее сообщение Толя о замышляемой Кутузовым засаде позади Утицкого леса. Это тоже «тактического смысла хитрый военный прием». Да еще и несравнимый по ожидаемым следствиям ни с каким другим. Но... об этом молчок!

— Светлейший наш — мастер врага надувать, — сказал вдруг Сен-При. — Решил он третий корпус Тучкова в засаде позади нас поместить. Что-то выйдет! А дело успех обещает...

Он не договорил того, что собирался, — не успел. Глаза Багратиона грозно сверкнули. Что это? В секрете — Куту-

зов, князь Петр и Толь. Как проник Сен-При? Ах, проклятый шпион! Старые подозрения вспыхнули, как солома на огне. Князь ухватил угол скатерти, смял его в кулаке и так дернул, что посуда на столе звякнула и бараний соус пролился между тарелками.

— Кто осведомил ваше сиятельство о плане фельдмаршала? — спросил он сдавленным, не своим голосом.

Сен-При смутился. Эти мгновенно находившие на Багратиона судороги гнева были ему известны. И он знал, что вызываются они обычно собственной его, Сен-При, неосторожностью. Но в чем заключалась она сейчас, этого он не знал. Граф покраснел и развел руками, беспомощно оглядываясь. Воронцов ободрительно улыбнулся.

— Помилуйте, ваше сиятельство, — сказал он Багратиону, — да об этом все знают. И я тоже...

— И я, и я, — проговорили Горчаков и Неверовский, — все прапорщики квартирмейстерские знают.

— Измена! — крикнул князь Петр.

— Ежели это измена, то одного из главных изменников я могу наименовать, — продолжал Воронцов: — это прапорщик Александр Раевский. От него слух ко мне дошел... Он только что в квартирмейстерскую часть переведен, а лишнее болтать ему не в повинку.

— Господа генералитет! — раздался с порога избы голос князя Калтакузена.

Полковник давно уже вошел и стоял незамеченный, с интересом прислушиваясь к бурному разговору.

— Господа генералитет! Коли малым чином рот мой не запечатан, осмелюсь сказать. Что за измена, князь Петр Иванович? Господь с вами, ваше сиятельство! Намедни пришел ко мне дивизионный наш квартирмейстер прапорщик Полчанинов и, в слезах от радостной надежды, сообщил. Всем известно, всем решительно. Иные фельдфебели от тайны этой не в стороне. А кто впрямь в стороне, так то господин начальник главного штаба барон Беннигсен.

Князь Григорий Матвеевич так добродушно засмеялся, что невозможно было на смех его не отозваться. Сен-При пожал руку Воронцову. Багратион медленно проговорил:

— Бог весть, как свершилось это. А кто в каком участии состоит, скоро на смертном суде божьем объявится. Прапорщикам-квартирмейстерам на роток не накинешь платок. А Толью от ранца, ей-ей, не отвертеться.

И на следующий день после Шевардинского боя, то есть 25 августа, фортификационные работы на левом фланге не прекращались. К вечеру уже не существовало Семеновского: на месте разрушенной деревни стояла двадцатичетырехорудийная батарея. Три маленьких шанца перед деревней превратились в большие флешы. И Утицкий лес разгородился засеками на части. Земляные работы производились также и в том пункте позиции, где левый фланг соприкасался с ее центром. На кургане, выступавшем сажень на двести пятьдесят перед фронтом, между правым крылом 7-го корпуса и левым крылом 6-го, строилась центральная батарея. Так как оборонять эту батарею должен был 7-й корпус генерала Раевского, то и называть ее стали «батареей Раевского». Множество бородатых людей в смурых полукафтанных и серых шанках с медными крестами усердно таскали здесь в мешках землю, обносили курган низким валом, готовили площадки для установки пятидесяти орудий. Это было московское ополчение. Начинало смеркаться, а работы на батарее Раевского еще не были кончены. Становилось ясно, что их так и не удастся довести до конца. Надо было еще углубить ров, сгладить спуски, уровнять вал, одеть амбразуры турами и фашинами. А между тем артиллерийские роты одна за другой уже въезжали на батарею и занимали места.

У боковой амбразуры стоял молодой человек невысокого роста, в офицерском мундире московского ополчения. Желтое, будто у турка, лицо его с широким, угловатым, почти квадратным лбом и выпуклыми, кофейного цвета глазами было безмятежно задумчиво. Пальцы медленно перебирали страницы кожаной тетрадки. Полные губы что-то беззвучно шептали. Он смотрел на то, что делалось кругом, на кипучую возню бородатых ополченцев и заезды пушек, но едва ли видел что-нибудь. Так не заметил он и быстро подошедшего к нему Травина.

— Здравствуй, милый Жуковский мой! — воскликнул поручик. — Странен ты мне в полувоенном своем наряде! Век не привыкну! Однако что вершит судьба с нами: не встречались десять лет, с Московского благородного пансиона, а теперь сходимся по два раза на день! Что ты здесь делаешь? Ратники твои трудятся в поте лица, а ты? Взял бы лопату да...

Жуковский очнулся. Лицо его осветилось ласковой улыбкой.

— Где мне с лопатой! Мое ли то дело!.. Скажу тебе, Травин, по секрету: на-днях возьмут меня в дежурство главной квартиры для письменных занятий при фельдмаршале. Вот мое дело! А сейчас стоял я тут, и слагалось в мечтах моих нечто поэтическое. Хотел бы так назвать: «Певец во стане русских воинов». И о светлейшем готова уж строфа. Слушай!

Жуковский поднял к холодному темнеющему небу спокойные, чистые глаза и, поводя кругом правой рукой широко и вместе с тем сдержанно, прочитал звучным бархатым голосом:

Хвала тебе, наш бодрый вождь,
Герой под сединами!
Как юный ратник, вихрь, и дождь,
И труд он делит с нами...

— Хорошо! — одобрил Травин. — Потому главным образом хорошо, что верно! Кому же еще, певец, плетешь ты венцы?

— О Раевском готово. Вот сейчас, как тебе подойти, стоя здесь, на этой его батарее, невольно представил я в мыслях славного воителя, вступившего в бой под Салтановкой двух своих сыновей:

Раевский, слава наших дней,
Хвала! Перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.

И о Платове:

Хвала, наш вихорь-атаман,
Вождь невредимых, Платов!
Твой очарованный аркан
Гроза для супостатов.

— Адрес-календарь русской военной славы, — засмеялся Травин, — отлично! Но ты возлагаешь венки, а родина молчит.

Жуковский выпрямился и покачал головой.

— Как можно? Ей первый голос. Слушай!

Вожди славян, хвала и честь!
Свершайте истребленье,
Отчизна к вам зовет: мечь!
Вселенная: спасенье!

— И это прекрасно, — тихо сказал Травин, — ибо сердцу русскому много говорит. Однако сердце русское, для коего поешь ты, прежде всего солдатское сердце. Неужто забыл ты главного трудолюбца страды военной — солдата?



— Двух недель нет, как надел я мундир, — смущенно ответил поэт, — не знаю я солдата.

— Не знаешь... Да и не всякому военному сподручно знать его. А какое удивительное существо — солдат русский! Кто видел его только на параде, тот понятия о нем не имеет. Кто судит о нем по тому, как тянется он перед офицером, тот не узнает его, хоть бы и век прослужил рядом. Нет! А ты попробуй, брат Жуковский, поваляться вместе с ним на одной доске в карауле, просидеть десятки ночей в секрете под пулями, пробегись в атаку под картечью, потрясись на лазаретной линейке... Вот тогда, может быть, и узнаешь ты, что такое русский солдат! Пойдем, я покажу тебе его.

Жуковский послушно двинулся за Травинным туда, где стояли пушки поручика. Прислуга суетилась возле орудий. Ослабляли в дулах заряды. Чистили затравки. Отправляли с батареи запасные лафеты и дроги. Угодников показывал солдатам, как действовать картечью без диоптра при наступлении конницы. Он нагнулся, крикнул и, слегка покраснев от натуга, поднял правило.

— А для скорости задний смотри и по самому орудью правь!

И он начал перебрасывать лафет направо и налево.

— Вот так! Вот так!

— Угодников, — закричал Травин, — да ведь не всяк силен, как ты! Чтобы лафет швырнуть, лесовик ты этакий, мочь нужна чрезвычайная!

— Никак нет, ваше благородие, — улыбаясь и быстро дыша от усилия, отвечал Угодников. — Лишь мнится, будто тяжело, а в деле, сгоряча любой осилит.

— Так ли, братцы?

— Осилим, ваше благородие! — хором подтвердили канониры.

Травин с гордостью поглядел на Жуковского. В это время два всадника в генеральских мундирах вскакали на батарею. Рыжая английская кобыла Багратиона и белый араб Кутайсова фыркали, скалили зубы и, бешено водя блестящими глазами, играли на лансадах. Генералы прыгнули наземь. Ординарцы с привычной ловкостью расстелили на черной земле цветистый персидский ковер. И не успели гости сесть, как уже со всех сторон побежали к коврику солдаты и офицеры, на ходу снимая кивера и фуражки.

— Я еще не обедал сегодня, — сказал Кутайсов, — видеть, прямо к Ермолову ужинать попаду.

— А нам везде стол и дом, — засмеялся Багратион. — Други, чаю!

Офицерские денщики заметались, сбивая с ног друг друга. Вмиг появился большой обгорелый, безносый чайник и задымились оловянные стаканы. Артиллеристы тесным кольцом окружили ковер.

— Други, — говорил Багратион, — век живи — век учись. Много мы с графом, начальником артиллерии нашей, судили-рядили. И надумали нечто. Потерять орудие у нас за смертный грех для батареинного командира идет. А справедливо ли? Ежели хоть и потеряно орудие, да не задаром?

Багратион повел кругом глазами и улыбнулся. Множество офицерских физиономий глядело на него, застыв в немом изумлении. Действительно, до сих пор все артиллеристы русской армии считали, что нет позора тягостней и беды неизбывней, чем потеря орудия. И не нашлось бы, вероятно, ни одного командира батареи, который за сотню саженой от наступавшей конницы не взял бы пушек на передки и не убрался бы поскорей с позиции для спасения орудий. Что же такое говорил теперь Багратион?

— Вот идет на вас в атаку конница... Итидей на пушки мчится... Убираться? Упаси бог! Сколь ни коротко время, что осталось ей доскакать, а можете вы успеть два, а то и три раза выстрелить. И будут эти картечные залпы таковы по губительству, что против них десятков обычных — тьфу!..

Изумление слушателей увеличивалось. Кутайсов тряхнул головой.

— Как знать, что станется с каждым из нас завтра, друзья! А последний совет мой примите: покамест не сел враг на пушки, с позиции ни шагу! На самом ближнем выстреле картечном стой! Артиллерия должна собой жертвовать. Потерять орудие скверно, но... коли тем позиция сохранена, грех искуплен — и нипочем!

Травин отлично понимал, как много важного, решающего смысла в том, о чем с такой настойчивостью толковали генералы. Однако не меньше смысла было и в слепой привязанности солдат к пушкам. Поручик чувствовал необходимость ухватиться за что-то главное, недосказанное. Где оно? В чем? Отчаянное лицо канонира Угодникова мелькнуло у него перед глазами. Он оправил на себе шарф и выступил вперед.

— Ваши сиятельства! Приказ не для размышлений отдается. Исполняется же по разуму — хорошо или худо. Проще быть не может: насадут французы, передки и ящики прочь, орудий не свозить, картечью в упор бить. При

самой лишь крайности людям уходить, а орудия и тогда оставлять на месте...

— Так, душа, верно! — подтвердил Багратион.

Травин показал своей беспалой рукой на Угодникова.

— Вот лучший канонир роты моей, ваше сиятельство!

Он плачет..

Действительно, крупные градины слез медленно сползали в густые черные бакены по бледным щекам солдата.

— А на смерть с улыбкой ходит. Стало быть, пушка ему жизни ценней. Мы будем оставлять орудия. Однако надобно же, ваши сиятельства, чтобы пехота отбивала их! Отдать трудней, чем отбить!

Багратион вскочил, быстро подошел к Травину и обнял его.

— Душа-поручик! Ухарь и смел ты — генералам советы подавать. Впрочем, и генералы российские не без смелости за пользу спасибо сказать. Где увидит пехота, что артиллерия, пушки бросив, уходит, тут и в дело встрянет. Пехотному прикрытию ни робости, ни поздности не спущу. Едем, граф Александр Иванович, к Раевскому, еще подтвердить ему все то надобно, дабы солдат, зная дело свое, спокоен был. А Ермолов ужин свой, видать, без тебя съест.

**
*

Жуковский шел вдоль позиции, направляясь к левому флангу, за оконечностью которого, в двух верстах от гренадерской дивизии принца Карла Мекленбургского, стояло московское ополчение. Поэт был очень рад случаю, который показал ему Багратиона въявь и близко. «Певцу во стане русских воинов» нехватало посвященной князю Петру Ивановичу строфы. Но как ни старался Жуковский переложить в звучные, торжественно-сильные слова свое впечатление, ему это не удавалось. Насколько легко складывались в «Певце» величественные и живые образы Кутузова, Раевского, Платова, Коновницына, настолько труден оказывался Багратион. «Не потому ли так неуловим он, — с досадливой грустью раздумывал Жуковский, — что скрыт в малом теле его громадный солдатский дух? А солдата русского не знаю я... И дабы узнать его, Травин говорит, многое, многое надобно...»

Поэт спотыкался на ямах и рытвинах, блуждая по кустарникам, обходя овраги и логи, и не замечал того, что делалось вокруг. Между тем русская армия готовилась к бою. Пехота чистила ружья, заменяла в них старые кремни новыми. Кавалеристы осматривали ножи, точили сабли.

В артиллерии укреплялись построжки, смазывались колеса, травились запалы, принимались снаряды. Везде было хлопотно, но не шумно. Быстрота и точность действий не требовали слов. Все совершалось как бы само собою. Наконец Жуковский добрал до того места, где посреди тонкой береговой заросли расположился гренадерский лагерь. Отсюда было рукой подать и до оволченского. Но в это время поезда обогнали дрожки с высоким и тощим седым генералом в огромной шляпе с разноцветным плюмажем. У первого ведета¹ генерал приказал своему кучеру остановить коней и подозвал солдата.

— Чье охранение? — спросил он громко и отчетливо, но не чисто выговаривая русские слова.

Из кустов выскочил офицер и, тотчас узнав начальника главного штаба барона Беннигсена, вытянулся и доложил:

— Второй гренадерской дивизии, ваше высокопревосходительство!

Гремя саблями и пилорами, Беннигсен медленно вышел из дрожек. Несколько минут он внимательно оглядывал местность и хотя ничего не говорил, но узкие губы его заметно шевелились. Что-то не нравилось ему в том, что он видел, так сильно не нравилось, что он раза два-три возмущенно пожал плечами.

— Чья бригада?

— Полковника князя Кантакузена.

— Пошлите, господин офицер, за полковником.

Вскоре в кустах обозначилась черная плотная фигура князя Григория Матвеевича, спешившего вразвалочку и не очень торопко на зов генерала.

— Кто поставил вас тут, полковник?

— Квартирмейстерский офицер по приказанию генерал-квартирмейстера, ваше высокопревосходительство.

— Зачем делает полковник Толь такие глупости? — сердито воскликнул Беннигсен и, взяв Кантакузена под локоть, начал поворачивать его туда и сюда. — Зачем вы не возражаете, когда видите, что с вами делают глупости? Ваша бригада поставлена на жертву! Разве не ясно? Вы левое крыло войск князя Багратиона. Но посмотрите: пространство между вами и третьим корпусом генерала Тучкова столь обширно, что неприятель завтра непременно бросится в него. Он начнет с этого.

Недоумение Беннигсена было попятно Кантакузену. Начальник главного штаба не знал кутузовского плана засады.

¹ То же, что пикет.

Секрет фельдмаршала держался крепко. «Сказать? Боже избави!» Разговор складывался потешно.

— Я не могу знать, ваше высокопревосходительство, как начнет завтра француз, — отвечал Кантакузен, с трудом пряча в бакенбардах улыбку, — а долг мой — исполнять повеления.

«Как глуп этот полковник!» подумал Беннигсен.

— Ваш долг, ваш долг! — повторил он. — Ваш долг еще и в том, чтобы спасти свою часть от неминуемого истребления. А для этого надо кое о чем догадываться и соображать.

Князь Григорий Матвеевич вспыхнул.

— Соображать много легче, чем, повидимому, кажется вашему высокопревосходительству.

Беннигсен вздрогнул. Глаза его сверкнули.

— Молчать, полковник! — сказал он и быстро облизнул губы. — Я знаю людей, которые пробивают стены головами, а вы сами представляете под падающую на вас стену свей жалкий череп. Я не встречал еще таких отважных... глупцов!

Он вскочил на дрожки и, развалившись, выставилверху сухие коленки двумя острыми углами.

**
*

Странная неприязнь со стороны войск преследовала Беннигсена от появления его в армии до сегодняшнего дня. Солдаты почти не отвечали на его приветствия. Офицеры глядели угрюмо и недоброжелательно. Откуда это бралось? Почему не было ничего подобного, когда подъезжал к войскам со своими улыбочками Кутузов? Понятно, что солдаты и офицеры не любили Барклая. Понятно, что они восторгались Багратионом. Но совершенно непонятно ни это слепое обожание дряхлого хитреца-фельдмаршала, ни открытое отвращение к нему, Беннигсену. Атмосфера глухой предвзятости, которую язвительно ощущал вокруг себя барон, ужасно его раздражала. Не он ли водил русские армии к победам над Бонапартом? Пултуск и Прейсиш-Эйлау — это не Аустерлиц. Многие в Европе находят, что есть лишь два полководца, в полной мере владеющих искусством войны: Наполеон и он. Следовательно, дело не может заключаться в недоверии к его полководческому имени. А в чем же оно заключается, это несчастное дело? Только в интриге Кутузова. Но всякому действию должно быть равно противодействие. На этом физическом принципе строится жизнь материи. Почему дух и мораль надо исключать из общего

правила? Вовсе не надо. Против интриги — интрига. «Напишу государю, — думал Бёнингсен. — Не буду ни лгать, ни клеветать. Зачем? Достаточно рассказать о размещении войск на левом фланге, чтобы старческий маразм светлейшего всплыл на поверхности этих решительных дней, как пустая пробка на воде. И о том, как деятельно и умело я исправляю эти непростительные ошибки...»

Генерал Тучков встретил начальника главного штаба посреди своего лагеря с мрачным и недовольным видом.

— Мой генерал, — сказал ему Бёнингсен, — потрудитесь сейчас же выдвинуть ваши войска из-за леса как можно ближе к оконечности левого фланга.

— Однако для чего это надо, ваше высокопревосходительство? — отвечал командир третьего корпуса. — Мне и здесь хорошо!

Опять то же самое: все столь естественные в положении Бёнингсена попытки вмешаться в стихийный ход вещей, направить его в русло смысла и разума патыкаются на слепой и упрямый отпор. Но на сей раз это не удастся!

— Если я говорю, генерал, что вам надо передвинуть свои войска, я знаю, почему я так говорю. Мне не хочется напоминать вам, что мои приказания для вас обязательны.

Тучков переступил с ноги на ногу. По грубому лицу его скользнула гримаса, похожая на сдавленный зевок.

— Вашему высокопревосходительству известно, что я не первый день состою на императорской российской службе. Учтите меня поздно даже вашему высокопревосходительству. Я не нахожу надобности в передвижении, — один лишь вред. Вам угодно, чтобы я вышел на отклон горы, отделяющий лес от левого фланга. Но ведь нетрудно видеть, барон, что, обнаружившись таким образом, я буду поражаем нещадно.

И снова в выражениях генерала Бёнингсена почуял недомолвку. Тучков, конечно, меньше всего боялся артиллерийского огня французских батарей. Но чего же опасался он? Бёнингсена охватил гнев. Это бывало с ним очень редко. Зато, как обычно случается с людьми выдержанными, по внешности холодными и спокойными, чем реже находили на него припадки гнева, тем сильнее потрясали они все его существо. В эти страшные минуты у Бёнингсена отнимались колени, горло сжималось железным кольцом, глаза ослеплялись невидимым блеском ярости, он переставал думать и понимать что-нибудь, кроме своей злобы. В войну 1807 года было даже так, что, придя в состояние бешенства, он лишился чувств, упал в обморок, как жапильцишан из девиц. И теперь он был близок к тому же.

Беннигсен хотел топнуть ногой — земля расступилась. Хотел крикнуть — вырвался хрип:

— Немедля выводи корпус... Я...

Тучков отдал честь, повернулся и сказал своему квартирмейстеру:

— Выводи, братец, дивизии к левому флангу. А я ни за что больше не отвечаю!

**

Известно: где тесно, там солдату и место. У костра фельдфебеля Брезгуна постепенно собралась почти вся карабинерская рота. Гренадеры подходили один за другим и, покуривая трубочки с травой тютюном, неторопливо ввязывались в разговоры.

— Дума за горами, а смерть за плечами, — вздохнул кто-то.

— Ты это, Кукушкин, оставь! — строго приказал Иван Иваныч. — В канун боя оставь это!

— Да ведь жутко, Иван Иваныч! — отозвался Кукушкин.

— Жутко! Ну и что ж, коли жутко? И в секрете иной час жутко бывает! А сумеешь себя разважить и — ничего. Что же такое, что жутко?

— Не помрем, так увидим, — с небывалой серьезностью заметил Трегуляев. — Вон сколько собралось нас тут! И кого нет! Ты, Кукушкин, тверской, что ли? Стало, ряпушник. Чучков — арзамасский, из лукоедов. Мышатников — с Амурска, цыгане семь верст объезжали. Калганов — сибиряк, соленые уши. Тужиков — огородник ростовский, ездил чорт в Ростов, да набегался от крестов. Круглянкин всем хорош бы, да туляк! Вишь, сколь нас всяких-разных много! А настоящий-то страх у всех один.

Трегуляев встал, прошелся кругом огня и хотел было продолжать свои рассуждения дальше. Но ему не дал Старынчук. Рекрут тоже встал, раскрыл рот, глотнул воздуха, как рыба, высунувшая голову из воды, взмахнул руками, опять раскрыл рот и сказал:

— Аг почекай, пан Максимыч, воробьем чиликать! Не рушь гнезда! Моя казка без сорому: не бийся, товариство, храбца, ни смертного року!

Если бы Старынчук заржал конем или закричал вышью, карабинеры удивились бы не меньше. Уж очень привыкли они к его молчаливости. Все удивились, а Трегуляев, кроме того, и рассердился.

— Ах ты, бабий корень! Еще и кашки нет, а он хлебало пастежь. Да ты бы сперва дослушал, чем меня с речи сши-

бать. У всех у нас настоящий страх один: оглянешься на Москву, так и на чорта ползешь. Вот какой наш страх!

Трегуляев был взволнован. Брезгун поднял голову.

— Хорошо ты сказал, Максимыч. Да и Влас недурно молвил. А сцепляться из-за пустого поне никого не доущу! Свят день ждет нас — битва святая. В разум возьмите: через поле Бородинское две реки текут, а к ним два ручья тянутся. Небось, о прозваньях не сведали? Колоча да Война, Огник да Стонец. Понимать это надобно: штык и огонь стоном пройдут по военному этому полю. Это раз! А второе: Михайлов-то сколько сошлось!

— Каких Михайлов, Иван Иванович?

— А вот гни на пальцах: Михайло Ларивоныч Кутузов, Михайло Богдапыч Барклай, Михайло Андреич Милорадович, Михайло Семеныч Воронцов. И у французов — Ней. Его ведь Мишелем звать, а по-русски опять же Михайло.

Фельдфебель снял кивер и перекрестился.

— В главе же семнадцатой книги пророчеств Исаевых прямо честь можно: «В те дни восстанет князь Михаил и ополчится за люди своя». Ну-тка? Каки-таки дни? Какой-такой князь Михаил? Завтра светлейший князь восстанет за Русь! И мы — ополчение его.

Голос Брезгуна дрожал.

У костра стало тихо-тихо. Мимо промчались вскачь дрожки с Беннигсеном. Кто-то спросил фельдфебеля:

— А на кой ляд, Иван Иванович, к делу нашему немец этот прилип?

Брезгун покрутил головой, как делают люди, когда им бывает тошно.

— Хват-от! Давно знакомы. В седьмом годе в Пруссии команду над нами имел. В грязи топил, холодом-голодом ел. А сам бывало в колясочке, на подушках размечется да по корпусам катает. Кто раз видал, век пз памяти не уронит. Тьфу, пропасть его возьми, прости господи! На всю жизнь остобесил!

Иван Иванович плюнул с таким остервенением, что невозможно было и ждать от него подобного, противного чиновочитанию поступка.

— А ведь толковали в седьмом годе, Иван Иванович, — сказал какой-то старый grenadier, — будто и сам он о себе мало думал. Будто ел, что подавали.

— Ел... ел... — возмущенно повторил Брезгун. — Его было дело, что ему есть. О себе-то, пожалуй, хоть и не думай — на то добрая твоя воля, а о людях заботься.

Ну да, слава создателю, держат теперь немца этого сбоку. С Кутузовым да Багратионом дело иное. Не ровен завтра спор русский. А с ними и он равен окажется!

ГЛАВА XXXVI

Наступила ночь, темная-темная. Сквозь щели дощатых ставней в избе Багратиона тускло мерцал огонек догоравшей свечи. Ординарцы, конвойные и вестовые казаки давно уже завалились на отдых. Дружный храп их слышался в сенях и по чуланам, на сеновале и в коноплянике. Казалось, что и внутри избы царствовал сон. Но это только казалось. Князь Петр Иванович лежал на походной койке, в сюртуке, год шинелью и, подперев кулаком взлохматившуюся голову, думал. В полумраке лицо его выглядело особенно бледным. Уже в течение многих суток ощущение тяжкой усталости не покидало его ни на минуту. Целые дни скакал он по позиции то с Ермоловым, то с Кутайсовым, а то и один. Объезжал батареи и полки, забирался и за Утицкий лес к Тучкову, — жаль, что сегодня не успел! Следил за Сен-При, советовался с Платовым, Раевским, Коновницким. Дни мелькали с такой быстротой, словно их гнало вперед ураганом. Но затем приходила ночь. Эти глухие часы жизни не приносили князю Петру ни отдыха, ни сна. Он не мог бы даже и вспомнить, когда в последний раз спал по-настоящему, крепко и бесчувственно, как положено спать усталому человеку. Почти его наполняли какой-то тонкой и прозрачной, томительно-беспокойной смесью бодрствования и дремоты. Так было и сейчас.

Рваные клочки мыслей, как облака под ветром, обгоняли друг друга в голове Багратиона. То слышался ему твердо-ласковый и уверенно-вкрадчивый голос Ермолова. То горячие возгласы Кутайсова звоном катились по избе. А то вспыхивал пронзительно-ярким светом единственный глаз фельдмаршала и синеватые губы, улыбаясь, шамкали нивесть что. Как нивесть что? Фельдмаршал жестко выговаривал Беннигсену за лицемерие и ябедничество. Барон ежедневно пишет царю и в письмах этих брызжет на Кутузова змеиным ядом клеветы. А Михайло Ларивонич не получает от царя ничего, кроме сухо-официальных рескриптов: «В протчем пребываю к вашей светлости благосклонный Александр». И вдруг император прислал Кутузову очередной донос Беннигсена. Это стоит сотни рескриптов. «Не вы ли сочинитель сей подлости, ваше высокопревосходитель-

ство? Попались? Вон!..» Ах, кабы и впрямь случилось нечто подобное!

Ермолов хитер: прячется за книги. Вот он развернул толстый фолиант Цезаревых «Комментарий» и читает по-латыни, но так, что и Багратион отлично понимает: «Двадцать шестое августа — памятный в русской истории день! В 1395 году Тамерлан стоял на берегах реки Сосны у Ельца, и Русь дрожала. Но именно двадцать шестого августа этот грозный покоритель Индии, Персии, Сирии и Малой Азии внезапно повернул свои полчища и, «никем гонимый», бежал. С тех пор пикогда уже не возвращался он в русскую землю. Того же числа августа 1612 года вышли поляки из разоренной Москвы»... Хм! Завтра двадцать шестое. Хитер Ермолов, а Багратион не учен. Но — век живи, век учишь. «Тезка, да при чем же тут «Комментарии» Цезаря?» — «А это совершенно все равно, — весело смеется Алексей Петрович, — важно другое: завтра победа непременно ноймается и уж не выкрутятся, как бы ни вертелась!»

И Кутисов тоже смеется. На какой-то огромной мельнице должны пойти в ход жернова. Как только они двинутся, от этого маленького красивого генерала не останется ровно ничего. Он знает об этом. Да и как не знать, коли застрял между жерновами? Но это его ничуть не смущает. Он кричит с величайшим жаром: «*Advienne que pourra!*»¹ Ура! Ага! Его расчет на то, что в Можайске городничим отставной корнет конной гвардии князь Андрей Голицын. Да как глуп племянник! Точно шленский баран! Давно надо было взять оболтуса из гвардии, сторвать от карт и кутежей. В его годы Багратион пил кизлярское да красные донские выморозки. А это что? Старики Голицыны померли. «Симы» разыграны с молотка в лотерею. И «принц Макаредли» вывертывает карманы у несчастных можайских мешан...

Что-то оглушительно треснуло возле Багратиона. Неужели жернова повернулись-таки и Можайск не помог Кутайсову? Князь Петр Иванович быстро протер глаза и сел на постели. Трещала свеча, оплывшая жирным нагаром. Красный огонек умирал, бросаясь из стороны в сторону и выкидывая вверх струйку копоти. В горнице было чадно. «Мещане... Можайск... А что я приказывал насчет Можайска?» Багратион вздрогнул и вскочил с койки. Шинель упала на пол. Свеча потухла.

— Эй, други! — громко крикнул князь Петр. — Олферьева ко мне! Живо!

¹ Будь что будет! (франц.)

Штаб 7-го корпуса помещался в сарае. В эту ночь никто из штабных офицеров не спал. Все дежурство, вся квартирмейстерская часть собрались в сарае. Но он был так велик, что и от этого в нем не казалось тесно. Адьютанты, примостившись на кадках и ящиках, строчили рапорты. Кое-где по углам завязывался штосс. Кто-то понтировал с такой безотменной удачей, что наконец сам не выдержал — собрал деньги и швырнул карты.

— Довольно, господа! Дурной знак! Вряд ли буду я завтра столь же счастлив!

Посредине сарая на доске, покрытой одеялом, Раевский, Паскевич и три артиллерийских полковника играли в бостон. Паскевич задел обшлагом кожаный стаканчик, полный костей, которые бросались в крепь при сдаче карт. Стаканчик упал наземь, и кости рассыпались. Лицо Ивана Федоровича болезненно сморщилось — он был суеверен. Один из артиллерийских полковников, завидовавший быстрой карьере молодого генерала, сказал:

— Скверная ауспиция¹, ваше превосходительство! Да что поделаешь! У меня вся бригада надела белые рубахи. Люди к смерти готовятся.

Раевский распахнул жилет — под ним была чистая белая рубаха.

— Не в том суть! Надо, чтоб сердце было чисто и душа бела.

Паскевич нагнулся, чтобы собрать с земли рассыпавшиеся кости. Лицо его спряталось под доской. И голос прозвучал глухо, с натугой:

— Кстати, вспомнилось мне, Николай Николаич. Очень виноват я по забывчивости перед одним офицером. Еще за Салтановку, а потом за Смоленск хотел в представление к чину включить. И каждый раз из памяти вон! И храбр, и находчив, и два пальца потерял.

— Как звать? — спросил Раевский.

— Временно командующий номера двадцать шестого артиллерийской ротой поручик Травин. В штабс-капитаны. И канонира одного из роты той — в фейерверкеры.

— Представляйте, Иван Федорыч. Коли живы останемся...

Дверь отчаянно взвизгнула, и Олферьев вбежал в сарай.

— Ваше превосходительство! Главнокомандующий Второй армии ввечеру приказал отправить в Можайск обоз

¹ Предзнаменование.

главной квартиры, а из корпусов — всех больных и невоенных людей. Письменное же повеление о том дать вам запоминать. И весьма встревожен..

— Напрасно, — сказал Раевский, — в седьмом корпусе ни одного больного и невоенного нет. Всех уже отправил я. Неужто опять не спит князь?

**
*

Шалаш был так низок, что лежать или сидеть в нем на соломе друг подле друга было еще можно, но встать на ноги или выпрямиться никак нельзя. В этом темном и тесном углу сошлись на ночлег шесть офицеров. Почти все они были молоды, сильны и смелы. Спать им не хотелось, и они разговаривали.

— Жаль, Полчанинов, — сказал один из них, — что не можете вы за тьмотой прочесть нам сегодняшнюю страницу из журнала вашего.

— Да там всего лишь одна маленькая пьеска в стихах, — отвечал Полчанинов, — коли хотите, прочту наизусть. Я ее помню.

Э х о

Ужели не побью я русских никогда? — Да.

Но и меня побить им также невозможно? — Можно.

Кто ж, наконец, сразит моих французов? — Кутузов.

А Францию что ждет, как мой падет кумир? — Мир.

— Ах, славно! — закричали восхищенные офицеры. — Вот это стихи! Отчего бы, Полчанинов, не отправить вам их в академию? Или государю императору посвятить? А то напечатать на свой счет и распускать в публике? Счастливец вы, что можете этакое сочинять!

Однако лежавший рядом с Полчаниновым Александр Раевский прошептал ему на ухо:

— Не слушайте. Дурно!

Прапорщик пожалел, что вылез со стихами. «Слава богу, — подумал он, — что темно. Я, кажется, покраснел. Но как странно! Одним нравится мое «Эхо», другие бранят его. А Травин давеча обозвал безделкой. Экая досада, что нет среди моих знакомцев ни одного настоящего поэта!»

Вдруг из самого темного угла шалаша раздался бархатистый и ровный голос. Владелец его был никому не известен.

— Человек — такая брюзга, что во всем сыщет недостаток. Ему ежели мед, так уж и с ложкой. Ваши стихи, господин Полчанинов, тем хороши, что вровень с высокими чувствами любви к отечеству идут. А за брюзгливость прости-

те, коли скажу: перо ваше еще недостаточно искусно. *Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas*¹, говорили римляне. Узы давней дружбы соединяют меня с известным российским сочинителем и журнальным издателем господином Карамзиным. Ныне укрылся он от галльской напасти в эмиграции. На волжских берегах нашел себе в Нижнем Новгороде утлый приют. Но минется напасть, и стоит тогда пожелать вам, как «Эхо» будет мною доставлено господину Карамзину для напечатания и, ручаюсь, прямо попадет под станок.

Полчанинов оцепенел от смущения. Офицеры скромно молчали. Неизвестный голос добавил:

— Незван и непрошен очутился я, господа, в вашем обществе. Рекомендуюсь: поручик московского ополчения мамоновского полка Василий Жуковский. Ночь застгла меня по дороге к месту, я и попал под гостеприимное ваше крыло, боясь в темноте заблудиться...

Фамилия незнакомца отозвалась в сердце Полчанинова радостной надеждой. Какой Жуковский? Не поэт ли? Не славный ли переводчик Грея и Бюргера? Задыхаясь от волнения и от усилий скрыть его, он сказал:

— Фамилия ваша очень известна по переводу Греевой элегии. Еще в корпусе я наслаждался очаровательной картиной «Сельского кладбища». Неужели...

— Вы не ошиблись, — тихо проговорил Жуковский, — я переводчик Грея.

Не все товарищи Полчанинова слышали о Жуковском и «Сельском кладбище», но все поняли, что ночь завела к ним в соседство литературную знаменитость. Это ошеломило их, и дружная до того беседа оборвалась. Заметив это, Жуковский воскликнул с простым и искренним одушевлением:

— Ах, господа! Завтра решится кровавая задача. Нас здесь шестеро. Не может же так быть, чтобы все мы, сколько ни есть в шалаше, вышли из дела целы и невредимы. Ведь кому-нибудь из нас да надо же быть убитым или раненым...

— Слышал я от батюшки, — проговорил, потягиваясь, Александр Раевский, — что в больших сражениях обычно из десяти убивают одного, а ранят двух. Нас здесь шестеро. Следственно, убит будет либо один, либо ни одного, а ранен кто-нибудь непременно.

¹ Если недостает сил, то похвально по крайней мере желание (лат.).

«Неужто я именно тот десятый, который должен быть убит завтра? — с ужасом подумал Полчанинов. — Умереть? Это не просто перестать пить и есть. Это перестать видеть, слышать, думать, писать журнал, никогда не напечатать «Эхо», потерять Жуковского, не встретить Карамзина...».

— И вот я говорю заранее, — продолжал Раевский, — меня могут ранить, но не убьют ни в каком случае.

— Почему? — жадно спросило несколько голосов.

— Я не хочу, чтобы меня убили. Потому и не убьют. Так и под Салтановкой было.

Полчанинов приподнялся на локте. Прямо перед ним сквозь дыру в стене шалаша виднелся кусок темного, усыпанного яркими звездами неба. «Сейчас сосчитаю, сколько звезд светит в эту дырку. — подумал он: — если печет — убьют». Он пересчитал: девять. С отчаянием пересчитал еще раз: те же девять. В груди прапорщика стало жарко и душно. Сердце его забилось часто-часто. Он показал рукой на дыру в стене шалаша.

— Видите, господа, вот там, на небе, большую звезду?

— Это Сириус, — сказал Жуковский, — цыганская звезда.

— Если меня убьют завтра, я хотел бы жить там после смерти!

Молчавший до сих пор штабс-капитан из сдаточных рассердился.

— Что за пустяки! Этак за вами, прапорщик, тысячи народа на эту цыганскую звезду потянутся. Пожалуй, и места нехватит. Да и что за разговор? Убьют — не убьют.. Темна вода во облацех...

Он грузно повернулся со спины на бок.!

— Полно рассуждать. Спите лучше, господа! На все его святая всля...

И штабс-капитан захрапел. Вскоре и еще два офицера принялись ему вторить.

— Вы заговорили, Полчанинов, о бессмертии, — сказал Александр Раевский, — я тоже ничего не имею против бессмертия. Но меня смущают две вещи. Во-первых, чтобы стать бессмертным, надо сначала умереть, а это как-то противно. Во-вторых, вечно жить в раю и слушать одну и ту же небесную музыку может надоесть.

Он засмеялся. Но ни Жуковский, ни Полчанинов не отзвались на его смех. Тогда и он проговорил с неожиданной серьезностью:

— Ничто не пропадает в мире. Умер человек, но продолжает питать собой землю и воздух. А бессмертный дух его вливается в общий разум вещей.

— Это страшно, что вы сказали, — промолвил Жуковский. — Разум, мысль и душа наши много терпят на земле. Неужто же, натерпевшись здесь, ядобоно им еще и там страдать? Знать, как несчастье человечество, и не иметь возможности помочь ему, мучительно. Я — за полное забвение, за пустоту!

— Пустоте тоже должен быть предел, — с тоской сказал Полчанинов.

— Откуда вы это взяли? — удивился Раевский. — Пустота — часть мира, а мир беспределен. Я тоже его часть и, следовательно, тоже беспределен. Я не шутил, говоря, что меня не убьют, так как я не хочу этого. Не хочу и — все! Ведь я беспределен. Значит, не убьют!

«Он умней меня, — подумал Полчанинов, — по Травин лучше его. Для Травина мир — отечество. Россия. Другого он не хочет и не знает. Если так...» Все странное и велепое в том, что сейчас говорилось, исчезло. А то, что осталось, было так ясно, что Полчанинов, поднятый с соломы могучим вдохновением светлого чувства, крикнул:

— Мое бессмертие в том, чтобы вечно жила Россия. И для того чтобы жила она, я готов... я хочу умереть завтра!

ГЛАВА XXXVII

Еще и не начинало светать, а над Колочей уже стлался утренний пар. Постепенно сгущаясь, он подымался все выше и выше и наконец сделался таким густым, что вовсе закрыл собой холмистый берег реки. Вскоре не стало видно и неба. Над Бородинским полем развернулось волшебное царство тумана, клубившегося под низким светлосерым, почти белым сводом. Никто не сказал бы, ясен или хмур будет наступавший день. И так продолжалось долго, до тех пор, пока где-то сбоку не засветилось и не заиграло теплым сиянием яркое пятно. Туман побежал прочь от этого места, и голубые просици отчетливо обозначились в вышине. Розовый блеск вставал над горизонтом. Вдруг брызнули лучи солнца, и сотни радуг, скрещиваясь, перекинулись через поле, над которым колебалось опаловое море сверкающей росы. Было удивительно тихо. Только в Колоче нет-нет да и всплескивалось что-то. Еле слышно чивкая, кулички выскакивали из тростников на прибрежный песок. Кротким, веселым и радостным утром начинался день двадцать шестого августа тысяча восемьсот двенадцатого года.

Солнце продолжало величественно подниматься, гоня прочь последние тени ночи. Сотни барабанов гулко отбили

зорию. И снова все стихло. Такое молчание обычно предшествует в природе большим бурям. Перед страшной опасностью оно иногда охватывает также и человеческую толпу. Ведь за великими ожиданиями чаще всего следуют для людей великие неожиданности. Но сейчас смысл этого грозного молчания был понятен — войска ждали боя.

**

Шести часов еще не было, когда со стороны Шевардинского редута густо грянул одинокий пушечный выстрел. Грохот пронесся по полю, раскатываясь в разных концах его тягучими отголосками, и наконец растаял в глубокой утренней тишине. Прошло несколько минут. Грянул еще выстрел, еще и еще. Воздух вздрогнул. Поползла ружейная трескотня. И вдруг земля застонала и затряслась от грома орудийных залпов. Свирепый рев канонады наполнил собой спокойную долину. Среди ее мирных холмов взвились клубы пламени и дыма. И в то же самое мгновение свист ядер прорезал все видимое человеческому глазу пространство в тысяче направлений.

Французы обстреливали левый фланг русской позиции со своих шевардинских батарей. Больше сотни орудий, главным образом двенадцатифунтовых, били по войскам Багратиона.

— Становись!

Ряды смыкались и размыкались, как на ученье. Сверкали сабли и штыки, горели орудийные дула, и все это перебивалось гигантской радугой, лежавшей на земле. Гром канонады уже не сливался в однообразный гул. Изредка привычное ухо князя Петра Ивановича улавливало далекие отзвуки перекатного ружейного огня. Назревала атака. К ее встрече на левом фланге все было готово. Стоя на эскарпе средней флешы, Багратион жадно следил за движением французских линий. Свет и радость сияли на его лице. От полночной немочи не осталось и следа. Нет, спокойствие не там, где постель и крыша...

— Пошли! Идут!

Но куда? Князь Петр Иванович бросил подозрную трубку, она только мешала. Чтобы лучше видеть, он вскочил на коня и привстал в стремях. Французы шли не к левому флангу, они атаквали центр позиции и уже врывались в село Бородино. У моста яростно трещала ружейная пальба. Дым и пыль заслоняли картину. Но можно было разглядеть, как гвардейские сгеря отступали за мост, как сжималась оборонявшая мост батарея. В десять минут разыгра-

лось все. Э, нет, не все! Стрелки 1-го егерского бегут в контратаку. Бой откатывается в улицы села, а из улиц — в поле. «Ага, — догадался князь Петр, — фальшивый ход! Вот теперь-то и двинутся они на меня...»

**
|*|

Боевое поле потонуло в синей пучине дыма. У самой земли, мокрой от росы и потому притягивавшей к себе волны порохового тумана, эта завеса была особенно густа и непроницаема. Солнце уже не блистало, оно превратилось в красный шар без лучей и фонарем повисло над битвой. Грозный концерт стопушечного оркестра то затихал, то снова гремел с ужасающей силой. Эта музыка артиллерийского боя была нестройна и дика. Но нет-нет да и прорывались в ней поразительные по неожиданности своей гармонические переливы. Что-то прекрасное, поэтическое слышалось в этом чудовищном нагромождении грохота.

Было ровно шесть с половиной часов утра, когда гренадерская дивизия графа Воронцова была атакована во флешах войсками маршала Даву. Волна за волной, перехлестывали через мелкий кустарник — это шли линейные французские полки. Гренадеры Воронцова ударяли в штыки, опрокидывали наступавшую колонну и возвращались назад, прикрываясь цепью стрелков. Воронцов сам водил их в эти кровавые схватки и сам возвращался с ними на место, не выпуская шпаги из руки и не переставая улыбаться холодно и строго. Но передышки были коротки. Снова прибывала волна атаки, цепь стрелков разрывалась, чтобы дать простор для встречи колонн, и гренадеры с Воронцовым впереди бежали со штыками наперевес, кололи, ломали, душили, падали сотнями и, опрокинув линейцев, отходили назад. Атакой командовал сам Даву. Воронцову бросились в глаза его круглые щеки и яростно выпученные глаза, когда при втором или третьем натиске французам удалось было вскочить в левую флешь. Но это был только момент. Штыки сверкнули. Лошадь Даву грянулась оземь, маршала вынесли из свалки на плаще. Французы откатились. Потом замескали другие генералы — Компан, Дессе, Рапп. Они смеялись друг друга, обливаясь кровью. Наконец унесли Раппа, высокого и черного, нещадно ругавшего свою двадцать вторую рану. Воронцов оглянулся. Боже, как мало оставалось у него гренадер! Сердце его сжалось. Он был бы изумлен, даже испуган, если бы ему сказали, что и в эту страшную минуту он все-таки улыбался.

Атака Даву была отбита. Его дивизии только что отошли. Но к ним уже присоединялись свежие войска Нея. Несколько правей, у Шевардина, показался вестфальский корпус Жюно. В семь с половиной часов французы снова двинулись на флеш — Ней в лоб, а Жюно в обход Утицкого леса. Бешено шпоря коня, Багратион вынесся на высокий гребень оврага. Отсюда был отлично виден неторопливый марш вестфальцев. «Быки» подавали свой тыл прямо туда, где Кутузовым был поставлен в засаде 3-й корпус Тучкова. Князь Петр Иванович не сомневался: Тучков ждет гостей, готовясь к атаке вестфальского тыла. Он сорвал с себя шляпу. И, размахивая ею в воздухе, радостно прокричал:

— Иди же, душа герцог! Ступай..

Но на флешах было плохо. Ней вел атаку. Он скакал перед колоннами, длинный и худой. Маршальская епанча развевалась за его плечами. Некрасивое, с толстой верхней губой, по сильное и смелое лицо пылало.

— En avant!

— Vive l'empereur!¹ — отвечали солдаты и мчались за Пеем.

Солнце светило так ярко, что блеск неприятельских ружей слепил глаза защитникам флешей. Между тем огромные французские колонны катились на них, как морской прибой. Дым и пыль заволакивали грозную картину атаки. Наконец свинцовый вихрь вырвался из этой мглы и ударил по флешам. Ряды воронцовских гренадер сразу поредели. Солдаты дрогнули и, сбиваясь темными кучками, пошли в отход. Штыки больше не работали. Над левой флешью в синих разливах порохового дыма затрепыхалось знамя 57-го линейного полка и тускло заблестел над высокой фигурой маршала Нея позолоченный орел.

Воронцов крикнул остаткам какого-то батальона, еще державшего строй, равнение и порядок:

— За мной! В штыки! Смотрите, братцы, как умирают генералы!

Он непременно хотел вернуть левую флешь, хотя бы... Удар в бедро опрокинул его наземь. Батальон топтался на месте. Французы уже втащили на редут пушки, и картечь укладывала кругом Воронцова целые взводы. Граф хотел вымахнуть шпагой, но клинок лягнул под картечной дулой, и половины его как не бывало. Однако рука Воронцова

¹ Вперед! Да здравствует император! (франц.)

не выпустила куска изуродованной стали даже и тогда, когда солдаты усадили его самого на скрещенные ложа четырех ружей и бегом потащили с флешей. Даже и потом, минут через десять, очутившись перед Багратионом, он все еще сжимал этот обломок в опущенной книзу руке. Шляпы на Воронцове не было. Белое, как носовой платок, лицо его было обрызгано кровью. Но... он улыбался.

— Куда угораздило тебя, душа граф? — спросил Багратион.

— В ляжку, ваше сиятельство.

— А дивизия?

Воронцов показал сломанной шпагой на землю.

— Как некогда граф Фуэнтее при Рокруа, ответчу: она здесь!

**

Впечатления теснились, давили друг друга, и от этого пропадало чувство времени — часы казались минутами. С тех пор как открылся артиллерийский бой, прошло уже немало времени, а Олферьеву чудилось, будто дело все еще в самом начале. Ядра дождем сыпались на Семеновское. Деревья валились. Избы вдруг исчезали, как декорации на театральной сцене. Воздух был полон оглушительного воя. Земля дрожала. Людей и лошадей коверкало, разбрасывало. От лафетов и зарядных ящиков летела щепка. Однако Олферьев заметил, что треска при этих разрывах слышно не было. словно невидимая рука захватывала живые и мертвые предметы в кулак, ломала и швыряла их.

Когда Багратион подозвал к себе Олферьева и Голицына-«Макаредли», было особенно жарко. Лошадь князя Петра Ивановича мялась и пятилась от грома выстрелов, и он бил ее рукояткой плети по голове, между ушами.

— Ваше сиятельство, — говорил ему Сен-При, — из четырех тысяч гренадер графа Воронцова осталось лишь триста. Из восемнадцати штаб-офицеров трое...

— Оставьте меня! — крикнул Багратион. — Глупости! В бою не говорят о потерях!

Тем не менее он уже решил на то, чего ему очень не хотелось, но без чего обойтись было нельзя. Он послал Голицына к Раевского за двумя-тремя батальонами пехоты и пушками, а Олферьева — к Тучкову с требованием выскочить из засады в тыл Жюно и отрядить на левый фланг 3-ю дивизию Коновницына.

— Как ветер, други! Слышите? За промедление — пуля!

Заметив, что уздечка дрожит в руке племянника, князь коднял нагайку.

— Шпоры! Шпоры, сударь!

Олферьев и «принц Макарелли» помчались в разные стороны.

**

Картина, которая открылась перед Олферьевым, когда он выехал из Семеновского, была одновременно и величественна и страшна. Колонны войск быстро и стройно двигались по полю. Артиллерийские роты с грохотом неслись с позиции на позицию. Адъютанты скакали по разным направлениям. Встречаясь с Олферьевым, некоторые из них кричали:

— Ну и денек! Еще раз отдашь приказание, а там, гляди, и не воротиться!

Земля была изрыта ядрами в сплошной буерак. Порой все это закрывалось тучами дыма. Порой дым рассеивался. И тогда яркое солнце обливало поле сражения веселым блеском, а картина становилась еще грозней и прекрасней. Повсюду лежали человеческие трупы. Они лежали кучами, похожими на поленицы дров. Храбрцы — навзничь, трусы — ничком. Разметав гривы по ветру, раненые лошади прыгали, стараясь уйти из страшного места. Чудовищная сила взгромоздила кругом горы искалеченных оружейных тел и жалких железных скелетов, бывших еще недавно зарядными ящиками. Все это мелькало нестройно, беспорядочно перед глазами Олферьева, то еле проглядывая сквозь туманную завесу боя, то вырастая у него на пути. Вот осколок гранаты разбил бочонок с дегтем, что идет на смазку оружейных осей. Багровое пламя разлилось по земле, взвилось кверху вместе со столбом из пыли и серебристого дыма, трепетно взбросилось под облака и вновь упало на землю темными пятнами сожженной травы. Тут Олферьев заметил: конь его, ретивый подъездок самых высоких кровей, который сперва ужасно пугался свиста ядер, бешено ржал и рвался из повода, вдруг стал бесстрашен, как лев, послушен и смирен, как ягненок. Он проскакал мимо огневого гейзера, не шевельнув ухом, не дрогнув ни одним мускулом. И это наблюдение заставило Олферьева покраснеть. Ну, а где же честное слово, данное Клингферу? Где клятва не отбиваться от смерти, а искать ее? С этой минуты он стал таким же, каким сделался его конь.

Из леса, за которым должен был стоять 3-й корпус генерала Тучкова, вырывались огромные столбы огня и дыма. Эти вспыхивки сопровождались громовыми ударами. Олферьев с изумлением увидел перед лесом глубокие ряды не то вестфальской, не то польской пехоты. Яркие отблески солн-

ца играли на оружии и красивой амуниции солдат. Они шли в атаку на отклон лесной горы тремя просеками. «Кого же они атакуют? Тучкова? Почему он здесь? Когда он вышел из своей засады и зачем?» Вопросы возникали один за другим, и каждый оказывался страшнее предыдущего. У Олферьева захолонуло на сердце. Он перевел коня на крупную рысь и пустился в объезд атаки, не прикрываясь и не думая о том, что его непременно обстреляют.

Нехота Тучкова стояла на отклоне лесной горы под жестоким огнем, но совершенно неподвижно. Когда ядро ударило в ее строй и вырывало из него одного-двух солдат, а то и целую шеренгу, ряды молча смыкались. В этом не было ни хвастовства, ни робости. Сам Тучков со штабом находился на большой поляне, с которой начиналась средняя просека. Здесь он прохаживался взад и вперед посреди то и дело падавших гранат, разрывы которых Олферьев увидел еще издали. Руки генерала были заложены за спину, угрюмое лицо выражало досаду и злость. Он знал, что именно так получится, когда Беннигсен поставил его здесь. И неразбериха эта его ужасно возмущала. Но, как большинство упрямых людей, вынужденных подчиниться насилью, он мстил за него теперь бездеятельностью. Вину за свою бездеятельность и за потери в людях, к которым она приводила, Тучков намеревался возложить на Беннигсена и, прохаживаясь по поляне, обдумывал, как бы поэффектнее это сделать. Тут-то к нему и подскакал Олферьев.

— Каким образом ваше превосходительство здесь, а не за лесом, не в засаде?

Тучков с неудовольствием посмотрел на адъютанта: «Это что за шишка? Откуда прятать — допрашивать?»

— Спроси, братец, не меня, а господина барона Беннигссена. От кого и с чем прислан?

Олферьев доложил:

— Его сиятельство князь Багратион вашему превосходительству повелел представить, что время из засады в тыл вестфальскому корпусу...

Тучков топнул ногой.

— Дичь несете, господин адъютант! Какая засада? Никакой засады нет, сами видите! И ни к кому в тыл действовать уже нельзя мне.

Олферьев закусил губу.

— Сверх того, его сиятельство просит ваше превосходительство отрядить в подкрепление левому флангу третью дивизию генерала Коновницына...

— Что? — крикнул Тучков. — Не сделаю! Не могу!

— Ваше превосходительство!

— Я, братец, старый генерал и знаю, что делаю. Аль не видишь, что сам я атакован? Меня уже подвели раз. Довольно!

Он быстро ходил по поляне и говорил, раздражаясь с каждым словом и незаметно, по привычке, переходя на французский язык:

— Il paraît que tout le monde commande ici...¹

Олферьев понял, что дело потеряно со всех сторон. Вдруг ему ясно представился ужас, совершившийся на лезе фланге, и то, как встретит Багратион грубый отказ Тучкова. Отчаяние и гнев заворочались в его груди. И дерзкое слово само слетело с губ:

— Mon général, il paraît au contraire que personne ne commande ici².

— Мальчишка, — заревел Тучков, — waugien!³

Последнее слово потонуло в оглушительном грохоте взрыва. Лес застонал. Пламя взвилось кверху. Земля и пыль взвихрились над поляной. И когда Олферьев открыл глаза, взгляд его сразу различил под сосной окровавленного Тучкова. Он сидел верхом на корневище и хватал воздух руками. Голова его падала. Бок был вырван. Адьютанты сустились и кричали...

Через несколько минут Олферьев выводил из Утицкого леса на левый фланг 3-ю дивизию генерала Коновницына.

**
*

Коновницынская дивизия проходила мимо лагеря московского ополчения. Ратники еще не были введены в бой, они ждали распоряжений. Но лагерь их уже был под сильным огнем. Ополченцы мотали головами, кланялись и крестились, иные даже бухались на колени. Жуковский смотрел, как шли на левый фланг войска Коновницына, из одного пекла в другое. Солдатам казалась смешной и непонятной трусливая онасливость ратников. Нет-нет, да и вырывались из солдатских рядов едкие присмешки:

— Кланяйся ниже, борода! Сними шапку! Крестись большим крестом! Бей поклоны, дуралей!

«Травни прав, — думал Жуковский, — трудно, очень трудно узнать русского солдата! А что до меня, вовсе его не знаю я».

¹ Кажется, что здесь все командуют... (франц.)

² Напротив, генерал, кажется, здесь никто не командует (франц.)

³ Дрянь! (франц.)

У селения Горки, на кургане, при крайнем доме стояли три орудия. С этой батареи фельдмаршал наблюдал бой, сидя на складном стуле и опершись пухлым подбородком на руки, скрещенные поверх эфеса шпаги. Бой пылал по всей линии. Земля стонала от грома орудий, и стоны ее отзывались глухими раскатами в лежавших за Горками лесных засеках. Синие облака стлались по земле. Ядра прыгали, взбивая кверху тучи пыли. Несколько чугунных гостинцев побывали уже и на батарее фельдмаршала. Только Кутузов не заметил их. Когда грохот канонады усиливался, он отрывисто говорил:

— Не горячись, приятель!

Лицо его было серьезно, но совершенно спокойно. Ход дела был ему ясен. В том, что правый фланг атакован не будет, он не сомневался. Зато левый фланг и батарея Раевского, покрытые черным дымом и гремевшие выстрелами, полностью занимали его мысли. Семеновские флешы переходили из рук в руки. На батарею Раевского бешено бросалась дивизия генерала Брусье. Но главное — левый фланг. Рядом с Кутузовым стоял Беннигсен и, быстро облизывая губы, взволнованно говорил по-немецки:

— Bagration... Bagration... Er ist in grösster Erschöpfung und Zerrüttung! Aber ein Paar Tausend Kosaken, — und alles wäre gerettet! ¹

Кутузов делал вид, что слушает эту болтовню. И даже изредка отзывался на нее короткими фразами:

— Es scheint, Herr Baron, das dermalen die entscheidenden Augenblicke begonnen... ²

Вдруг он поднялся со стула.

— Лошадь!

Свита кинулась к коням. Но он сделал знак остаться на месте. Ординарцы подсадили его на седло. Он слегка ударил своего белого длиннохвостого мекленбуржца нагайкой и рысцой затрусил вниз с кургана. Кутузов давно уже заметил скакавшего к батарее с левого фланга адъютанта. Он не знал, с чем едет к нему посланный Багратиона, но не ожидал приятных известий, а неприятные хотел выслушать один-на-один, без свидетелей. За батареей он остановился и, когда Олферьев, отдавая честь, с карьера осадил коня, сказал ему просто:

¹ Багратион... Багратион... Он в полном отступлении и разброде! Но две тысячи казаков могли бы все исправить! (нем.)

² Кажется, господин барон, наступила решительная минута... (нем.)

— Рассказывай скорей, братец!

Олферьев быстро доложил обо всем, что делалось на левом фланге. Кутузов слушал, медленно кивая головой. Его лицо, покрытое тончайшей сеткой мелких красноватых жилок, оставалось спокойным. Выражение его не изменилось даже и тогда, когда Олферьев доложил, что 3-й корпус еще вчера был выведен Беннигсеном из засады, а генерал Тучков только что убит. Однако пальцы Кутузова, короткие, мягкие и толстые, игравшие оплетенным в ремень кнутовищем нагайки, так надавили в этот момент на кнутовище, что оно сломалось пополам. Михайло Ларивонич промолчал, но и слушать дальше не захотел. Он повернул лошадь и, опустив голову, двинулся шагом назад, на курган. Олферьев заметил, что губы его тихонько шевелились. Почудилось корнету и крепкое русское бранное слово, шопотком слетевшее с этих синих, глубоко запавших внутрь рта старческих губ. Въехав на курган и сходя с лошади, фельдмаршал проговорил, обращаясь к Беннигсену:

— Как и всегда, вы правы, ваше высокопревосходительство! Надо подкрепить левый фланг, но не двумя тысячами казаков. Потрудитесь взять второй и четвертый корпуса и отвести их к князю Багратиону.

Беннигсен поклонился и пошел к лошади. А Кутузов подозвал Толя и сказал ему вполголоса:

— Поезжай с ним, Карлуша, да с глаз не спускай. А то опять напаскудит!..

**
*

Еще рано утром Барклай выехал с адъютантами к дороге, которая вела из Бородина к Горкам, и остановился здесь возле двух батарей. С этого места он уже больше и не сходил. Батареи непрерывно действовали и навлекали на себя жестокий огонь. Но Барклай это не смущало. Он был в генеральском мундире, со всеми звездами и в шляпе с плюмажем. Его адъютантам приходилось жарко. Он то и дело рассылал их по частям с приказаниями, стараясь не упускать возможности во-время подкреплять слабые пункты. Это ему удавалось. Зато адъютанты один за другим выбывали. Графа Лайминга какой-то бешеный французский кирасир, зарвавшийся за линию фронта, просто застрелил из пистолета, хотя Лайминг и находился рядом с Барклаем. Четыре лошади уже были убиты под Михаилом Богдановичем. Последняя была куцым серым мерином, очень высоким. Сидя на ней с подозрительной трубой у глаз, Барклай следил за тем, что делалось на левом фланге. Положение Багратиона его тревожило. Вдруг мерин странно, совсем не по-

лопадиному взвизгнул и рухнул мордой вниз. Михаил Богданович не опустил трубы, он только шагнул через голову подыхавшего коня и приказал:

— Лошадь!

Подвели пятую. Взираясь на нее, он еще крепче прижал к глазам трубу. Левый фланг колебался. Бой шел за последнюю, среднюю флешь. Барклай оглянулся.

— Клингфер!

Ротмистр подъехал.

— Багратион гибнет. Милый ротмистр, прошу вас! Скажите к генералу Дорохову и передайте: Барклай приказал его кавалерийским полком немедленно идти к Багратиону. Возьмите из резерва лейб-гвардии Измайловский, Литовский и Финляндский полки, две роты гвардейской артиллерии и полка три из первой кирасирской дивизии, отведите все это на левый фланг. Спешите, ротмистр! Это очень нужно, очень! С богом!

Клингфер отдал честь и повернул коня.

— Задержитесь на минуту!

Барклай пристально посмотрел на офицера.

— Мы, вероятно, не увидимся больше. Надеюсь, что сбудется мое пламенное желание... Жизнь тяготит меня, Клингфер! Я не хочу, чтобы судьба оставила ее мне. Итак, это почти наверное, что мы увидимся в последний раз. Прощайте!

Барклай протянул руку своему верному адъютанту. Ротмистр крепко прижал ее к груди. Через минуту он скакал прямо навстречу французским фланкерам из наступающей стрелковой цепи, а потом понесся вдоль этой цепи, осыпая ее летучим огнем. «Едва ли я увижу тебя, мой добрый генерал, — думал он. — Быть может, судьба будет справедлива на этот раз и сохранит России Барклая. Но я... честь и клятва должны свести меня нынче со смертью!..»

**
*

Семеновские флешы имели вид реданов или обыкновенных лагерных укреплений, а форму — острого угла, открытого со стороны нападения. Картечными залпами с задних позиций можно было легко вымести из флешей всех, кто в них находился. По этим же причинам удержаться в них было несравненно труднее, чем завладеть ими.

Багратион видел это. Несколько картечных залпов, а потом атака пехоты могли вернуть потерянную левую флешь. И ее надо было вернуть!

— Генерал, — крикнул князь Петр Иванович Неверовскому, — бери свою дивизию! Отхватывай левый шанец!

Неверовский молча приложил пальцы к шляпе. В грохоте боя тонули слова. Надо было бы объяснить этому храброму генералу, что начинать дело следует с картечи. Но... где же там! «Ужели сам не знает?» подумал Багратион и поскакал к правому укреплению, где закипала страшная суматоха.

От 57-го линейного полка, занявшего левую флешь, почти ничего не оставалось. Ней вел сюда дивизию генерала Ледрю, когда натолкнулся на слабые батальоны Неверовского. Вся 27-я дивизия бежала двумя колоннами к атаке, и колонны эти были так малочисленны, что Ней сказал себе: «Сейчас я раздавлю этот храбрый и несчастный полк!» Он сделал знак. Дивизия Ледрю раздалась и выпустила вперед пушки.

— Лажись! — успел прокричать своим Неверовский.

Нехота прилегла. Через нее с шумом полетела картечь, так сильно ударяя и задние насыпи шанца, что пыль взвилась к небу черной тучей. Неверовского смело с коня при первом залпе. Второй и третий решили судьбу предприятия: левую флешь вернуть не удалось.

Было около десяти часов. С правой флешки пронесли командира 8-го корпуса Горчакова. Голова князя Андрея была закутана окровавленной шинелью. Он глухо стонал. Правая флешь была уже во французских руках. Борьба теперь шла за последнюю, среднюю. Именно там чаще и ярче всего вырывался из дыма блеск пушечных огней и, как пятна на солнце, все гуще и гуще чернели колонны наступавших французских войск. Принц Карл Мекленбургский с Киевским, Московским и Астраханским гренадерскими полками уже несколько раз ходил в штыки на эти колонны и опрокидывал их. Но новые и новые дивизии врага рвались к флешке. Ядро свалило принца.

Багратион вертелся посреди этого ада, шпоря лошадь и отыскивая взглядом источник спасенья. Где взять свежих людей? Однако они еще были. Вот двигалась вперед скорым шагом и даже в ногу гренадерская бригада. Словно на параде, стройно и хладнокровно прошла она мимо батарей. Пушки взяли на передки, выскакали вперед и осыпали наступавших французов картечью. Гренадеры опять прошли мимо батарей. Они держали ружья наперевес и не стреляли. Прекратился огонь и со стороны атаки. Колонны сближались в страшном молчании. Впереди бригады шагом сжал на малорослой лошадке Кантакузен.

— Ура, князь! — крикнул ему Багратион. — Я с тобой!
Полковник кивнул головой, не отвечая. Можно было подумать, что он и не узнал Багратиона. Но это было не так. Просто в эти торжественные минуты Григорием Матвеевичем уже безраздельно владело то чудесное, до величия поднимающее дух состояние порыва, когда жизнь со всеми людьми и отношениями отодвигается далеко прочь, а сочувствие друга и ярость врага становятся одинаково безразличными. Кантакузен шел в бой, из которого не было возврата, и он знал это. Только две вещи в мире были сейчас для него не безразличны — это расстояние, отделявшее его от французов и уменьшавшееся с каждой секундой, и твердость шага маршировавших за ним солдат. Все чувства его были поглощены этим. Потому-то он и не ответил Багратиону. Князь Петр понял причину. Ему ли было не понять, как безгранична власть святой минуты над душой его обреченного друга?

— С богом, князь-душа!

Чтобы не мешать разбегу людей, который обязательно нужен для хорошего штыкового удара, Кантакузен начал осаживать своего конька в интервалы полков. Гренадеры заметили это. Ухо Григория Матвеевича поймало в стройном шаге их что-то неладное. Он тотчас выскочил вперед.

— Я здесь, золотые, здесь я! Нельзя же мне собой загораживать вам дорогу. Ура!

Шаг снова зазвучал дружно и ровно. Кантакузен въехал в интервал. До французов оставалось не больше десяти сажений.

— Ура! — крикнул он и махнул рукой.

Гренадеры рванулись вперед. Лязгнули штыки, полетели разбитые в щепу ружья, замелькали над головами приклады, зазвенели тесаки. Бой кипел на месте. И место это с каждой минутой все поднималось и поднималось, вспучиваясь горами мертвых тел. Кантакузен замотал головой и выронил из руки шпагу. Лицо его побелело. Он начал медленно сползать с коня, барабанщик подхватил его. Смерть командира и внезапное прекращение барабанного боя осадили порыв солдат. Сотни могучих рук, мгновенно обессилев, опустились, как тряпки. Сотни ног бестолково затоптались вокруг барабанщика с телом Кантакузена. Полчанинов взглянул на труп князя. Черные глаза были широко открыты, и жестокое изумление застыло в них. Бакенбарды растрепались. В левой завилась соломинка. Темная струйка крови сочилась из густой и косматой брови. «Прощай, князь, — подумал Полчанинов, — прощай, отец мой!»

С этой минуты прапорщик уже не думал больше ни о чем. Все, что он делал потом, совершалось его голосом, его руками, но не им самим.

Полчанинов выхватил у подпрапорщика знамя и швырнул его далеко вперед, навстречу французской атаке. Темный шелк тяжело плеснулся в воздухе. Множество жадных чужих рук протянулось к нему со всех сторон.

— А захотят ли гренадеры потерять свое знамя?

Карабинерная рота с такой неистовой силой ринулась за прапорщиком, что вмиг очутилась там, где могла бесследно исчезнуть старая гренадерская слава. Что-то обожгло грудь Полчанинова. Острый огонь зажегся между ребрами. Широкий французский штык с хрустом врезался внутрь и повернулся. Ухватившись обеими руками за его скользкую двухгранную полосу и опрокидываясь назад, Полчанинов ясно различил над собой свободные взмахи ветхого доскута.

— Отбили, ванс благородие!

Это сказал Трегулиев, пагибаясь к мертвому офицеру.

ГЛАВА XXXIX

Атаки генералов Брусье и Морана на батарею Раевского начались в девять с половиной часов и сейчас же приняли крайне ожесточенный характер. Густые колонны французской пехоты с распущенными синими знаменами, музыкой и барабанным боем двигались на батарею, как туча.

— Allons! Avancez! ¹

Травин крикнул пехотному взводу, стоявшему в прикрытии у его пушек:

— Берите, ребята, половину французов себе, другая нам!

Чья-то жесткая рука легла на его эполет. Он оглянулся. Это был генерал Паскевич, уже два раза водивший в штыки четыре полка своей 26-й дивизии и собиравшийся теперь отбивать атаку в третий раз. Травин удивился неприятной беглости его колючего взгляда.

— Вот что, поручик, — сказал генерал, — сейчас мы отобьем эту сволочь, потом вы пойдете с вашей ротой на подкрепление левого фланга. Завтра я представляю вас к чину, а послезавтра к переводу из моей дивизии.

— Слушаю, — ответил Травин. — Почему так угодно нашему превосходительству?

Паскевич выпрямился.

¹ Идем! Вперед! (франц.)

— Потому что такие люди, как вы, мешают мне быть самим собой. Идите к чорту, поручик!

Травин не успел ответить.

— Allons! Avancez!

Французская пехота была уже под самой батареей, когда русские орудия грохнули все враз, словно по команде. А ведь никто и не подавал этой общей команды! Огонь ворвался в неприятельские ряды и разметал их, но только на минуту. Вот они снова сомкнулись, сойдясь поверх трупов, и плавно двинулись в свой смертный поход. Картечь грохнула еще и еще раз. Опять смешалась колонна. Однако крики начальников не умолкали, и она стройно пошла вперед. Батарея начала стрелять залпами. Выстрелы были удачны. Туча редела, барабаны и музыка притихли. Но французы еще шли. Атака то подавалась назад, то приближалась. Травин дал залп. И ему показалось, что стена стала на месте, колеблясь.

— Молодцы артиллеристы номера двадцать шестого! — закричал Паскевич. — Славно!

— Идите к чорту, генерал! — отчетливо проговорил Травин.

Атака ринулась на батарею...

**

Как ни жесток был натиск французов на батарею Раевского, Николай Николаевич отрядил вслед за «принцем Макарелли» на левый фланг чуть не половину своего корпуса. Голицын привел три полка пехоты и несколько артиллерийских рот. Среди них была рота Травина.

На левом фланге было не лучше, чем на батарее. Грапаты квакали, ядра визжали. Вот упал человек из орудийной прислуги. За ним другой. Третий подпрыгнул и шиком ударился о землю.

Мимо проскакал Багратион.

— Передки и ящики с места отослать назад! — крикнул он. — Орудий не свозить!

Рота подавалась к месту медленно. Внутри средней флешки и поблизости от нее лежало столько трупов, что объехать их не было возможности. Орудия катились через них. Особенно много тел было во рту перед углом люнета. Тут же поднималась целая гора ружей, тесаков и киверов. На самой флешке орудий почти не было, зато против нее тянулась бесконечная линия французских батарей. Все они были в полном действии. Дым разносило ветром. И Травинку было отлично видно, как французы заряжали и наводили

орудия, подносили пальники к затравкам. Гул от выстрелов был так силен, что ни ружейной пальбы, ни криков, ни стонов не было слышно. Чтобы приказать что-нибудь, надо было кричать. Ядро хлопнуло в орудийный ящик. Люди шарахнулись.

— Граната!

Угодников подскочил к ящику и быстро дернул за крышку.

— Господи благослови!

— Что ты делаешь? — крикнул Травин.

— В порядке, ваше благородие! Холостое ядро повредило сверху гнезда... да и застряло!

Угодников был бледен. Травин схватил его за руку и крепко пожал ее. Между тем ружейный огонь начал отдаваться. Пули уже не свистели, а жужжали, — особый топ звука, свойственный их излету. Затем смолкла артиллерия. Что такое? Перед средней флешью что-то поблескивало в дыму и пыли, взвившейся кверху густыми облаками.

— Никак горшки железные на нас валят, ваше благородие?

Действительно, в атаку на флешь неслась колонна французских латников. Это их медные кирасы и стальные палаши блестели под солнцем. Они-то и заслонили собой действие неприятельской артиллерии. Конница шла малой рысью, прямо к цели. Не больше сотни саженей оставалось между ее головными линиями и флешью. Травин видел, как спинались и брали на передки соседние роты. Привычный страх потерять орудия оказывался сильнее всех приказов Багратиона и разъяснений Кутайсова. Какой-то старый артиллерийский полковник из немцев налетел на Травина.

— Господин поручик! Или не видите? Уводите пушки!

— Не уведу! — отвечал Травин.

— Хорош, душа!

Это крикнул неизвестно откуда взявшийся Багратион.

— К шаху старого дуралея! Ему жизнь славы дороже! Голову снесу! Оборачивай пушки, поручик!

Орудия Травина были заряжены картечью. Он наспех прикидывал, как лучше действовать. Из-за спины Багратиона выскакивал драгунский полк, он должен был задержать французскую атаку. Травин понял свою задачу: подпустить кирасир как можно ближе и, встретив огнем, помочь отпору со стороны драгун. Грозный момент наступал с невероятной быстротой. Заметив, что Угодников уже наносит пальник, поручик кивнул головой. Но в эту минуту строй

французских кирасир развернулся и показал скрытую за ним артиллерию. Залпы грянули одновременно. От близкой посылки картечи и у Травина и у французов повалились люди и лошади. Сумятица продолжалась, однако, не дольше мгновения. Картузы уже были готовы. Пушки Травина дали еще залп. Багратион махнул шпагой. И драгуны понеслись в контратаку. На французской батарее кипело. Кажется, там взорвался зарядный ящик. Орудия потонули в густом дыму. Драгуны наскочили на замолчавшие пушки. Батареи больше не существовало. Медные гиганты целыми десятками валялись со своих огромных серых коней. Бешено крутя глазами и тяжело дыша, кони метались, роняя всадников и волоча их за ноги, застрявшие в стремянах. Задние лошади спотыкались и падали через передних. И все-таки латники уже топтали землю под взгорком плоти. Сверкающая туча поднятых кверху палашей вилась над конями. Травин видел лица всадников, различал цвет их глаз, — так они были близки...

**

Драгуны прорвались сквозь строй кирасирской атаки и врुбились в стоявшую за ней колонну французской пехоты. Линейцы были застигнуты врасплох. Они падали под драгунским наскоком так, как стояли. Люди лежали грудами, и по грудам этим носились всадники...

**

Угодников отошел в сторону и сел под кустом. Здесь он стянул с себя мундир и снял рубашку. Левая рука была вывернута ладонью кверху, а из-под кожи близ локтя высовывался острый конец бело-розовой кости. Канонир ухватился здоровой рукой за раненую и повернул ее на место. Зубы его заскрипели от боли, и жаркий пот облил тело.

— Встаю! — прошептал он побелевшими губами.

Но кость никак не хотела уходить внутрь. Тогда Угодников плюнул с досады, живо перевязал руку у локтя и снова натянул мундир. После всего этого он хотел подняться на ноги. Однако ноги дрожали и не слушались. Что делать? Угодников достал из кармана огниво с полным припасом и одной рукой высек огонь из кремня. С первой искрой мысли его прояснились, и ноги перестали дрожать. Трубка отлично раскурилась. Минуты две он прислушивался к грохоту, который доносился с плоти. Потом встал и пошел в огонь...

Новую атаку средней флешей Ней, Мюрат и Жюно, вышедший наконец с вестфальцами из-за леса, предприняли совместно.

Неаполитанский король Ноахим Мюрат, высокий, стройный, с открытым смуглым лицом, на котором весело сияли звезды голубых глаз и жемчужные зубы, сам вел кирасир. Его длинные шелковистые волосы вились по ветру. Затканый золотом зеленый бархатный плащ развевался. Живой лес белых перьев на шляпе с откинутыми полями был далеко виден с разных сторон. Мюрат бешено колот своего рыжего арабского скакуна золочеными шпорами, прививченными к высоким желтым венгерским сапогам. Хриплый голос и гасконский выговор короля раздавались то здесь, то там:

— Славно, дети! Вы атакуете, как ангелы!

Под самым бруствером флешей он закричал:

— Самые храбрые, за мной!

И вскакал на бруствер. Несколько мгновений он держался на этой высоте, окруженный толпой коловших и рубивших друг друга французов и русских и овеваемый градом пуль. Затем чьи-то заботливые руки схватили его коня под уздцы и столкнули вниз. Еще секунда, и Неаполь остался бы без короля...

Картель семеновских батарей вырывала целые роты из колонн французской пехоты, которую вел Ней. Но те, что оставались на ногах, шли вперед, не робея, и даже не убавляли шага. Олферьев вынул из кармана пороховницу и насыпал пороху на полку своего нарядного пистолета с орлиными головками на прикладе. Он стоял спешившись и стрелял через седло. Стена французской атаки все ближе и ближе надвигалась на редан.

— Эх, да что ж они? Аль смертушка им свой брат?

Сказавший это солдат уткнулся лицом в пыль. Вот уже французы подкатились под самую флешу. Огненный ветер продолжал косить их толпу, и, как спелые колосья на ржаном поле, ложились они наземь полоса за полосой. И опять поднимались, тоже как колосья, полоса за полосой. Впереди бежали линейные стрелки. Несколько линейцев рванулись из цепи и вскочили на бруствер флешей, туда, где недавно сверкал и искрился Мюрат. Но теперь французов привел сюда не король, а скромный седой красноносый майор. Он стоял на валу, размахивая пшагой. Согни линейцев карабкались за ним. Сейчас их изрубят. Но... какая дивная храбрость! Впечатление минуты было прекрасно.

— Славно!

Возглас был так громок и вылетел из такой открытой солдатской души, что даже в грохоте боевой бури был явно слышен. Олферьев обернулся.

— Славно! — еще раз крикнул восхищенный мужеством врага Багратион, смеясь и ударяя в ладоши.

Майора и линейцев уже не было на бруствере. И за бруствером их не было. Жгучие острия русских штыков приняли их на себя. Но следом за ними на редан наседали полки. Внутри укрепления свирепствовал ад. Визжа и крутясь, ядра разили людей десятками, и под разливами свежей крови внезапно обозначались в линии защиты лысые места. Могучие разрывы шипучих гранат довершали урон.

— Смыкайся!

Шеренги смыкались над лысынами. Быстрый огонь ружейной пальбы молнией бежал по шеренгам. Атака то рассыпалась перед реданом горами трупов, то наваливалась на него снова...

ГЛАВА XL

Ровно в одиннадцать часов кирасиры и егеря отбросили вестфальский корпус Жюно в лес, из которого он вышел, а полки Нея заняли среднюю семеновскую флешь. Больше на этом крыле левого фланга не было укреплений. Русские войска толпились между флешами и деревней Семеновской. Картечный ураган сбивал их с ног. На флешах было уже столько французских орудий, сколько можно было разместить, и все они были повернуты против отступавших. Самое скверное заключалось в том, что на малом пространстве до деревни собралось непомерно много людей. Потому и положение их казалось безвыходным и ужасным.

— Да здесь и трус не найдет себе места! — сказал Багратион генералу Коновницыну. — Что ж, Петр Петрович, надобно отбирать назад флеш! Бери свою третью дивизию и наступай. Я с тобой пойду.

— Не лучше ли, ваше сиятельство, отвести войска за овраг и, выставив сильную батарею...

Худое серое лицо Коновницына болезненно морщилось. С косматых бровей и длинных белых ресниц срывались градинки пота. Ясные светлые глаза глядели в сторону. Он не верил в успех контратаки и говорил то самое, что сказал бы на его месте всякий другой генерал, храбрый и мужественный, но без гнева ожесточения в огненной душе. Все сражения, в которых он участвовал и будет еще участвовать, не значили для него так много, как для Багратиона

исход одного сегодняшнего боя. Если французская армия не разобьется сегодня о русскую, погибнет Москва. Гибелью Москвы предрешается гибель России. Итак, Россия погибнет от поражения ее армии в том бою, которого искал, жаждал, требовал с первых дней войны Багратион. И не мешай князю Петру Ивановичу Барклай, не хитри Кутузов, крушение произошло бы давным-давно. Следовательно, все, что делал князь Петр с 16 июня до 26 августа, его мнимые победы и мнимые поражения в жестокой борьбе с Барклаем, все это было его страшной роковой ошибкой. Доверши ее Багратион, и вред, причиненный ею родине, был бы неисчислимым. За подобные заблуждения надо платить жизнью! Но что жизнь одного человека, когда гибнет Русь? И случилось так, что именно здесь, на левом фланге, на этих убогих реданах повисла сегодня ее судьба. Счастливый Коновницын! Он не может рассуждать так. А Багратион только так и может, лишь так и обязан рассуждать. Он взял Коновницына за руку.

— Петр Петрович! Вот тебе приказ мой: бери свою дивизию и иди отбивать флени! Васильчикову прикажу всю кавалерию вест! А чтобы успеха верного к надежде прибавить, сам возьму часть и поведу.

Он огляделся.

— Вишь, батальоны гренадерские жмутся... Это от князя Кантакузена осталось. Их и поведу. Ступай с богом, Петр Петрович, к дивизии своей! Алеша, скачи к артиллерии, что от Раевского прислана, готовь ее к атаке! Шпоры!

**

От бригады Кантакузена осталось меньше половины. Но эти остатки так и не выходили до сих пор из огня. Гренадеры стояли в овражке, почти без офицеров, перебитых еще во время атаки, нестройной толпой, переминаясь с ноги на ногу, и тревожно оглядывались по сторонам. Ружейные пули и осколки гранат продолжали вырывать из их сломавшихся шеренг то одного, то другого человека. К этому уже привыкли. Пугало солдат другое: а что, если про них забыли? Им нехватало командира.

— Наложика, братуха, трубочку, — говорил Трегуляев соседу, — а то вишь как жарит!

— Брось, Максимыч, — отозвался карабинер, — как раз вперед двинут...

— Не двинут... Еще подождем — чай, не под дождем!

Даже в этих тяжелых обстоятельствах словоохотливость не покидала Трегуляева. Брезгун рассердился.

— Уймись, дуралей! Не угадал еще, что с тобой-то будет!

И вдруг перед гренадерами вырос Багратион. Князь протянул руку в ту сторону, где погиб их командир.

— Убили друга вашего и моего! Нет у нас Каитакузена! Храбрецы мои! Я поведу вас! За мной!

Такого командира гренадеры не ждали. Он гарцовал перед ними на высокой своей лошади, бледный и пыльный, с огненными глазами, сверкая звездами на груди, — «сам Багратион»! Лица солдат зажглись восторгом.

— Ур-ра! Веди, отец! Умрем!

Грянули барабаны. Гренадеры склонили на руки штыки и двинулись вперед стройно и мерно. И в ту же минуту от стопа орудий потряслась земля. Над головами гренадер прогремело, прошипело, просвистело, — заговорил и смолк ад. Задние горжи¹ флешей скрылись в густых облаках пыли. По мере того как она рассеивалась, один за другим показывались земляные ходы, заваленные сотнями французских трупов.

— Вот спасибо, — закричали солдаты, — спасибо артиллерии! Сберегла гренадер!

И пошли дальше. Эта атака горсти людей, — Коновницын вел своих егерей и пехоту по сторонам и несколько сзади, — во главе с главнокомандующим представляла собой необычайное зрелище. Едва ли когда-нибудь, в пылу самых жестоких сражений случалось, чтобы солдаты с такой железной, неумолимой стойкостью совершали свой наступательный разбег. Едва ли также существовал когда-нибудь главнокомандующий армии, который, забыв о том, кто он, что впереди и позади него, мчался бы, как прапорщик, навстречу огню и крови, давя конем, рубя шпагой, опрокидывая все, что попадалось на пути. Это была атака, грозная как буря, великолепная как гроза. Вот и пушки, русские пушки, оставленные на флешах при отступлении. Они расстреливали врага до крайней минуты, — так велел Багратион, — и потому остались здесь. Нельзя сказать, что Олферьев заметил это или даже что ему это бросилось в глаза. Он был в таком странном состоянии, когда глаза не видят, но сквозь блеск и туман, окружающие человека, впечатления бегут мимо, как сон или бред. Пушки не были заклепаны французами, — они не успели заклепать их. Не были даже повернуты пушки в русскую сторону, — из них не успели стрелять. Неужели нехватило снарядов? Правы

¹ Вход в земляное укрепление.

были Багратион и Кутайсов! Эти орудия сделали все, что могли: нанесли французам весь вред, причинить который было в их силах, и возвращались теперь к своим, ни одним выстрелом не погрешив против своего долга перед ними. Можно подумать, что, уже находясь в плену, они все еще отбивались от новых хозяев, не желая подчиняться их враждебной воле. Одушевленные верностью пушки, — чудо!

И вдруг Олферьев прозрел. Нет, не было тут чуда! Но мужество русских людей, их доблесть и величие духа были чудесны. На медном теле орудия, обхватив его дуло правой рукой, — левая была кое-как перевязана клочьями рубахи, — лежал канонир с большими черными бакенбардами. Голова его была разрублена до самых шейных позвонков, и мозг серой кучкой окровавленной грязи пристыл к мушке. Вот кто не позволил орудию повернуть назад и бить по своим! Вот кто одушевил медное сердце бессмертной верностью! Ах! Да ведь это травинский солдат, тот, дружбу которого предлагал Олферьеву Травин. Это он, он... И Олферьев тогда еще отказался от его солдатской дружбы. Боже! Корнет вспыхнул от стыда. Боже! Слезы покатались из его глаз. Он опустил поводья. Конь споткнулся о сломанное колесо, взвился на дыбы и прыгнул через русского офицера, сидевшего на земле, прислонясь спиной к лафету пушки, со шпагой в левой руке и опущенной на грудь черноволосой головой. Правая рука его медленно поднялась. На ней не было двух пальцев. Травин! Олферьев соскочил с лошади и кинулся к поручику. Травин был ранен в грудь, залит кровью, слаб, но в сознании. Он узнал Олферьева. На суровом, задымленном и бледном лице его мелькнуло выражение радости.

— Друг, — через силу проговорил он, — скажи князю: пушек не снимал... стоял до последнего... ждал пехоты своей... и дождался!

Олферьев прижал к губам беспалую руку Травина. Два казака из конвоя Багратиона с любопытством наблюдали эту сцену.

— Вынести поручика из боя! — приказал им Олферьев.

И казаки бросились к Травину, вмиг подняли его на седло метавшейся рядом без седока лошади, и Травин исчез из глаз корнета. Олферьев пустился догонять Багратиона. Он настиг его на заднем гребне средней флешки.

— Штыки! — звонко крикнул князь Петр Иванович.

Штыки засверкали в руках гренадер, с хрустом поворачиваясь в телах французских льнейцев.

— Врешь, братец, не то поешь! — приговаривал Трегу-

лясь, с остервенением работая уже не штыком, а прикладом и бешено стуча им по головам французов. — Врешь, братец!

И вдруг трегуляевское ружье осело, а сам он, бледный, протянул вперед кровавую культяпку с белой косточкой на конце и замер в ужасе. Могучий удар тесака отхватил от руки его целую кисть. Несколько мгновений Трегуляев молча смотрел на свою культяпку. А потом взвыл от боли и тоски:

— Эх, рученька моя, рученька!

И, махая культяпкой, еще и еще раз повторил плачущим голосом:

— Эх, рученька!

Врезгун нагнулся, поднял ружье Трегуляева и обтер с него рукавом кровь. Круглые глаза его с невыразимой лаской повернулись к раненому. Ивану Иванычу хотелось утешить беднягу.

— Жаль твою рученьку, Максимыч, — прогремел он, — а вон погляди, сколько наших и вовсе лежат, да и то ничего не говорят.

Он сказал это так просто, словно разговор шел в казарме за чаем. И — поразительно! — в кровавой свалке, клоко-тавшей кругом, просто и весело заулыбались в ответ на эти фельдфебельские слова солдатские лица.

— Вот я и оборотился в рукося чухломского! — выговорил Трегуляев и, как-то странно сжавшись в плечах, начал выбираться из свалки.

Рядом с Иваном Иванычем, стиснув зубы, яростно орудовал Старынчук. Каждый удар штыка, которым рекрут награждал французов, исполнял двойное назначение: во-первых, вымещал потерю того дорогого и близкого, что оставил Старынчук дома, и, во-вторых, заслуживал ему столь необходимый и столь желанный георгиевский крест. Старынчук действовал, как дровосек в лесу, — штык так и поблескивал в его длинных могучих руках. Лицо рекрута было красно и потно от усилий. Но он не уставал. Наоборот, сила прибывала к нему с каждой минутой; словно из земли переливалась в него. Нет-нет, да и вырывалось у соседних карабинеров, восхищенных Власовой работой, невольное восклицание:

— Вишь, прах его возьми, что делает! Аж черно да мокро кругом!

И так продолжал Старынчук заслуживать Егория до тех пор, пока ружье его не перебилось в ложе, а сам он не упал. Падая, рекрут ощутил на лице дуновение чего-то свежего, может быть это был ветер. И на этом как будто все

кончилось. Однако через несколько минут он поднял голову и сел. Он не понимал, что с ним случилось, и боли не чувствовал нигде. Поведа глазами, Старынчук увидел двух французских стрелков, которые шли на него со штыками наперевес. Рекрут вскочил, — тут он с удивлением заметил на себе кровь, — схватился обеими руками за вражеские штыки, один перегнул напополам, а другой сорвал с ружья. Затем принялся размахивать и колоть этим штыком с такой страшной энергией и силой, что вмиг свалил с ног какого-то французского офицера и несколько солдат. Но здесь снова приключилось со Старынчуком что-то неладное: руки его одеревятели, сердце ухнуло, в голове помутилось — и он рухнул на землю.

**
*

Атака длилась уже минут пятнадцать. В средней флешки почти не оставалось французов. Коновницын с успехом действовал слева и справа. Васильчиков вел кавалерию. Багратион видел, как засветились медные оклады кирасирских касок, слышал, как заиграли трубы. Лицо его было весело.

— Ура! — кричал он и махал шляпой, вздернутой на пшягу.

Полковые колонны конницы скакали поэскадронно, на больших дистанциях. Кирасиры сидели на лошадях вороной масти, и оттого лавина их, быстро мчавшаяся к флешам, казалась черной.

— Ура!

Князь Петр Иванович уже почти не сомневался, что отчаянное его предприятие исправит, искупит, покроет славой победы, с лихвой возместит несчастную потерю флешей. Грудь его бурно и вольно дышала.

— Ура!

Страшный удар, подобный электрическому, поразил Багратиона в правую ногу. Он качнулся в седле и выронил пшягу со шляпой. Смуглое лицо побелело, глаза закатились, полные слез и крови. Зубы насквозь прокусили запекшую губу. Нога бессильно повисла около стремени. Ниже колена, где сгибается складкой блестящее голенище ботфорта, торчали красные клочья мышц и острые зубцы белых костей. И на боку Багратионова коня также зарделось красное пятно. Оно дымилось — кровь князя Петра Ивановича была горяча. С каждым мгновением пятно увеличивалось в размере.

— Ваше сиятельство, — в ужасе крикнул Олферьев, ах, ваше сиятельство! Да что же это такое?..



Его рука обнимала Багратиона за пояс, и Олферьев чувствовал, как дрожит все тело князя и как неудержимо клонится оно с седла вниз.

— Ваше сиятельство!..

— Ни-ни, душа, — прошептал Багратион, — ничего! Главное... чтобы не заметили!

Он обернулся к солдатам.

— Вперед, други мои! Вперед! Добивайте шельмецов!

Князю казалось, что он громко кричит. На самом же деле лишь Олферьев с трудом мог разобрать в грохоте боя эти еле слышные слова последней Багратионовой команды. А кроме него, никто, решительно никто не слышал их. Что делалось в эту минуту в душе Олферьева, он ни тогда, ни впоследствии не мог ни понять, ни даже вспомнить. Но знал одно: если бы тогдашнее состояние его духа осталось в нем навсегда, прошло бы вместе с ним через весь его жизненный путь, то не только дурной или двусмысленный поступок, но и мысль, дурная или двусмысленная, были бы для него невозможны.

Никто не расслышал последней команды Багратиона. Однако многие из тех, кто находился поблизости, видели его внезапную бледность и кровь, хлеставшую из ноги, перебитой черенком чиненого снаряда. И хоть конь князя Петра еще плясал и прыгал, а черные кудри, знакомые каждому солдату русской армии, еще развевались по ветру над славной головой, но сокрушительная весть о бедствии вмиг облетела войска. И атака дрогнула и замялась.

Случилось никогда небывалое! Четверть века провел Багратион в огне грозных битв, и никогда не посмел прикоснуться к нему ни один кусок вражеского свинца или железа. Четверть века! Солдаты крепко верили в то, что их любимый вождь неуязвим. Да и не только солдаты! И вот он перед ними с раздробленной ногой... Его снимают с лошади и кладут на шинель... Он поднимается на локте и дико озирается огромными черными глазами. Лекари, вынырнувшие словно из-под земли, окружают его стеной своих темных мундиров. Его хотят переложить на носилки. Но он гневно качает головой. Нет! Он никогда не лежал на носилках и не будет лежать! Он пойдет сам. И Багратион действительно шагнул вперед. Но лицо его в тот же миг помертвело, и курчавая голова свесилась на грудь. Боль была нестерпима. Он упал бы, не подхвати его под руки Олферьев, «Макарелли» и лекари. Тогда его поволокли, правильное сказать, потащили, — из-под огня, жалко подпрыгивавшего на одной ноге, с бессильно болтавшейся другой

и глазами, закрывавшимися от внезапно наступившей жестокой слабости.

Атака откатывалась назад по всей линии...

**
*

Еще полоса огня не кончилась, когда к печальному шествию подскакал Клингфер. Узнав в генерале, которого вели под руки, главнокомандующего Второй армии, он отсалютовал шпагой и хотел отъехать в сторону. Багратион выбыл из строя! Едва ли ему сейчас до рапортов и донесений! Но Клингфер ошибался. Князь Петр Иванович уже поднял голову и смотрел на ротмистра мутными от страданий глазами.

— С чем прислан? — спросил он еле слышно.

— Лейб-гвардии Измайловский, Литовский и Финляндский полки, три полка первой кирасирской дивизии и две батарейных роты гвардейской артиллерии, ваше сиятельство!

— Славно! — прошептал Багратион.

Вдруг голос его окреп, он выпрямился и туго уперся здоровой ногой в землю.

— Передай министру два слова моих: спасибо и... виноват! Многое... весьма многое лежит теперь в его руках. Да сохранит его бог!

**
*

Беннигсен и Толь вели на левый фланг войска 2-го и 4-го корпусов с величайшей поспешностью. Сами они скакали впереди главной колонны. За ними неслись батарейные роты, рассадив людей по ящикам, лафетам и лошадям. Тучи пехоты, распустив знамена, с оглушительным «ура» бежали в огонь. Войска уже миновали батарею Раевского и находились против Шевардинского редута, когда передние части с изумлением и ужасом увидели Багратиона. Впечатление было так страшно, так разительно, солдатское горе так искренне и глубоко, что бешеная скачка артиллерийских рот и яростный бег пехоты с размаху застопорились на месте и вся грозная, тяжелая лавина многих тысяч людей замерла за неподвижной стеной головных частей. Глухой шум пронесся над войсками. Не многие могли видеть князя Петра, но о великом несчастье русской армии сразу узнали все.

— *Les troupes restent sans chef et sans ordres!*¹ — тихо сказал Беннигсен Толь и, повернувшись к войскам, скомандовал:

¹ Войска остаются без вождя и без распоряжений! (франц.)

— Смирно!

Толь, бледный, снял шляпу. И войска, как по сигналу «на молитву», тоже сняли кивера. Над морем обнаженных голов реяли, расплескиваясь по ветру, полковые знамена. Но вот и знамена начали медленно опускаться вниз под гулкую дробь отбивавших «поход» барабанов. Русская армия прощалась с вождем, склоняя перед ним святыню своего величия и своей славы...

ГЛАВА XLII

«Ее высокоблагородию Анне Дмитриевне Мураговой, в городе Санкт-Петербурге, у Пяти Углов, в доме генеральши Лещуцано.

Netty, дорогая сестра моя! Никогда не случилось мне приступать к письму с таким стесненным духом, с такой одышкой мысли и чувства, как сейчас. Впечатлений больше, чем слов! Они так величественны, что ни в каком лексиконе не найдется для них словесного подобия! Теперь я не сомневаюсь: люди могут пережить все, а поведать лишь кое-что, и главное из пережитого умирает вместе с ними. В Петербурге, конечно, уже знают о великой битве на бородинских полях. Всю первую половину дня двадцать шестого августа я не выходил из этого ада. Что это было? Вот уже и нехватает слов. Мы бились так, будто каждый собой отстаивал победу. Мы и враги наши так бились, что армии расшибились одна о другую! В этот день испытано все, до чего доблестью может быть возвышен человек. Нет жертв более достойных, нежели те, которые принесены нами любви к отечеству. Его защите мы послужили презрением к смерти, терпением, твердостью, и овеялись бессмертною славой бородинские поля!

. Мой друг и отец, любимый начальник мой был ранен в начале двенадцатого часа. Я задыхался от горя, сопровождая его с поля сражения на перевязочный пункт. Дорога за деревней Семеновской, близ которой мы сражались, была завалена подбитыми орудиями и ящиками, лазаретными фурами и сотнями повозок. Одних раненых тащили на носилках, другие шли сами. Их тут же размещали по фурам. Повсюду лежали трупы, вынесенные сюда еще в начале дела

. Легче пробыть шесть часов в бою, нежели шесть минут на перевязочном пункте. Кругом — лужи

крови, то красной и теплой, то черной и уже застывающей. Тысячи стонов поднимаются к небу. Врачи работают, сбросив куртки, подвязав передники и засучив рукава до локтей. Воздух кажется кислым, — соединение запахов крови и пороховой гарн придает ему уксусный вкус.

. Почти следом за князем на пункт принесли раненного пулей в грудь начальника штаба Второй армии графа Сен-При. Он был в сознании и даже показывал мне дырку на мундире и самую свою рану. Она не тяжела и не мучительна, но вызвала большое истечение крови и оттого слабость. Услышав голос Сен-При, мой князь открыл глаза и спросил тихо-тихо:

— Кто командует на левом фланге?

— Генерал Коновницын, — отвечал граф, — временно...

— А кто принимает команду?

— Доктуров.

Князь вздохнул и вымолвил погромче:

— Слава богу! Москва спасена!

Потом опять тихо:

— Ты ранен, граф? Честно служишь России.. Спасибо тебе и... прощай!

Недоверие князя всегда угнетало Сен-При. Он боролся с этим недоверием — и безуспешно. Кровь оиравдала одного и прижирила обоих. Я видел слезы благодарной радости, струившиеся из прекрасных голубых глаз Сен-При . . .

. Мадам де-Сталь сказала где-то, что человек на диком коне и у кормила ладьи прекрасен. Мне жаль, что эта госпожа не видывала нашего раненого солдата. Вот уж истинно ничего прекраснее не может быть! На лужайке, под деревом лекарь трудился возле огромного молодого карабинера. Пуля угодила бедняге в лоб и засела в кости. Он был бледен, но сидел неподвижно и смотрел прямо перед собой. Сперва лекарь пробовал поддеть свинец пиллом. Он расковырял карабинеру половину лба, — она распухла и посинела, — но пулю не вынул. Тогда он схватил какой-то другой инструмент.

— А мы ее, брат, выпилим, выпилим, — повторял он с величайшим хладнокровием.

Кость скрипела, пила гнулась, пуля сидела на месте. Из огромных широко раскрытых глаз карабинера катились слезы, но ни один мускул не дрогнул на его лице. Наконец лекарь устал — покраснел, вспотел и с негодованием швырнул свою машинку.

— Что ж, брат, делать? Отдохни.. После еще приедем...

Мученик встал и вежливо поблагодарил мучителя:

— Ат, нехай, пай лекарь, останется... И со свинчаткой не сгину...

Пошел и лег в тени, накрывшись шинелью. Я спросил прозвище этого героя. Мне сказали: Старыничук. И добавили целую повесть. Я кое-что вспомнил и кое-что сделал. Вероятно, на карабинере уже висят Георгий.

. Лекари осмотрели страшную рану моего князя. Несмотря на адскую боль, которой сопровождалась эти жестокие манипуляции, он ни разу не крикнул, только раскусил янтарь у чубука. Лекари были единогласны: если не отнять ногу под коленом, антонов огонь неизбежен. Когда сказали об этом князю, он гисвно повел глазами.

— Не дам! Без ноги не жизнь мне!

И лекари отступились, зная, как настойчив князь и как неукротим в гисве нрав его.

. До самого вечера с невыразимой жадностью ловили мы с Голицыным слухи с Бородинского поля и некоторые передавали князю, а некоторые утаивали. Так, после полудня слышно стало об атаках маршала Нея на деревню Семеновскую, о том, как славно отбивались от французских кирасир Измайловский, Литовский и Финляндский гвардейские полки, о гигантских боях, огневом и конном, о блистательном отступлении генерала Коновницына за деревню. Вскоре потом достигли до нас и такие слухи, что батарея Раевского взята французами, но случившимся поблизости генералом Ермоловым отобрана обратно вместе с генералом их Бонами. При деле этом, невероятном по отважной предприимчивости Ермолова и мужеству войск, погиб молодой начальник артиллерии Первой армии граф Кутайсов, цвет наших генералов, надежда и будущая слава отечества. Конь его вернулся без всадника, с дымившимся от крови седлом. Мог ли не скрыть я горькую новость эту от моего князя? Зато об атаке Платова на левый фланг французов и о том, как заколебались они под угрозой казачьих пик, донес подробно. И имел удовольствие уловить слабый смешок и радостный шепот:

— Bravo!

О дальнейшем узнавали мы уже по дороге в Можанск. Окончательная потеря батареи Раевского и достойные бессмертной памяти контратаки гвардейской кавалерии сделались известными на полпути. И тогда же достигло до нас повеление, отданное фельдмаршалом армии: отступить.

. Трудно представить себе картину более грустную, чем та, которую нашли мы между Бородиным

и Можайском. Артиллерия скакала в несколько рядов по большой дороге на лошадях, покрытых пылью и пеной. Пехотные колонны обгоняли одна другую. Тысячи людей с разноцветными воротниками на мундирах, с изнуренными и окровавленными лицами искали свои полки. Кавалеристы еле держались на седлах. Вьюки, обозы, бесконечная нить новозок с ранеными — все это теснилось и мялось, медленно двигаясь вперед нестройной толпой. Общее уныние после самых радужных надежд, мрачная тишина после бородинского грома, тупое равнодушие после торжественных ощущений, потрясающих душу, — вот что царило на этом пути. Небо было серо, темно. И мелкий редкий дождь как бы оплакивал русскую печаль.

. Кругом Можайска и в самом городе, на площадях и на улицах горели огни. Около них сидели и лежали раненые. Вопли, стоны и брань наполняли собой холодный вечерний воздух. Экипажи, фургоны с амуницией, телеги с хлебом и припасами, вьюки с маркитантским скарбом двигались по всем переулкам. Можно было подумать, что в городе ярмарка. Мы остановились в трактире, где был ужасный беспорядок: на кухне, на бильярде, под бильярдом — везде лежали раненые. Их хотели убрать — князь не позволил. Всю ночь он не спал и даже не закрывал глаз. Но не поручусь, видел ли он то, на что смотрел с таким прилежным вниманием. У него начинался жар. Однако бреда не было. Он молчал, а я и Голицын сидели у его постели, с нетерпением ожидая утра. На заре в Можайск начал втягиваться огромный обоз с ранеными. За ним-то, собственно, и шла армия. До сих пор мы ехали в большой дорожной коляске. Теперь нам подали закрытую карету.

. Был полдень, когда мы въехали в Москву. На заставе вместо обычного многолюдного военного караула стояли несколько инвалидов-сторожей да мужиков из милиции, в казакинах из грубого серого сукна и с медными крестами на шапках. Улицы были пустынные. Ставни домов и большая часть ворот заколочены. В окнах не виделось ни души. Из города к заставе тянулись и военные фуры, и подводы с ранеными, и частные экипажи — кареты, дормезы, коляски. Обыватели ехали также на возах, а то и просто шли пешком, с котомками на плечах. Вскоре карету нашу обступил народ. Заглядывали в нее, и, видя бледное, полубесчувственное лицо князя, женщины ахали и рыдали, мужчины кляли французов. Я опустил занавески. Так мы домчались до Пресни, где и остановились наконец в пу-

стом доме князей Грузинских
. Дорога от Можайска до Москвы грунтовая.
Ее окаймляют высокие валы с крутыми откосами. Поэтому
в мокрую погоду она чрезвычайно грязна и до крайности
беспокойна. Этот тяжелый переезд ужасно растревожил ра-
ну моего князя. Жар усилился. Князь начал стонать от боли
и почасту забываться. Дом, в котором стояли мы, — боль-
шой, деревянный, со множеством обширных и удобных
комнат, — был наполнен известнейшими московскими докто-
рами, тазами, рукомыльниками, битами, коробками с кор-
пией, ящиками с хирургическими инструментами. Доктора
имели такой вид, будто шушукались непосредственно со
смертью. Один из них, знаменитый хирург, так медленно
говорил, что между двумя его фразами можно было бы,
кажется, прочесть страницу нового романа. Но ноги и ру-
ки, по слухам, ампутировал с изумительной быстротой. Этот
прославленный гишюкрат объявил, что антонов огонь и
кончина моего князя неизбежны, если тотчас не отнять
нижнюю часть ноги. Другой знаменитый лекарь, во фраке
и серых брюках, с немецкой фарфоровой трубкой в зубах,
согласился. Прочие не смели спорить. К несчастью, в это
самое время на краях раны появились прыщики. Лекари
велели присыпать их порошком из квасцов. От этого под-
нялись в ноге жесточайшие боли. Чтобы унять их, князю
поставили мушки. Ему стало худо.

. Из армии беспрестанно приезжали весто-
вые. Чтобы не волновать князя, мы с Голицыным решили
не пускать их в дом и принимать на крыльце. Между тем
привозимые ими известия были очень важны, так как от
московского генерал-губернатора графа Ростопчина мы ни-
как не могли добиться толковых и сколько-нибудь точных
сведений. Он очень остроумный и разговорчивый человек,
но скрытность и лукавство его не имеют предела. Должны
же мы были знать, какая именно и когда угрожает Москве
опасность! Утром тридцать первого августа меня вызвали
к вестовому, только что прискакавшему из армии. Я увидел
страшного человека, совершенно заросшего волосами, с ма-
ленькими глазками и ястребиным носом. Левая рука его
была подвязана, половина лица обмотана бинтом через го-
лову. Шапка сдвинута на лоб. Он сидел на длинношерстном
донском мантаке. Чепрак под седлом лежал криво. Пут-
лица и уздечка были скреплены веревочками.

— Кто ты такой? спросил я.

— Хоружий войска Дюпеского Кузьма Ивлев Ворожей-
кин, — отвечал он, — прислан из партизанского отряда под-

полковника Давыдова с грамотой. Очень Денис Васильич в горе... О князе слезы льют... Да и я... грешным делом...

Тут хорунжий разревелся так по-детски и так неудержимо, что в груди моей тоже стало тесно от сдавленных слез. Я прочитал письмо Давыдова и наскоро скропал ответ.

— Передайте, господин хорунжий!

Казалось бы, все. Но казак не уезжал. Он достал из-за пазухи крохотный засаленный полотняный мешочек. Несмотря на всю свою волосатость, физиономия его явственно изобразила благоговейное смущение. Он перекрестился, пошептал что-то над мешочком, поцеловал его и протянул мне.

— К ранке... прикласть... Провалиться сквозь землю, коли жар тотчас не сойдет! Господин адъютант, будьте милостивы, примите-с!..

— Да что это такое?

— Ладонка... С земли донской пыль... Всю боль уйдет... прочь сымет! Сделайте милость! Отцы, деды знали... Уж... без отмены так! Ваше благородие!..

От волнения он забыл, что и сам офицер. И опять по лицу его покатались обильные слезы.

— Знает вас князь?

— Бог весть, вспомнит ли... Ворожейкин я, Кузьма Ивлев... Тот, что господина Муратова, по несчастью сгубил. . . . Давыдов писал, что решено Москву сдать. Итак, надо было ехать. Куда? Андрей Голицын, который при известном своем легкомыслии исполнил, однако, глубочайшей горести, предложил вести князя к своим родителям в село Симы, под Владимир. Отец его, князь Борис Андреевич, начальствует ополчением трех губерний и потому не дома, а скачет по своим областям. Но княгиня Анна Александровна, родная тетушка моего князя, в Симах. Приют этот и недалек, и от опасности уединен, и спокоен, и в заботах недостатка не будет. К тому же в немногих верстах от Сим село Андреевское, имене графа Михайлы Семеновича Воронцова. По чрезвычайному богатству свосму он учредил там огромный лазарет с лучшими лекарями и всеми прочими лечебными способами и средствами. Сам Воронцов рану свою в Андреевском пользуется и графа Сен-При к себе туда же увез. Итак, проект Андрея Голицына показался мне единственно разумным из всего, о чем помышлять было бы можно. И мы решились двигаться в Симы, скрыв от князя бедственную причину бегства.

Первого сентября, близ полудня, открыл он истомленные лихорадкой и муками глаза. Я подал ему на тарелочке бе-

лый бисквит и стакан с водой. Он сделал несколько глотков и оживился. Не вспомню, какие резоны к немедленному выезду ухитрились мы с Голицыным представить ему. Это было вдохновение, отчаянием рожденное! Он согласился. Мы поскакали в четырехместной карете, запряженной шестью лошадьми, с выносными, форейтором и двумя лакеями на запятках. На улицах было еще пустей, нежели в день нашего прибытия в Москву. Простолюдины сходились кучками, тревожно расспрашивали друг друга и затем шли каждый в свою сторону. Иногда завязывались и долгие разговоры. Толковали о Бородинском сражении, о том, что войска наши съезжат прикрыть Москву, что под городом будет еще битва. И они, вооружившись кто чем мог, намеревались в ней участвовать. Ни полиции, ни казачьих разъездов я нигде не заметил. Когда мы проезжали через заставу, князь сделал мне знак. Я наклонился.

— Алеша, — прошептал он, — напрасно везешь меня, душа!

— Почему, ваше сиятельство?

— Должен погибнуть я, ибо и отечество мое погибает!..

.
.
Начинало смеркаться, когда Голицын и я разглядели через заднее окошко кареты грозный феномен. Над Москвой вились не то облака, не то тучи. Постепенно расплываясь по небу, они меняли вид и густели с каждой минутой. Мы с изумлением и ужасом посмотрели друг на друга, не смея обмениваться предположениями. Темнело. Облака розовели, краснели, принимали багровый оттенок и наконец слились в огромное зарево, сквозь которое прорывались кое-где гигантские столбы пламени. Море огня разлилось по горизонту, за которым лежала Москва... .

.
Netty! Я не знаю, что может быть безотрадней и страшней этой ночи. Давно ли мечтали мы о славе, об успехах? Давно ли? И где это все и когда возвратится? Темная ночь окружает нас, — мы бредем и сами не знаем куда. Где блеснут над нами лучи утра, когда наступит оно? Наступит ли? Много, много раз уже было сердце мое обмануто надеждой. И все же...

Будем мстить! В святом чувстве мщения — источник нашей славы и будущего величия. Наперекор всему, что совершается кругом меня, говорю: зарево Смоленска и Москвы рано или поздно осветит наш путь к Парижу. Война делается народной. Не значит ли это, что беспощадны все злодейства врага, что все преступления его найдут возмездие? Минута избавления близка. Удар будет отряжен и че-

дет на главу виновного. Самый след нашествия иноплеменников мы смоем кровью их...

А Москва? Она восстанет из пепла, прекрасная, богатая, навеки озаренная новой славой великих жертв. Она не забудет дней скорби и запустения, чтобы гордиться ими. Я понял: пожар ее — дело немногих, но мысль о нем принадлежит всем!

Месть, сестра моя! Месть!

Твой А. О.

4 сентября 1812 года.
Станция Покров.

Р. С. Какой-то раненый кавалергардский офицер на станции Платово поведал мне новость: Клинтфер пал жертвой одного из последних выстрелов Бородина. Я жив. Он мертв. Поединок наш кончен. Что в моей душе, я и сам не пойму. Слов нет, а тоска безмерна. Ах, если бы повидаться мне с Травиным!..»

ГЛАВА XLII

До Сим оставалось верст десять-двенадцать, а дорога все еще была неровной и корнистой. Она пробиралась дремучим бором, где деревья так плотно теснились друг к другу и были так высоки, что даже и в ясный полдень мрак висел над дорогой. Глубокая тишина прерывалась только голосами птиц, да время от времени ветер пробежал по вершинам берез и сосен, качал их и шумел в вышине.

Однако под самыми Симами деревья начали редеть. И вдруг, сверкнув сразу в нескольких местах, ясно обозначилась впереди леса речка. Она огибала широкую долину с деревней, усадьбу и около усадьбы парк и пруд, опоясанный стеной тростника. Ковер водяных лилий, недвижно распластавших по сонной поверхности пруда свои круглые листья, белел за тростником. Солнце садилось. Сумерки застилали окрестность. От земли поднимался легкий туман. По правую сторону дороги мутно поблескивала за валом сажалка. Два ряда ив тянулись по валу, пристально смотря в воду. У моста с фонарями их сменяли березы. Карета долго катилась по этой широкой, четырехрядной аллее, тяжело раскачиваясь на рессорах и глухо погромыхая колесами. Когда она остановилась у подъезда, было уже совсем темно. Из растворенных настежь окон верхнего этажа падал на террасу яркий свет ламп.

Сперва выбежали лакеи в зеленых фраках. Потом чинные горничные в темных платьях, с большими белыми чепцами на головах. И, наконец, с непривычной быстротой ша-

гая по ступенькам высокой лестницы, судорожно держась одной рукой за мраморные перила, а другой закрывая горбоносое темное лицо, показалась княгиня Анна Александровна. Старое дерево не гнулось от ветра. Ее походка была тверда. Но на руку поддерживавшего ее Карелина одна горячая слеза падала следом за другой.

Как случилось, что все обитатели этого огромного дома одновременно узнали о великом несчастье, остановившемся у крыльца? Ведь несчастье не успело даже и постучаться в дверь! Огромная толпа людей окружила карету. «Принц Макарелли» прижимал к губам руки матери. Она изредка кивала ему головой, как будто издали, хотя стояла рядом. Ее глаза были устремлены на то темное и длинное, что выносили из кареты.

— Князь Петр! — вдруг вскрикнула она тем гортанным, резким голосом, каким кричат женщины на Востоке, когда отчаяние и горе надрывают их души. — Князь Петр!

И медленно опустилась на руки сына. Багратиона внесли в комнату, большую и полутемную. Тишина ее нарушалась торопливыми непонятными словами, беззвучными, как речь мертвого, — бредом Багратиона. Князю Петру чудилось, будто кто-то слепой шел поодаль, спотыкаясь и руками ощупывая дорогу. «Ага, — догадывался князь Петр, — это идет жизнь!» Чей-то равнодушный и черствый взгляд упирался в него безжалостно и угрюмо. «Это судьба моя смотрит на меня!» Но около него стояла добрая старушка-мать. Он знал, что у нее много детей, что обо всех она должна позаботиться и что вот и для него отыскалось у нее время. Добрая, добрая старушка... «Кто же она?» И он догадывался с тихим удовольствием: «Ба! Да ведь это же моя смерть!»

**

Домашний лекарь в гусарских полусапожках с кисточками дрожащими руками открывал белые порошки успокоительного — опиум. В тазу варилась цикута для компрессов, благотельно действующих на раны в течение трех суток. Карелин ускакал в пустом тарантасе в Андреевское за хирургами. В углу комнаты, где бредил Багратион, стояла на коленях маленькая фигурка черноволосого кудрявого человека. Все тельце его подергивалось в неудержимых рыданиях. Фалды бархатного синего фрака прыгали по паркету. Смуглое лицо искажалось жестокими гримасами сердечной муки.

— Кто вы? спросил его Олферьев.

— Батталья, отвечал маленький человек, слуга его

снятия. Ах, сударь, и в день погребения Христа я не страдал бы так, как сегодня!..

**

Прошла трое суток. За это время многое изменилось в состоянии Багратиона к лучшему. С ночи исчезли темные пятна, угрожавшие антоновым огнем. Прекратились мучительные боли. Спал жар. И андреевские лекари уже не шептались больше по углам с испуганным и таинственным видом. Слово «ампутация» не произносилось ими. Его заменили другие слова: лубки, костыли, свежий воздух...

Голицынский кабинет, в котором лежал князь Петр Иванович, выходил всеми четырьмя окнами в сад и уютным видом своим веселил душу. Дни наступили отличные. Солнце хоть и плохо грело, но светило ярко. Холодные лучи его, играючи, падали на гору, закрывавшую горизонт. Тень от горы причудливым узором ложилась на луга и деревья, оставляя кое-где их верхушки освещенными. Между солнцем и окнами кабинета покачивались столетние сосны, и от этого пятна солнечного света непрерывно бежали по траве, а в кабинете становилось то светло, то сумрачно. Эта постоянная смена красноватого и голубого оттенков странно действовала на глаза: хотелось закрыть их. И князь Петр почти не открывал глаз. Но он внимательно прислушивался к тому, как шумят деревья, кричит иволга, кукует кукушка и особенно — в чем и что говорят люди. Он не задавал никаких вопросов. Однако все в доме знали, что душа его полна одним нетерпеливым и жадным вопросом: Москва? Княгиня Анна Александровна строжайше приказала скрывать от князя Петра судьбу Москвы. О столице говорили со спокойными и довольными физиономиями: «Ан, обчелся Бонапарт! Тут ему и стоять теперь до зимушки...» Газет раненому не показывали. Редкий день не прикатывали в Симы пять-шесть соседних помещиков поклониться князю Петру и справиться о его здоровье. Некоторых допускали к нему, но с таким жестким наказом держать язык за зубами, что поговориться они никак не могли.

Олферьев проводил все время у поетели своего князя. Иногда целые часы проходили в молчанье, а иногда завязывались долгие тихие разговоры о самых неожиданных предметах. Война в этих беседах почти не участвовала. К величайшему удивлению Олферьева, Багратион обнаруживал в них небывалую склонность к философствованию. Как ни хорошо знал Олферьев своего князя, но он никогда не подозревал в нем интересов, которые вдруг выступили теперь на первый план.

— Сказки-ка, душа, — сказал как-то раз князь Петр, — умев был стародавний мудрец... этот... Сенека?

— Великого ума был философ, — отвечал адъютант.

— Я вот почему спросил. Вспомнилось... Обмолвился он где-то: человек, дескать, выше богов, ибо не знают боги страданий. Есть у него такое?

— Есть, — порадовался Олферьев.

— Вот видишь, душа Алеша! Я и думаю: очень умно Сенека отрезал... А не будь он итальянец, не отрезал бы столь умно. Ему бы...

Князь Петр тихо усмехнулся.

— Ему бы язык отрезали.

Почти не выходя из комнаты раненого и Батталья. Он служил князю с такой готовностью и беззаветной преданностью, что Олферьев искренне полюбил этого маленького, быстрого и ловкого итальянца. Однажды под вечер чудесного ясного дня, когда солнце только что спустилось к вершинам леса, разордевшись тем ярким осенним румянцем, которым трогательно оживляются лица умирающих в чашотке людей, князь Петр и Батталья остались в кабинете вдвоем. Багратион огляделся и вдруг приподнялся на локте. Глаза его загорелись. Щеки порозовели.

— Слушайте, Сильвио! Я должен знать... Отвечайте... Правду!.. В чьих руках Москва?

Если бы под ногами Батталья лопнул жаркет, обнаружив кратер вулкана, извергающего огонь, лаву и пепел, итальянец и тогда не почувствовал бы себя так близко к гибели, как в этот момент. Но и тогда, вероятно, не родилась бы в его голове с такой же быстротой мысль об единственном средстве спасения. Он сложил руки, как делают католические патеры в торжественные минуты мессы — ладонями вместе, и поднял к небу глаза, полные слез.

— Вы знаете, князь, — сказал он, — как твердо и верую в бога. И вот я клянусь... клянусь очами божьими, что Москва у русских. Клянусь...

Князь Петр Иванович уже не лежал, он почти сидел на постели. Глаза его с жадностью вивались в Батталья. И весь он тянулся к нему в страстном и требовательном движении.

— Ну? Клянешься? Еще!

— Клянусь крестом господним, — с отчаянием говорил Батталья, — русская Москва! Клянусь ключом апостола Петра!.. Русская!.. Русская!..

— Довольно! — тихо сказал Багратион и унял на подушки. — Спасибо, Сильвио! Нет, ис от раны умру я, а от Москвы!

Батталья стоял, закрыв лицо руками. «Боже, — мысленно восклицал он, — великий боже! Прости меня за то, что я лгу, как пьяный монах...»

**

Восьмого сентября князь Петр проснулся рано. Он чувствовал себя бодро. Нога почти не болела. Врачи разрешили ему первый опыт. С помощью Олферьева и «принца Макарелли» он взобрался на костыли и сделал несколько прыжков к столу, чтобы за чашкой кофе прочитать и отправить в армию кое-какие служебные бумаги. Ему, привыкшему к непрерывной кипучей деятельности, был тягостен и нуден этот многодневный *fat niente*¹ под скучным пуховым одеялом. Работа и кофе придали свежесть его изнуренному лицу, глаза его заблестели.

— Алеша, — сказал он, — надумал я нечто. Хочу Дмитрию Сергеичу Дохтурову писать. Мы с ним всегда в одних помыслах были. Каково-то теперь? Садись, душа, как прежде, и пиши, что говорить стану.

«. вижу, любезнейший друг мой, что едва ли могли бы мы разбить Наполеона при Бородине наголову. И хорошо, что не случилось того. Успех наш был ровно таков, каким ему быть следовало: не больше, да и не меньше. А коли отбросили бы мы Наполеона с Бородинского поля, отступил бы он к Днепру. Туда подошли бы к нему корпуса Виктора, Ожеро. А мы, обессиленные кровавой победой и подкреплений не дождавшись, кинулись бы по следам. Война бы пошла как война всякая, а не народная, какова теперь стала. Пользы от того не нахожу, как ты хочешь.

А Бонапарту мало было русскую армию победить при Бородине. Надобно было ему ее вовсе уничтожить. Потому пренебрег он правилами военного искусства, столь хорошо ему знакомого, и пошел бить нас в лоб. Что можно усмотреть в том? Наглость и канальство, — выше правил статья вздумал. Прямые атаки за новое средство решительного успеха взял. С чего голову трудить, ежели силы его числом своим столько наших превосходнее были?.. Да ошибся в одном, пентюх: не расчел, что моральным духом мы над ним, как небо над землей...»

Письмо было готово и даже подписано, когда Батталья вбежал и доложил:

— Ваше сиятельство! Государев флигель-адъютант, а с ним граф де-Сен-Приэст из Андреевского!

¹ Безделье (итал.).

Князь Петр не успел ответить. Дверь распахнулась, и в кабинет быстро вошел посланец императора, тот самый полковник с равнодушной ко всему на евете, картонной физиономией, который в начале войны приезжал из главной императорской квартиры к Багратиону в город Мир. За ним, опираясь на руку лакея, медленно шел Сен-При, бледный, худой и оттого казавшийся еще красивее, чем был до своего ранения. Государев флигель-адъютант остановился посредине кабинета и вытянулся перед князем.

— Его императорское величество, всемиловитвейший государь...

Багратион хотел подняться с кресла и не смог. Олферьев распечатал пакет, вынул из него большой толстый лист синей бумаги и вручил князю Петру. Это был рескрипт императора, в котором значилось:

«Князь Петр Иванович! С удовольствием внимая о подвигах и усердной службе вашей, весьма опечален я был полученною вами раною, отвлекающею вас на время с поля брани, где присутствие ваше при нынешних военных обстоятельствах столь нужно и полезно. Желаю и надеюсь, что бог подаст вам скорое облегчение для украшения деяний ваших новою честью и славою. Между тем, не в награду заслуг ваших, которая в непродолжительном времени вам доставится, но в некоторое пособие состоянию вашему, жалаю вам единовременно пятьдесят тысяч рублей. Пребываю вам благосклонный Александр».

Багратион поцеловал царскую подпись и положил синий лист бумаги на стол.

— Разум и тело, кровь и душу — все отдаю отечеству и службе его величества, — сказал он и наклонил голову.

Флигель-адъютант жал ему руку, щелкая шпорами и сутулясь совершенно так же, как это делал в подобных случаях император. Сен-При подходил с объятиями. Князь Петр благодарил за поздравления.

— Как же ты быстро, граф душа, ожил! — говорил он Сен-При. — Что за чудо-сила в людях сидит! Жизнь ползет, карабкается, лезет да прыгает — и все вверх. Вот как будто уж и до вершины добралась, а оттуда, сорвавшись, вниз летит. Это и есть смерть.

— Зачем о смерти, князь, говорить? — весело рассмеялся Сен-При. — Будем лучше похваливать каждый свои костыли.

— Кабы не гнусные эти деревяшки, был бы и в Москве... Кстати, душа Алеша, отправь с нарочным письмом Дохтурову нынче же в Москву-то. Не запомитуй..

— Как в Москву? — с удивлением спросил государев флигель-адъютант. — Разве вашему сиятельству...

Олферьев бросился за спинку Багратионова кресла и делал оттуда отчаянные знаки полковнику. Сен-При догадался, — он вскочил со стула и поднял обе руки, как бы желая закрыть ими полковнику рот. Но флигель-адъютант только с недоумением пожал плечами и договорил-таки с размеренной и отчетливой ясностью:

— ...не известно, что в Москве французы?

Если бы он даже и не договорил этой фразы, непоправимое все равно свершилось бы. Князь Петр Иванович еще раньше понял всё. Несколько мгновений он сидел неподвижно, коричнево-белый, с грозно сверкавшим взором. Потом вскочил. Швырнул в сторону костыли. Шатаясь, сделал несколько бешеных скачков по комнате, с яростью ударяя о пол больной ногой. И с глухим воплем, похожим и на стон и на рыдание, рухнул на руки Олферьева, «принца Макарелли» и Сен-При.

**
*

Снова Багратион лежал в жару и бреду. А Карелин скакал в Андреевское за врачами. Государев флигель-адъютант был счель неприятно озабочен приключившимся.

— Почему же никто, сударыня, не предупредил ни меня, ни графа об очень умной уловке, к которой вы прибегли? — с некоторым раздражением говорил он княгине Анне Александровне. — Может быть, осторожнее было бы, зная беспокойный и нетерпеливый нрав его сиятельства, внушить ему, что ведь и Пожарский некогда выгнал врагов из Москвы, а не отстаивал ее. Я берусь...

— *C'est trop tard, colonel!*¹ — сказал Сен-При и заплакал.

**
*

Бронзовый арап с толстыми щеками и белыми бусами на шее вдруг начал водить глазами и качать курчавой головой. А часы, которые он держал в охапке, захрипели, готовясь бить. Другие часы, вделанные в вазу с цветами, третьи — на бюро, четвертые — с курантами, па стене в соседней комнате, и еще какие-то, с флейтами, — все двигали свои маятники, тревожно шипя перед исходом последних минут часа. И вдруг со всех сторон зазвонило, запело, заиграло и пробило один раз. Три бульдога, лежавшие у двери кабинета, злоеще завыли и опрометью бросились по коридору из дому. Это было 12 сентября, когда князь Петр

¹ Слишком поздно, полковник! (франц.)



Иванович Багратион умер после долгой и мучительной агонии.

Открывшаяся в ноге гангрена порвала длинные четки боевых дней. Странно, что этот удивительный человек все-таки умер. Ведь он жил так, словно у него было не одно, а тысячи тел и столько же душ и сердец. И он тратил себя с величайшей щедростью, не задумываясь о конце. Казалось, что можно сделать с такой огромной жизнью? Кто посмеет? И — кончилась жизнь. Мертвый был холоден, неподвижен, тверд и бледен, как камень под лунными лучами. Величавое спокойствие смерти рассеяло все следы страданий на его лице. Резким чертам князя Петра вернулась их строгая чистота. Каждая из них была выведена и закончена с безукоризненной правильностью. Чудилось, будто черные ресницы трепещут над щеками. Густая шапка черных же, но слегка уже тронутых сединой волос буйным ореолом окружала ясный лоб.

Князь Петр лежал, прибранный и парадный, в пышной зале, обитой кремом. У гроба его застыли часовые. На дворе — почетный караул.

В день смерти Багратиона была настоящая осенняя погода. Сквозь редкие золотистые листья деревьев сверкали в парке белые стволы берез. Как алмазы, поблескивали на ветвях задержавшиеся в их изгибах капли утреннего тумана. Вербы за домом уже потеряли лист. Одна из них, сломанная бурей, лежала на земле.

